

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



В. Г. Короленко

ДЕТИ
ПОДЗЕМЕЛЬЯ



Дети подземелья. Вступ. ст. А. Архангельского // Дет. лит., Москва, 2002
ISBN: 5-08-003955-8
FB2: Padma, 12.08.2014, version 1.0
UUID: 04FEACD9-D350-4A64-BC7F-5407A2ACCF4-0
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Владимир Галактионович Короленко

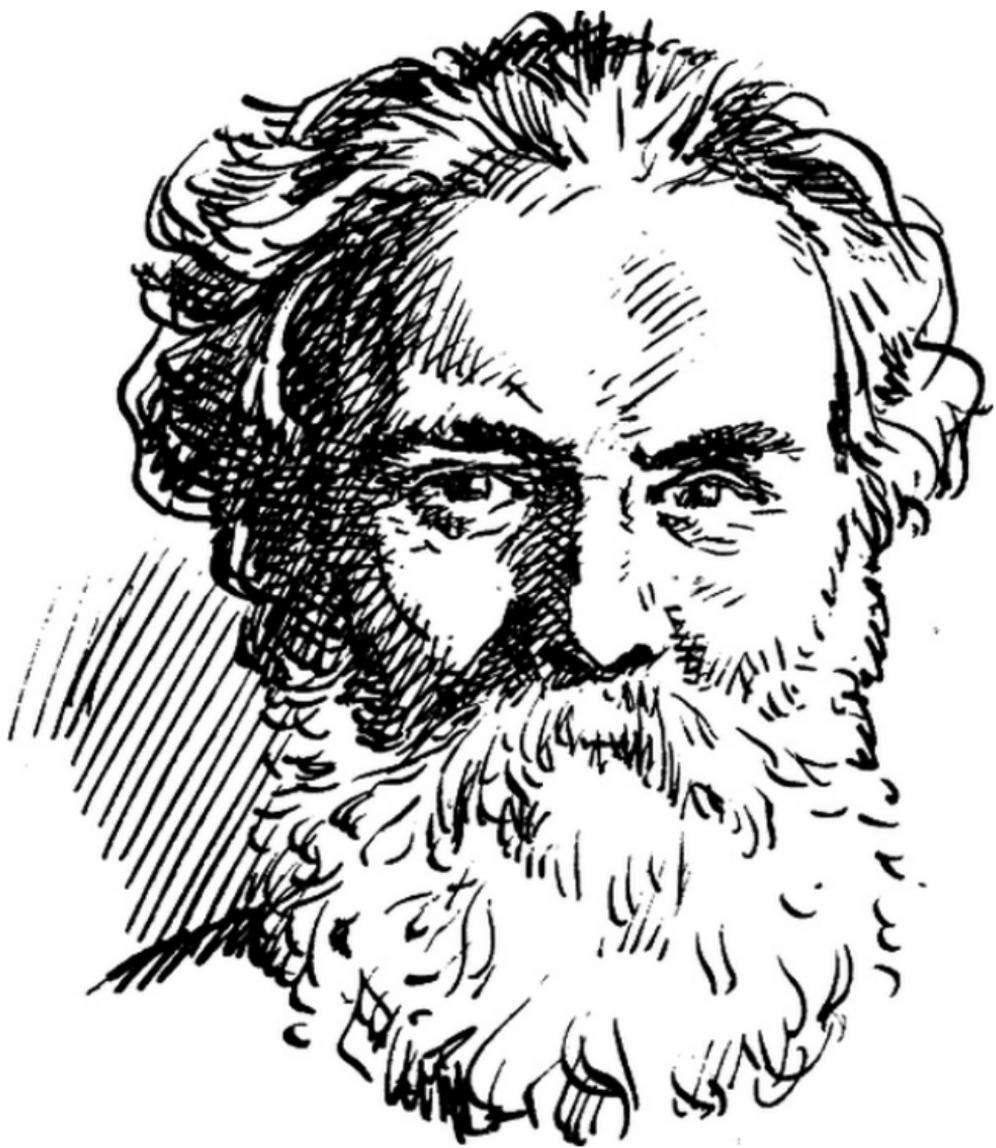
Дети подземелья (сборник)
(Школьная библиотека (Детская
литература))

В книгу вошли известные произведения замечательного русского писателя В. Г. Короленко: повести «Дети подземелья» и «Слепой музыкант», рассказы «Сон Макара», «Река играет», очерки «Чудная» и «Мгновение».

Содержание

#1	0005
Чистое зеркало (Писатель В. Г. Короленко)	0006
Дети подземелья (Из повести «В дурном обществе»)	0025
Слепой музыкант Этюд	0123
Рассказы и очерки	0386
#1	0388
Чудная Очерк из 80-х годов	0387
Сон Макара Святочный рассказ	0421
Река играет Эскизы из дорожного альбома	0476
Мгновение Очерк	0531

**Владимир Галактионович
Короленко
Дети подземелья
*Повести, рассказы и очерки***



1853-1921



Чистое зеркало (Писатель В. Г. Короленко)

Литературный путь Владимира Галактионовича Короленко (1853–1921) поровну разделен между двумя столетиями. Двадцать один год своей жизни в культуре он отдал девятнадцатому веку и ровно столько же – двадцатому.

Детство его прошло в Малороссии – сначала в Житомире, а затем в Ровно. Здесь встретились и пересеклись три культуры, три национальные традиции – русская, польская и украинская. Все они оказались для Короленко родными: мать его была полькой, отец – предельно честный и уважаемый всеми судья – украинцем. А родным языком писателя стал русский.

Украина с ее природной мягкостью, спокойствием, уравновешенностью в эти годы

лишилась состояния блаженного южного покоя. В воздухе носилось ожидание поворотных для истории событий: готовилась крестьянская реформа (1861), и люди это чувствовали. Тревожное ощущение не могло не передаваться и детям. Так История вошла в жизнь Короленко, вошла просто и естественно – через споры между отцом и матерью о неизбежных переменах, через рассказы отца о судебных разбирательствах, в которых ему пришлось участвовать...

Студенческие годы, проведенные будущим прозаиком сначала в Петербурге, в Технологическом институте, а затем в Москве, в Петровской земледельческой и лесной академии, пришлись на самый подъем, всплеск освободительного движения. Короленко не остался в стороне от общего дела. Его революционная деятельность фактически началась с событий, разыгравшихся в 1876 году в Петровской академии. Суть их состояла в следующем. В канцелярии были арестованы студенты, не имеющие прописки. Возмущение сокурсников оказалось стихийным и потому безрезультатным. Тогда Короленко вместе с одним

из товарищей подал ректору письмо, где назвал контору академии «отделением московского жандармского управления». Это был вызов. Для устрашения большинства требовались «показательные» жертвы. Короленко и его товарищу было предложено: или не показываться в академии, пока все не утихнет, или подвергнуться незамедлительному аресту.

Они предпочли второе.

Задолго до Короленко в подобной ситуации оказался студент Главного педагогического института в Петербурге, будущий великий критик Николай Добролюбов. Никто из студентов не решался подать жалобу на ужасное питание, и лишь он один осмелился сделать это. Его тоже ждала неприятная беседа с товарищем министра, грозило исключение из института, пожизненное звание младшего учителя, работа в провинциальной глуши... Что же толкало их, этих совсем еще молодых людей, на безрассудные – с обывательской точки зрения – поступки? Неопытность? Юная горячность? Нет. Это было рано проснувшееся чувство ответственности за

все, творящееся в мире. Они восприняли от родной литературы нравственную боль за «маленького человека», обостренную совесть, жажду справедливости.

Именно совесть заставила молодого Короленко предпочесть бесконечные ссылки – бесчестью, соглашательству, молчаливой покорности.

Позже, когда он стал уже известным прозаиком и публицистом, ему довелось писать очерки о самых главных и порою самых драматических событиях новейшей российской истории: об усмирении крестьянских волнений («Успокоенная деревня», 1911), о всеобщей октябрьской стачке 1905 года («Что у нас было и должно быть», 1905). Между прочим, он был единственным, кто сумел обойти цензуру и откликнуться в печати на трагедию Кровавого воскресенья (очерк «9 января 1905 года»)...

В освещении любых событий писатель хранил верность путеводной идее, главным принципам своей жизни.

Таковыми принципами у Короленко были честность, справедливость, человеколюбие.

Тот, кто чуть позже прочтет главную книгу его жизни, над которой он работал до последних дней, – четырехтомную автобиографическую «Историю моего современника», – легко убедится в этом. Именно обостренное чувство справедливости заставило гимназиста Володю Короленко выкрасть у соседа, пана Уляницкого, его маленького слугу – мальчика Мемрика, которого хозяин нещадно сек розгами, затем спрятать его и не отдавать до тех пор, пока родители не получат от Уляницкого обещания обходиться со слугой по-человечески.

И то же чувство через десятилетия, когда имя Короленко было окружено всеобщим уважением, побудило его отказаться – вместе с Антоном Павловичем Чеховым – от звания почетного академика, потому что правительство запретило избрать в Академию «неблагонадежного» литератора Максима Горького. Масштаб двух этих поступков несопоставим, но они *одинаково* важны для понимания цельной и чистой натуры Короленко.

Неизвестно, нашел бы он свою «путеводную идею» или нет, не будь в детстве перед

его глазами примера отца. Не секрет, что провинциальные судьи, при наличии некоторой доли бессовестности, могли жить припеваючи. Не задумываясь, кто прав, кто виноват, а встречай прежде всего по одежке, заглядывай не в глаза, а в кошелек просителя... Но Галактион Короленко предпочел благородную бедность – неправедному богатству и честное имя – хлебосольным подношениям. Порою, возвратясь из суда, он, прихрамывая, ходил взад-вперед по комнате, а на расспросы домашних обижался и сердито отвечал своим любимым присловьем: «Толкуй больной с подлекарем!» Это означало, что очередное судебное разбирательство завершилось не по совести, не по закону, который он боготворил, а по прихоти начальства или властью золота.

Жизнь отца была на виду, как на ладони. И наверное, никакими нотациями и наказаниями житомирский (а затем – ровенский) судья не смог бы столь крепко привить своему сыну представления о чести и бесчестии, о том, как должно человеку распорядиться отпущенной ему жизнью.

Стоит ли удивляться, что Владимир Коро-

ленко распорядился своей жизнью более чем достойно. Что за ним, по выражению М. Горького, закрепилась слава «честнейшего русского писателя».

Он неизменно оставался верен себе. И когда через три года после первой высылки – в Кронштадт – его опять сослали в г. Глазов Вятской губернии; и когда по ложному обвинению в побеге заточили в Вышневолоцкую политическую тюрьму; и когда перевели в Пермь; и когда за отказ присягнуть на верность императору Александру III отправили в 1881 году на «край света» – в ледяную, оторванную от тогдашнего цивилизованного мира Якутию, и когда, по возвращении в Петербург в 1885 году, незаконно задерживали в доме предварительного заключения...

Именно тут завершил Короленко начатую еще в Якутии и впервые увидевшую свет в журнале «Русская мысль» (1885, № 10,) повесть «В дурном обществе» – так называется произведение, которое в сокращенном для детей варианте публикуется под заглавием «Дети подземелья».

Повесть создавалась в условиях, вовсе не

подходящих для литературного творчества. Тем оправданнее обращение писателя к самой важной, «болевой» проблеме его жизни – вопросу о противоречии между юридическими установлениями царской России и внутренней тягой человека к справедливости, братскому единению. Когда тебя окружают люди, находящиеся – по самым разным причинам – в сложных отношениях с законодательством, естественнее всего задуматься именно об этом. И еще естественнее – вспомнить принципы своего отца, судьи, свято верившего в незыблемость существующих правовых норм и со свойственной ему рыцарской совестью отстаивавшего эту веру на практике. Внимательный читатель без труда узнает черты Короленко-старшего в образе судьи, отца главного героя – Васи. Та же суровость, та же кристальная честность, неподкупность. Даже представители «дурного общества» отзываются о нем, хранителе закона, а стало быть их враге, более чем уважительно: «Судья – самый лучший человек в городе... он засудил даже одного графа... а когда к нему пришла старая Иваниха с костылем,

он велел принести ей стул». Почти то же самое говорили и житомирцы о своем судье-«законнике». (Сам писатель признавался: сюжет повести вымышлен, «но многие черты взяты с натуры, и, между прочим, само место действия описано совершенно точно с города, где мне пришлось оканчивать курс».)

Такая преданность закону вызывает почтение. Но ведь не случайно Короленко построил свою повесть так, что каждый из ее героев должен для себя сделать выбор, принять единственно верное решение.

Вася, только что потерявший мать, не интересующий отца, предоставленный самому себе, знакомится с обитателями старой часовни, с нищими детьми – Валеком и Марусей. Если он, сын судьи, не скажет дома, где пропадает целыми днями, он солжет. А если скажет, значит, предаст друзей. Если Валек, в свою очередь, украдет у торговца хлеб для маленькой сестры, он совершит преступление. А если не украдет, тогда Маруся будет голодать. Если Вася и его сестра Соня не отдадут тайком от взрослых куклу заболевшей Марусе, то девочке станет еще хуже. И – так далее...

Казалось бы, закон судит невзирая на лица. Когда закон не на стороне богатого графа, это хорошо. Но когда он судит Валека, Марусю, Васю, Соню, все оказывается гораздо сложнее.

Да, закон возвышается надо всеми героями повести, как каменная плита с начертанными на ней непреклонными и вечными истинами. Но вспомним: именно серый, неподвижный камень «высосал» из Маруси жизнь, погубил ее. И потому пан Тыбурций, «предводитель» «дурного общества», говорит Васе: «Лучше иметь в груди человеческое сердце вместо холодного камня». У него самого – именно такое сердце. Зная, что Васе грозит наказание за куклу, за вынужденное вранье, он приносит ее после Марусиной смерти прямо в дом судьи. И это при том, что ему грозит тюрьма!

Человек прежде всего человек, подсказывает писатель, а уж потом судья, «предводитель», слуга или нянька. «Я не судья. Я Вася», – по-своему, по-детски, выражает эту гуманную мысль главный герой. Но и его отец, который «вовсе судья», тоже в конце концов преступа-

ет букву почитаемого им закона, чтобы не совершить бесчеловечный поступок. Он отпускает пана Тыбурция на все четыре стороны и даже предупреждает о грозящей его друзьям опасности. И как раз в этот самый момент в сердце его наконец-то просыпается любовь к сыну. Не холодная, каменная неприступность закона, а тепло человеческого участия – вот что поможет людям справиться с их бедами, как бы говорит нам Короленко.

Это особенно важно для его героя, Васи, потому, что он живет в мире, где люди разучились быть *просто* людьми. Судья – представитель власти; Януш – представитель «благородных» нищих; Тыбурций – представитель «отбросов», «дурного общества». Они живут и даже не чувствуют всей дикости такого положения. Но вот случилась беда – умерла Маруся. Что значат перед горечью этой утраты все звания, все «распределение» по прослойкам общества? Ничего не значат! Это так просто понять, но так трудно сделать практическим основанием человеческой жизни...

Не случайно так много внимания уделил писатель чувствам своих героев, их пережи-

ваниям, страданиям, бедам. Чего стоит описание мук маленькой Маруси – когда она не может бегать или когда она плачет при разлуке с куклой! А Васино одиночество? А Сонино объяснение с нянькой? В наших читательских сердцах тоже пробуждаются сочувствие, сострадание. Мы словно отвечаем на порыв писателя, который верил в силу человеческого участия, в силу справедливости почти так же непреклонно, как его отец, судья, верил в силу законности.

Так переплетаются в повести две художественные линии. С одной стороны, повествование направлено в глубь очень противоречивой, почти безнадежно увязшей в своих проблемах реальности. Для рассказа о ней необходим предельно аналитический, ясный и строгий стиль. С другой – оно устремлено в глубь человеческой души, полной счастливых и непредсказуемых возможностей и «поддающейся» лишь очень взволнованному, лиричному и романтически приподнятому описанию. Потому не станем удивляться, встречая рядом столь несхожие по своему эмоциональному настрою и стилистическому

облику фразы: «Старая часовня сильно пострадала от времени. Сначала у нее провалилась крыша, продавив потолок подземелья. Потом вокруг часовни стали образовываться обвалы... еще громче завывают в ней филины, а огни на могилах темными осенними ночами вспыхивают синим зловещим светом». В художественном мире Короленко естественно соединяются очень точная, реалистическая подробность – провалившаяся от ветхости крыша – с чем-то таинственным – с «синим зловещим светом».

Спустя ровно год после выхода в свет повести «В дурном обществе», в 1886 году, газета «Русские ведомости» начала публикацию нового этюда В. Г. Короленко – «Слепой музыкант». Публикация была неожиданностью не только для читателей, но и для самого автора. Он отдал газете начало не написанной еще вещи просто для ознакомления, а в результате пришлось завершать повесть в страшной спешке. Это было очень трудно, однако затраты сил окупились сторицей: номера газет были нарасхват, а журнал «Русская мысль», не дожидаясь завершения публикации в газете,

начал перепечатывать повесть. В дальнейшем писатель не раз дорабатывал ее текст: при жизни автора «Слепой музыкант» выдержал пятнадцать изданий.

Здесь тоже в основу повествования легли реальные впечатления. В письме от 9 ноября 1894 года Короленко рассказал о них: «Еще мальчиком я познакомился впервые с слепой девушкой... Эпизод с падучей звездой вечером... приведен целиком из детских воспоминаний об этой бедной девушке... Наконец, слепой звонарь в Саровской пустыни, слепорожденный, рассказами о своих ощущениях подтвердил ту сторону моих наблюдений, которая касается беспредметной и жгучей тоски, истекающей из давления неосуществленной и смутной потребности света». Об этой «потребности света» и написан «Слепой музыкант».

Слепой мальчик родился в богатой семье, живет в небольшом поместье. Здесь легко запомнить каждый предмет, каждый изгиб дороги, каждое препятствие на пути, чтобы почти не чувствовать свою слепоту. А какие замечательные люди его окружают! Нежная,

печально-ласковая мать, кучер Иохим, который учит мальчика украинским мелодиям, дядя Максим, души не чающий в племяннике... Стоит Петрусю познакомиться с соседской девочкой Эвелиной, как сразу завязывается сердечная дружба, а потом, когда они вырастают, к ним приходит любовь.

Ничего тревожного, тяжелого, смутного. Все светло, легко, отрадно. То ли было в «Детях подземелья»! Там лучшее архитектурное украшение города — *тюрьма*, там все люди делятся на богатых и бедных, там даже нищие «подразделяются» на «благородных» и «отбросы», «дурное общество». А в «Слепому музыканте» ясное синее небо, кажется, никогда не омрачается. Но все гуще и глубже его синева. Так бывает в природе перед самой грозой. И она разразится. Правда, чуть позже.

А пока... пока в душе Петруся просыпается любовь к музыке. Он *не видит* мир, который его окружает. Зато он прекрасно *слышит* его и с помощью звука даже может понять строение крыла птицы. Музыка для него – во всем. В ясной малороссийской природе, в свистульке, которую мастерит Иохим, в перезвоне ко-

локолов, в голосе Эвелины он слышит *музыку самой жизни*. Потому так долго отдавал юный музыкант предпочтение не купленному матерью венскому роялю, а сделанной из «куска украинской вербы» дудке кучера. Ведь у этой дудки есть одно чудесное преимущество: она росла поблизости, она вобрала в себя звуки, которые слышал мальчик, и впитала солнце, которое согревало его.

В повести все пронизано музыкой. Прислушайтесь, как напевна, как музыкальна речь самого писателя: «А деревья в саду шептались у нее над головой, ночь разгоралась огнями в синем небе и разливалась по земле синею тьмой...» Фраза движется наплывами, у нее есть свой неповторимый мелодический строй. Да и сравнения Короленко находит не какие-нибудь, а именно звуковые, музыкальные: «Все в нем дрогнуло, и сам он задрожал, как дрожит туго натянутая струна под внезапным ударом...»

Так, может быть, *только* музыка способна возратить Петрусю счастье полнокровной жизни?

Нет.

Когда семейство Попельских направляется в монастырь, они останавливаются у могильной плиты, и Петрусь своими чуткими пальцами разбирает надпись, которую не смогли прочесть глаза зрячих людей. Так все узнают о слепом бандуристе. Во времена Запорожской Сечи он сопровождал атамана в его походах, жил общими со всеми запорожцами несчастьями и удачами – *наравне* с другими людьми. А потом семейство встречается со слепым звонарем, который тоже очень любит музыку, души не чает в своих колокольцах. Он так же страдает и, казалось бы, заслуживает всяческого сочувствия. А вызывает неприязнь: слишком он озлоблен на мир, нет в его сердце любви к людям. Звонарь с ненавистью гонит детей с колокольни, проклиная их.

Вот две дороги, на распутье которых оказывается повзрослевший Петрусь! Вот та гроза, которая наконец-то разразилась в его душе! Или он, как древний бандурист, «несправедливо обиженный судьбою, подымет со временем доступное ему оружие в защиту других, обездоленных жизнью», или отъединится ото всех, как звонарь, замкнется в сво-

ей беде.

Дядя Максим для того и отправил Петруся в странствие в Почаев вместе со слепцами-нищими, чтобы, столкнувшись с тяготами настоящей жизни, музыкант открыл в себе еще один – главный – дар: сочувствия, сострадания, чтобы услышал *музыку человеческого сердца*, как слышали ее нежно любящие Петруся Эвелина, мать, дядя...

Страшна не слепота глаз – страшна слепота души. Музыкант, победивший ее, наконец-то сумел запомнить отрывок сна, который снится ему с детства и который с детства ускользает от сознания. Как воскликнул дядя Максим: «Он прозрел, да, это правда, – он прозрел!» – хотя глаза Петруся по-прежнему ничего не видят. Боль других людей отозвалась в его сердце. Величественнее *этой* музыки ничего нет на свете.

... Есть такое выражение: «литература – зеркало жизни». В. Г. Короленко считал, что это зеркало «должно быть ровно, прозрачно и чисто, чтобы явления внешнего мира проникали в его глубину не изломанные, не извращенные и не тусклые».

«Явления внешнего мира» в его книгах потому не тусклы, что «ровно, прозрачно и чисто» зеркало его собственной жизни.

И сейчас, когда после создания самых известных его произведений – «В дурном обществе» и «Слепой музыкант» прошло более века, – мы вновь обращаемся к ним, то не только сопереживаем их героям, но и общаемся с самим автором, разговариваем с ним о главном: о справедливости, честности, человеколюбии и чистоте.

Александр Архангельский

Дети подземелья (Из повести «В дурном обществе»)



1. Развалины

Моя мать умерла, когда мне было шесть лет. Отец, весь отдавшись своему горю, как будто совсем забыл о моем существовании. Порой он ласкал мою маленькую сестру Соню и по-своему заботился о ней, потому что в ней были черты матери. Я же рос, как дикое деревцо в поле, – никто не окружал меня особенною заботливостью, но никто и не стеснял моей свободы.

Местечко, где мы жили, называлось Князь-Вено, или, проще, Княж-городок. Оно принадлежало одному захудалому, но гордо-



му польскому роду и напоминало любой из мелких городов Юго-Западного края.

Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, лучшее архитектурное украшение города. Самый город раскинулся внизу над сонными, заплесневшими прудами, и к нему приходится спускаться по отлогому шоссе, загороженному традиционной «заставой»[1]. Сонный инвалид лениво поднимает шлагбаум, – и вы в городе, хотя, быть может, не замечаете этого сразу. Серые заборы, пустыри с кучами всякого хлама понемногу перемежаются с подслеповатыми, ушедшими в землю хатками. Далее широкая площадь зияет в разных местах темными воротами еврейских «заезжих домов»[2]; казенные учреждения наводят уныние своими белыми стенами и казарменно-ровными линиями. Деревянный мост, перекинутый через узкую речушку, кряхтит, вздрагивая под колесами, и шатается, точно дряхлый старик. За мостом потянулась еврейская улица с магазинами, лавками, лавчонками и с навесами калачниц. Вонь, грязь, кучи ребят, ползающих в уличной пыли. Но вот

еще минута – и вы уже за городом. Тихо шепчутся березы над могилами кладбища, да ветер волнует хлеба на нивах и звенит унылою, бесконечною песней в проволоках придорожного телеграфа.

Речка, через которую перекинут упомянутый мост, вытекала из пруда и впадала в другой. Таким образом, с севера и юга городок ограждался широкими водяными гладями и топями. Пруды год от году мелели, зарастали зеленью, и высокие, густые камыши волновались, как море, на громадных болотах. Посредине одного из прудов находится остров. На острове – старый, полуразрушенный замок.

Я помню, с каким страхом я смотрел всегда на это величавое дряхлое здание. О нем ходили предания и рассказы один другого страшнее. Говорили, что остров насыпан искусственно, руками пленных турок. «На костях человеческих стоит старое замчище», – передавали старожилы, и мое детское испуганное воображение рисовало под землей тысячи турецких скелетов, поддерживающих костлявыми руками остров с его высокими пирамидальными тополями и старым замком. От это-

го, понятно, замок казался еще страшнее, и даже в ясные дни, когда, бывало, ободренные светом и громкими голосами птиц, мы подходили к нему поближе, он нередко наводил на нас припадками панического ужаса, – так страшно глядели черные впадины давно выбитых окон; в пустых залах ходил таинственный шорох: камешки и штукатурка, отрываясь, падали вниз, будя гулкое эхо, и мы бежали без оглядки, а за нами долго еще стоял стук, и топот, и гоготанье.

А в бурные осенние ночи, когда гиганты тополи качались и гудели от налетевшего из-за прудов ветра, ужас разливался от старого замка и парил над всем городом.

В западной стороне, на горе, среди истлевших крестов и провалившихся могил, стояла давно заброшенная часовня. У нее кое-где провалилась крыша, стены осыпались, и вместо гулкого, с высоким тоном, медного колокола совы заводили в ней по ночам свои зловещие песни.

Было время, когда старый замок служил даровым убежищем всякому бедняку без малейших ограничений. Все, что не находило

себе места в городе, потерявшее по той или другой причине возможность платить хотя бы и жалкие гроши за кров и угол на ночь и в непогоду, – все это тянулось на остров и там, среди развалин, преклоняло свои победные головушки, платя за гостеприимство лишь риском быть погребенными под горами старого мусора. «Живет в замке» – эта фраза стала выражением крайней степени нищеты. Старый замок радушно принимал и покрывал и временно обнищавшего писца, и сиротливых старушек, и безродных бродяг. Все эти бедняки терзали внутренности дряхлого здания, обламывая потолки и полы, топили печи, что-то варили и чем-то питались – вообще как-то поддерживали свое существование.

Однако настали дни, когда среди этого обшества, ютившегося под кровом седых развалин, пошли раздоры. Тогда старый Януш, бывший некогда одним из мелких графских служащих, выхлопотал себе нечто вроде звания управляющего и приступил к преобразованиям. Несколько дней на острове стоял такой шум, раздавались такие вопли, что по временам казалось – уж не турки ли вырва-



лись из подземных темниц. Это Януш сортировал население развалин, отделяя «добрых христиан» от безвестных личностей. Когда наконец порядок вновь водворился на острове, то оказалось, что Януш оставил в замке преимущественно бывших слуг или потомков слуг графского рода. Это были все какие-то старики в потертых сюртуках и «чамарках»[3], с громадными синими носами и суковатыми палками, старухи, крикливые и безобразные, но сохранившие при полном обнищании свои капоры[4] и салопы[5]. Все они составляли тесно сплоченный аристократический кружок, получивший право признанного нищенства. В будни эти старики и старухи ходили с молитвой на устах по домам более зажиточных горожан, разнося сплетни, жалуясь на судьбу, проливая слезы и кляпча, а по воскресеньям они же длинными рядами выстраивались около костелов[6] и величественно принимали подачки во имя «пана Иисуса» и «панна Богоматери»[7].

Привлеченные шумом и криками, которые во время этой революции неслись с острова, я и несколько моих товарищей пробрались ту-

да и, спрятавшись за толстыми стволами тополей, наблюдали, как Януш во главе целой армии красноносых старцев и безобразных старух гнал из замка последних, подлежащих изгнанию жильцов. Наступал вечер. Туча, нависшая над высокими вершинами тополей, уже сыпала дождиком. Какие-то несчастные темные личности, запахиваясь изорванными донельзя лохмотьями, испуганные, жалкие и сконфуженные, совалясь по острову, точно кроты, выгнанные из нор мальчишками, стараясь вновь незаметно шмыгнуть в какое-нибудь из отверстий замка. Но Януш и старые ведьмы с криком и ругательствами гоняли их отовсюду, угрожая кочергами и палками, а в стороне стоял молчаливый будочник, тоже с увесистой дубиной в руках.

И несчастные темные личности поневоле, понурясь, скрывались за мостом, навсегда оставляя остров, и одна за другой тонули в слякотном сумраке быстро спускавшегося вечера.

С этого памятного вечера и Януш и старый замок, от которого прежде веяло на меня каким-то смутным величием, потеряли в моих

глазах всю свою привлекательность. Бывало, я любил приходить на остров и хотя издали любоваться его серыми стенами и замшелой старою крышей. Когда на утренней заре из него выползали разнообразные фигуры, зевавшие, кашлявшие и крестившиеся на солнце, я и на них смотрел с каким-то уважением, как на существа, облеченные тою же таинственностью, которою был окутан весь замок. Они спят там ночью, они слышат все, что там происходит, когда в огромные залы сквозь выбитые окна заглядывает луна или когда в бурю в них врывается ветер.

Я любил слушать, когда, бывало, Януш, усевшись под тополями, с болтливостью семидесятилетнего старика начинал рассказывать о славном прошлом умершего здания.

Но с того вечера и замок и Януш явились передо мной в новом свете. Встретив меня на другой день вблизи острова, Януш стал зазывать меня к себе, уверяя с довольным видом, что теперь «сын таких почтенных родителей» смело может посетить замок, так как найдет в нем вполне порядочное общество. Он даже привел меня за руку к самому замку, но тут я

со слезами вырвал у него свою руку и пустился бежать. Замок стал мне противен. Окна в верхнем этаже были заколочены, а низ находился во владении капоров и салопов. Старухи выползали оттуда в таком непривлекательном виде, льстили мне так приторно, ругались между собой так громко. Но главное — я не мог забыть холодной жестокости, с которой торжествующие жильцы замка гнали своих несчастных сожителей, а при воспоминании о темных личностях, оставшихся без крова, у меня сжималось сердце.

Несколько ночей после описанного переворота на острове город провел очень беспокойно: лаяли собаки, скрипели двери домов, и обыватели, то и дело выходя на улицу, стучали палками по заборам, давая кому-то знать, что они настороже. Город знал, что по его улицам в ненастной тьме дождливой ночи бродят люди, которым голодно и холодно, которые дрожат и мокнут; понимая, что в сердцах этих людей должны рождаться жестокие чувства, город насторожился и на встречу этим чувствам посылал свои угрозы. А ночь, как нарочно, спускалась на землю

среди холодного ливня и уходила, оставляя над землею низко бегущие тучи. И ветер бушевал среди ненастья, качая верхушки деревьев, стуча ставнями и напевая мне в моей постели о десятках людей, лишенных тепла и приюта.

Но вот весна окончательно восторжествовала над последними порывами зимы, солнце высушило землю, и вместе с тем бездомные скитальцы куда-то схлынули. Собачий лай по ночам утомился, обыватели перестали стучать по заборам, и жизнь города, сонная и однообразная, пошла своею колеей.

Только несчастные изгнанники не нашли и теперь в городе своей колеи. Правда, они не слонялись по улицам ночью; говорили, что они нашли приют где-то на горе, около часовни, но как они ухитрились пристроиться там, никто не мог сказать в точности. Все видели только, что с той стороны, с гор и оврагов, окружавших часовню, спускались в город по утрам самые невероятные и подозрительные фигуры, которые в сумерки исчезали в том же направлении. Своим появлением они возмущали тихое дремливое течение городской

жизни, выделяясь на сереньком фоне мрачными пятнами. Обыватели косились на них с враждебной тревогой. Эти фигуры несколько не походили на аристократических нищих из замка, – город их не признавал, да и их отношения к городу имели чисто боевой характер: они предпочитали ругать обывателя, чем льстить ему, брать самим, чем выпрашивать. Притом, как это встречается нередко, среди этой оборванной и темной толпы несчастливцев встречались лица, которые по уму и талантам могли бы сделать честь избраннейшему обществу замка, но не ужились в нем и предпочли демократическое общество часовни.

Кроме этих выделявшихся из ряда людей, около часовни ютилась еще темная масса жалких оборванцев, появление которых на базаре производило всегда большую тревогу среди торговков, спешивших прикрыть свое добро руками, подобно тому как наседки прикрывают цыплят, когда в небе покажется коршун. Ходили слухи, что эти бедняки, окончательно лишенные всяких средств к жизни со времени изгнания из замка, составили друж-

ное сообщество и занимались, между прочим, мелким воровством в городе и окрестностях.

Организатором и руководителем этого сообщества несчастливцев был пан Тыбурций Драб, самая замечательная личность из всех не ужившихся в старом замке.

Происхождение Драба было покрыто мраком самой таинственной неизвестности. Некоторые приписывали ему аристократическое имя, которое он покрыл позором и потому принужден был скрываться. Но наружность пана Тыбурция не имела в себе ничего аристократического. Роста он был высокого; крупные черты лица были грубо-выразительны. Короткие, слегка рыжеватые волосы торчали врозь; низкий лоб, несколько выдававшаяся вперед нижняя челюсть и сильная подвижность лица напоминали что-то обезьянье; но глаза, сверкавшие из-под нависших бровей, смотрели упорно и мрачно, и в них светились вместе с лукавством острая пронизательность, энергия и ум. В то время как на его лице сменялся целый ряд гримас, эти глаза сохраняли постоянно одно выражение, отчего мне всегда бывало как-то безотчетно жутко

смотреть на кривлянье этого странного человека. Под ним как будто струилась глубокая постоянная печаль.

Руки пана Тыбурция были грубы и покрыты мозолями, большие ноги ступали по-мужичьи. Ввиду этого большинство обывателей не признавало за ним аристократического происхождения. Но тогда как объяснить его поразительную ученость, которая всем была очевидна? Не было кабака во всем городе, в котором бы пан Тыбурций, в поучение собравшихся в базарные дни хохлов, не произносил, стоя на бочке, целых речей из Цицерона[8], целых глав из Ксенофонта[9]. Хохлы, вообще наделенные от природы богатой фантазией, умели как-то влагать свой собственный смысл в эти одушевленные, хотя и непонятные речи... И, когда, ударяя себя и грудь и сверкая глазами, он обращался к ним со словами: «*Patres conscripti*»[10], – они тоже хмурились и говорили друг другу:

– Ото ж, вражий сын, як лається!

Когда же затем пан Тыбурций, подняв глаза к потолку, начинал декламировать длинейшие латинские тексты, усатые слушатели

следили за ним с боязливым и жалостным участием. Им казалось тогда, что душа Тыбурция витает где-то в неведомой стране, где говорят не по-христиански, и что она там испытывает какие-то горестные приключения. Его голос звучал такими глухими, загробными раскатами, что сидевшие по углам и наиболее ослабевшие от горилки[11] слушатели опускали головы, свешивали длинные «чуприны»[12] и начинали всхлипывать:

– О-ох, матиньки, та и жалобно ж, хай ему бис! – И слезы капали из глаз и стекали по длинным усам.

И, когда оратор, внезапно соскакивая с бочки, разражался веселым хохотом, омраченные лица хохлов вдруг прояснились и руки тянулись к карманам широких штанов за медяками. Обрадованные благополучным окончанием трагических приключений пана Тыбурция, хохлы поили его водкой, обнимались с ним, и в его картуз падали, звеня, медяки.

Ввиду такой поразительной учености явилась новая легенда, что пан Тыбурций был некогда дворовым мальчишкой какого-то гра-



фа, который послал его вместе со своим сыном в школу отцов иезуитов[13], собственно, на предмет чистки сапогов молодого панича. Оказалось, однако, что, в то время как молодой граф бездельничал, его лакей перехватил всю мудрость, которая назначалась для головы барчука.

Никто не знал также, откуда у пана Тыбурция явились дети, а между тем факт стоял налицо, даже два факта: мальчик лет семи, но рослый и развитой не по летам, и маленькая трехлетняя девочка. Мальчика пан Тыбурций привел с собой с первых дней, как явился сам. Что же касается девочки, то он отлучался на несколько месяцев, прежде чем она появилась у него на руках.

Мальчик, по имени Валек, высокий, тонкий, черноволосый, угрюмо шатался иногда по городу без особенного дела, заложив руки в карманы и кидая по сторонам взгляды, смущавшие сердца калачниц. Девочку видели только один или два раза на руках пана Тыбурция, а затем она куда-то исчезла, и где находилась – никому не было известно.

Поговаривали о каких-то подземельях на

горе около часовни, и так как в тех краях подобные подземелья нередки, то все верили этим слухам, тем более что ведь жили же где-нибудь все эти люди. А они обыкновенно под вечер исчезали именно в направлении к часовне. Туда своею сонною походкой ковылял полубезумный старик нищий, которого прозвали «профессор», шагал решительно и быстро пан Тыбурций. Туда уходили под вечер, утопая в сумерках, и другие темные личности, и не было храброго человека, который бы решился следовать за ними по глинистым обрывам. Гора, изрытая могилами, пользовалась дурной славой. На старом кладбище в сырые осенние ночи загорались синие огни, а в часовне сычи кричали так пронзительно и звонко, что от криков проклятой птицы даже у бесстрашного кузнеца сжималось сердце.

2. Я и мой отец

– Плохо, молодой человек, плохо! – говорил мне нередко старый Януш из замка, встречая меня на улицах города среди слушателей пана Тыбурция.

И старик качал при этом своею седою бородой.

– Плохо, молодой человек, – вы в дурном обществе!.. Жаль, очень жаль сына почтенных родителей.

Действительно, с тех пор как умерла моя мать, а суровое лицо отца стало еще угрюмее, меня очень редко видели дома. В поздние летние вечера я прокрадывался по саду, как молодой волчонок, избегая встречи с отцом, отворял посредством особых приспособлений свое окно, полузакрытое густою зеленью сирени, и тихо ложился в постель. Если маленькая сестренка еще не спала в своей качалке в соседней комнате, я подходил к ней, и мы тихо ласкали друг друга и играли, стараясь не разбудить ворчливую старую няньку.

А утром, чуть свет, когда в доме все еще спали, я уже прокладывал росистый след в густой, высокой траве сада, перелезал через забор и шел к пруду, где меня ждали с удочками такие же сорванцы-товарищи, или к мельнице, где сонный мельник только что отодвинул шлюзы и вода, чутко вздрагивая на зеркальной поверхности, кидалась в лотки[14] и бодро принималась за дневную работу.

Большие мельничные колеса, разбужен-

ные шумливыми толчками воды, тоже вздрагивали, как-то нехотя подавались, точно лентясь проснуться, но через несколько секунд уже кружились, брызгая пеной и купаясь в холодных струях. За ними медленно и солидно трогались толстые валы, внутри мельницы начинали грохотать шестерни, шуршали жернова, и белая мучная пыль тучами поднималась из щелей старого-престарого мельничного здания.

Тогда я шел далее. Мне нравилось встречать пробуждение природы; я бывал рад, когда мне удавалось вспугнуть заспавшегося жаворонка или выгнать из борозды трусливого зайца. Капли росы падали с верхушек трясушки[15], с головок луговых цветов, когда я пробирался полями к загородной роще. Деревья встречали меня шепотом ленивой дремоты.

Я успевал совершить дальний обход, и все же в городе то и дело встречались мне заспанные фигуры, отворявшие ставни домов. Но вот солнце поднялось уже над горой, из-за прудов слышится крикливый звонок, сзывающий гимназистов, и голод зовет меня домой к

утреннему чаю.

Вообще все меня звали бродягой, негодным мальчишкой и так часто укоряли в разных дурных наклонностях, что я наконец и сам проникся этим убеждением. Отец также поверил этому и делал иногда попытки заняться моим воспитанием, но попытки эти всегда кончались неудачей. При виде строгого и угрюмого лица, на котором лежала суровая печать неизлечимого горя, я робел и замыкался в себя. Я стоял перед ним, переминаясь, теребя свои штанишки, и озирался по сторонам. Временами что-то как будто подымалось у меня в груди; мне хотелось, чтоб он обнял меня, посадил к себе на колени и приласкал. Тогда я прильнул бы к его груди, и, быть может, мы вместе заплакали бы – ребенок и суровый мужчина – о нашей общей утрате. Но он смотрел на меня отуманенными глазами, как будто поверх моей головы, и я весь сжимался под этим непонятным для меня взглядом.

– Ты помнишь матушку?

Помнил ли я ее? О да, я помнил ее! Я помнил, как, бывало, просыпаясь ночью, я искал

в темноте ее нежные руки и крепко прижимался к ним, покрывая их поцелуями. Я помнил ее, когда она сидела больная перед открытым окном и грустно оглядывала чудную весеннюю картину, прощаясь с нею в последний год своей жизни.

О да, я помнил ее!.. Когда она, вся покрытая цветами, молодая и прекрасная, лежала с печатью смерти на бледном лице, я, как зверек, забился в угол и смотрел на нее горящими глазами, перед которыми впервые открылся весь ужас загадки о жизни и смерти.

И теперь часто, в глухую полночь, я просыпался, полный любви, которая теснилась в груди, переполняя детское сердце, просыпался с улыбкой счастья. И опять, как прежде, мне казалось, что она со мною, что я сейчас встречу ее любящую, милую ласку.

Да, я помнил ее!.. Но на вопрос высокого, угрюмого человека, в котором я желал, но не мог почувствовать родную душу, я съеживался еще более и тихо выдергивал из его руки свою ручонку.

И он отворачивался от меня с досадой и болью. Он чувствовал, что не имеет на меня ни

малейшего влияния, что между нами стоит какая-то стена. Он слишком любил ее, когда она была жива, не замечая меня из-за своего счастья. Теперь меня закрывало от него тяжелое горе.

И мало-помалу пропасть, нас разделявшая, становилась все шире и глубже. Он все более убеждался, что я – дурной, испорченный мальчишка, с черствым, эгоистическим сердцем, и сознание, что он *должен*, но *не может* заняться мною, *должен* любить меня, но не находит этой любви в своем сердце, еще увеличивало его нерасположение. И я это чувствовал. Порой, спрятавшись в кустах, я наблюдал за ним: я видел, как он шагал по аллеям, все ускоряя походку, и глухо стонал от нестерпимой душевной муки. Тогда мое сердце загоралось жалостью и сочувствием. Один раз, когда, сжав руками голову, он присел на скамейку и зарыдал, я не вытерпел и выбежал из кустов на дорожку, повинувшись неопределенному побуждению, толкавшему меня к этому человеку. Но, услышав мои шаги, он сурово взглянул на меня и осадил холодным вопросом:

- Что нужно?



Мне ничего не было нужно. Я быстро отвернулся, стыдясь своего порыва, боясь, чтоб отец не прочел его в моем смущенном лице. Убежав в чащу сада, я упал лицом в траву и горько заплакал от досады и боли.

С шести лет я испытывал уже ужас одиночества.

Сестре Соне было четыре года. Я любил ее страстно, и она платила мне такую же любовь; но установившийся взгляд на меня, как на отпетого маленького разбойника, воздвиг и между нами высокую стену. Всякий раз, когда я начинал играть с нею, по-своему шумно и резво, старая нянька, вечно сонная и вечно дравшая с закрытыми глазами куриные перья для подушек, немедленно просыпалась, быстро схватывала мою Соню и уносила к себе, кидая на меня сердитые взгляды; в таких случаях она всегда напоминала мне включенную насадку, себя я сравнивал с хищным коршуном, а Соню – с маленьким цыпленком. Мне становилось очень горько и досадно. Не мудрено поэтому, что скоро я прекратил всякие попытки занимать Соню своими преступными играми, а еще через некоторое время

мне стало тесно в доме и в садике, где я не встречал ни в ком привета и ласки. Я начал бродяжить. Все мое существо трепетало тогда каким-то странным предчувствием жизни. Мне все казалось, что где-то там, в этом большом и неведомом свете, за старою оградой сада, я найду что-то; казалось, что я что-то должен сделать и могу что-то сделать, но я только не знал, что именно. Я стал инстинктивно бегать и от няньки с ее перьями, и от знакомого ленивого шепота яблоней в нашем маленьком садике, и от глупого стука ножей, рубивших на кухне котлеты. С тех пор к прочим нелестным моим эпитетам прибавились названия уличного мальчишки и бродяги; но я не обращал на это внимания. Я притерпелся к упрекам и выносил их, как выносил внезапно налетающий дождь или солнечный зной. Я хмуро выслушивал замечания и поступал по-своему. Шатаясь по улицам, я всматривался детски-любопытными глазами в незатейливую жизнь городка с его лачугами, вслушивался в гул проводов на шоссе, стараясь уловить, какие вести несутся по ним из далеких больших городов, или в шелест колосьев, или

в шепот ветра на высоких гайдамацких[16] могилах. Не раз мои глаза широко раскрывались, не раз останавливался я с болезненным испугом перед картинами жизни. Образ за образом, впечатление за впечатлением ложились на душу яркими пятнами; я узнал и увидел много такого, что не видели дети значительно старше меня.

Когда все углы города стали мне известны до последних грязных закоулков, тогда я стал заглядываться на видневшуюся вдали, на горе, часовню. Сначала, как пугливый зверек, я подходил к ней с разных сторон, все не решаясь взобраться на гору, пользовавшуюся дурной славой. Но, по мере того как я знакомился с местностью, передо мною выступали только тихие могилы и разрушенные кресты. Нигде не было видно признаков какого-либо жилья и человеческого присутствия. Все было как-то смиренно, тихо, заброшенно, пусто. Только самая часовня глядела, насупившись, пустыми окнами, точно думала какую-то грустную думу. Мне захотелось осмотреть ее всю, заглянуть внутрь, чтобы убедиться, что и там нет ничего, кроме пыли. Но так как одно-

му было бы и страшно и неудобно предпринимать подобную экскурсию, то я собрал на улицах города небольшой отряд из трех сорванцов, привлеченных обещанием булок и яблоков из нашего сада.

3. Я приобретаю новое знакомство

Мы вышли в экскурсию после обеда и, подойдя к горе, стали подниматься по глинистым обвалам, взрытым лопатами жителей и весенними потоками. Обвалы обнажали склоны горы, и кое-где из глины виднелись высушенные наружу белые, истлевшие кости. В одном месте выставлялся деревянный гроб, в другом – скалил зубы человеческий череп.

Наконец, помогая друг другу, мы торопливо взобрались на гору из последнего обрыва. Солнце начинало склоняться к закату. Косые лучи мягко золотили зеленую мураву старого кладбища, играли на покосившихся крестах, переливались в уцелевших окнах часовни.

Было тихо, веяло спокойствием и глубоким миром брошенного кладбища. Здесь уже мы не видели ни черепов, ни костей, ни гробов. Зеленая, свежая трава ровным пологом любовно скрывала ужас и безобразие смерти.

Мы были одни; только воробьи возились кругом да ласточки бесшумно влетали и вылетали в окна старой часовни, которая стояла, грустно понурясь, среди поросших травой могил, скромных крестов, полуразвалившихся каменных гробниц, на развалинах которых стлалась густая зелень, пестрели разноцветные головки лютиков, кашки, фиалок.

– Нет никого, – сказал один из моих спутников.

– Солнце заходит, – заметил другой, глядя на солнце, которое не заходило еще, но стояло над горою.

Дверь часовни была крепко заколочена, окна – высоко над землею; однако при помощи товарищей я надеялся взобраться на них и взглянуть внутрь часовни.

– Не надо! – вскрикнул один из моих спутников, вдруг потерявший всю свою храбрость, и схватил меня за руку.

– Пошел ко всем чертям, баба! – прикрикнул на него старший из нашей маленькой армии, с готовностью подставляя спину.

Я храбро взобрался на нее, потом он выпрямился, и я стал ногами на его плечи. В та-

ком положении я без труда достал рукой раму и, убедясь в ее крепости, поднялся к окну и сел на него.

– Ну, что же там? – спрашивали меня снизу с живым интересом.

Я молчал. Перегнувшись через косяк, я заглянул внутрь часовни, и оттуда на меня пахнуло торжественною тишиной брошенного храма. Внутренность высокого, узкого здания была лишена всяких украшений. Лучи вечернего солнца, свободно врываясь в открытые окна, разрисовывали ярким золотом старые, ободранные стены. Я увидел внутреннюю сторону запертой двери, провалившиеся хоры [17], старые, истлевшие колонны, как бы покачнувшиеся под непосильною тяжестью. Углы были затканы паутиной, и в них ютилась та особенная тьма, которая залегает все углы таких старых зданий. От окна до пола казалось гораздо дальше, чем до травы снаружи. Я смотрел точно в глубокую яму и сначала не мог разглядеть каких-то предметов, еле выделявшихся на полу странными очертаниями.

Между тем моим товарищам надоело стоять внизу, ожидая от меня известий, и потому

один из них, проделав то же, что и я раньше, повис рядом со мною, держась за оконную раму.

– Что там такое? – с любопытством указал он на темный предмет, видневшийся рядом с престолом[18].

– Поповская шапка.

– Нет, ведро.

– Зачем же тут ведро?

– Может быть, в нем когда-то были угли для кадила[19].

– Нет, это действительно шапка. Впрочем, можно посмотреть. Давай привяжем к раме пояс, и ты по нем спустишься.

– Да, как же, так и спущусь!.. Полезай сам, если хочешь.

– Ну что ж! Думаешь, не полезу?

– И полезай!

Действуя по первому побуждению, я крепко связал два ремня, задел их за раму и, отдав один конец товарищу, сам повис на другом. Когда моя нога коснулась пола, я вздрогнул; но взгляд на участливо склонившуюся ко мне рожицу моего приятеля восстановил мою бодрость. Стук каблука зазвенел под потолком,

отдался в пустоте часовни, в ее темных углах. Несколько воробьев вспорхнули с насиженных мест на хорах и вылетели в большую прореху в крыше. Со стены, на окнах которой мы сидели, глянуло на меня вдруг строгое лицо с бородой, в терновом венце[20]. Это склонялось из-под самого потолка гигантское распятие[21].

Мне было жутко; глаза моего друга сверкали захватывающим дух любопытством и участием.

– Ты подойдешь? – спросил он тихо.

– Подойду, – ответил я так же, собираясь с духом. Но в эту минуту случилось нечто совершенно неожиданное.

Сначала послышался стук и шум обвалившейся на хорах штукатурки. Что-то завозилось вверху, тряхнуло в воздухе тучею пыли, и большая серая масса, взмахнув крыльями, поднялась к прорехе в крыше. Часовня на мгновение как будто потемнела. Огромная старая сова, обеспокоенная нашей возней, вылетела из темного угла, мелькнула на фоне голубого неба в пролете и шарахнулась вон.

Я почувствовал прилив судорожного стра-

ха.

– Подымай! – крикнул я товарищу, схватившись за ремень.

– Не бойся, не бойся! – успокаивал он, приговарываясь поднять меня на свет дня и солнца.

Но вдруг лицо его исказилось от страха; он вскрикнул и мгновенно исчез, спрыгнув с окна. Я инстинктивно оглянулся и увидел странное явление, поразившее меня, впрочем, больше удивлением, чем ужасом.

Темный предмет нашего спора, шапка или ведро, оказавшийся в конце концов горшком, мелькнул в воздухе и на глазах моих скрылся под престолом.

Я успел только разглядеть очертания небольшой, как будто детской руки.

Трудно передать свои ощущения в эту минуту; чувство, которое я испытывал, нельзя даже назвать страхом. Я был на том свете. Откуда-то, точно из другого мира, в течение нескольких секунд доносился до меня быстрой дробью тревожный топот трех пар детских ног. Но вскоре затих и он.

Я был один, точно в гробу, в виду каких-то



странных и необъяснимых явлений.

Времени для меня не существовало, поэтому я не мог сказать, скоро ли я услышал под престолом сдержанный шепот:

– Почему же он не лезет себе назад?

– Видишь, испугался.

Первый голос показался мне совсем детским; второй мог принадлежать мальчику моего возраста. Мне показалось также, что в щели старого престола сверкнула пара черных глаз.

– Что ж он теперь будет делать? – услышался опять шепот.

– А вот погоди, – ответил голос постарше.

Под престолом что-то сильно завозилось, он даже как будто покачнулся, и в то же мгновение из-под него вынырнула фигура.

Это был мальчик лет девяти, больше меня, худощавый и тонкий, как тростинка. Одет он был в грязной рубашонке, руки держал в карманах узких и коротких штанишек. Темные курчавые волосы лохматились над черными задумчивыми глазами.

Хотя незнакомец, явившийся на сцену столь неожиданным и странным образом,

подходил ко мне с тем беспечно-задорным видом, с каким всегда на нашем базаре подходили друг к другу мальчишки, готовые вступить в драку, но все же, увидев его, я сильно ободрился. Я ободрился еще больше, когда из-под того же престола, или, вернее, из люка в полу часовни, который он покрывал, сзади мальчика показалось еще грязное личико, обрамленное белокурыми волосами и сверкавшее на меня детски-любопытными голубыми глазами.

Я несколько отодвинулся от стены и тоже положил руки в карманы. Это было признаком, что я не боюсь противника и даже отчасти намекаю на мое к нему презрение.

Мы стали друг против друга и обменялись взглядами. Оглядев меня с головы до ног, мальчишка спросил:

– Ты здесь зачем?

– Так, – ответил я. – Тебе какое дело?

Мой противник повел плечом, как будто намереваясь вынуть руку из кармана и ударить меня.

Я не моргнул и глазом.

– Я вот тебе покажу! – погрозил он.

Я выпятился грудью вперед:

– Ну, ударь... попробуй!..

Мгновение было критическое: от него зависел характер дальнейших отношений. Я ждал, но мой противник, окинув меня тем же испытующим взглядом, не шевелился.

– Я, брат, и сам... тоже... – сказал я, но уже более миролюбиво.

Между тем девочка, упершись маленькими ручонками в пол часовни, старалась тоже выкарабкаться из люка. Она падала, вновь приподнималась и наконец направилась нетвердыми шагами к мальчишке. Подойдя вплоть, она крепко ухватилась за него и, прижавшись к нему, поглядела на меня удивленным и отчасти испуганным взглядом.

Это решило исход дела; стало совершенно ясно, что в таком положении мальчишка не мог драться, а я, конечно, был слишком великодушен, чтобы воспользоваться его неудобным положением.

– Как твое имя? – спросил мальчик, глядя рукой белокурую головку девочки.

– Вася. А ты кто такой?

– Я Валек... Я тебя знаю: ты живешь в саду

над прудом. У вас большие яблоки.

– Да, это правда, яблоки у нас хорошие... Не хочешь ли?

Вынув из кармана два яблока, назначавшиеся для расплаты с моею постыдно бежавшей армией, я подал одно из них Валеку, другое протянул девочке. Но она скрыла свое лицо, прижавшись к Валеку.

– Боится, – сказал тот и сам передал яблоко девочке.

– Зачем ты влез сюда? Разве я когда-нибудь лазал в ваш сад? – спросил он затем.

– Что ж, приходи! Я буду рад, – ответил я радушно.

Ответ этот озадачил Валека; он призадумался.

– Я тебе не компания, – сказал он грустно.

– Отчего же? – спросил я, искренне огорченный грустным тоном, каким были сказаны эти слова.

– Твой отец – пан судья.

– Ну так что же? – изумился я чистосердечно. – Ведь ты будешь играть со мною, а не с отцом.

Валек покачал головой.

– Тыбурций не пустит, – сказал он, и, как будто это имя напомнило ему что-то, он вдруг спохватился: – Послушай... Ты, кажется, славный хлопец, но все-таки тебе лучше уйти. Если Тыбурций тебя застанет, будет плохо.

Я согласился, что мне действительно пора уходить. Последние лучи солнца уходили уже сквозь окна часовни, а до города было не близко.

– Как же мне отсюда выйти?

– Я тебе укажу дорогу. Мы выйдем вместе.

– А она? – ткнул я пальцем в нашу маленькую даму.

– Маруся? Она тоже пойдет с нами.

– Как, в окно?

Валек задумался.

– Нет, вот что: я тебе помогу взобраться на окно, а мы выйдем другим ходом.

С помощью моего нового приятеля я поднялся к окну. Отвязав ремень, я обвил его вокруг рамы и, держась за оба конца, повис в воздухе. Затем, отпустив один конец, я спрыгнул на землю и выдернул ремень. Валек и Маруся ждали меня уже под стеной снаружи.

Солнце недавно еще село за гору. Город



утонул в лилово-туманной тени, и только верхушки высоких тополей на острове резко выделялись червонным золотом[22], разрисованные последними лучами заката. Мне казалось, что с тех пор, как я явился сюда, на старое кладбище, прошло не менее суток, что это было вчера.

– Как хорошо! – сказал я, охваченный свежестью наступающего вечера и вдыхая полную грудью влажную прохладу.

– Скучно здесь... – с грустью произнес Валек.

– Вы все здесь живете? – спросил я, когда мы втроем стали спускаться с горы.

– Здесь.

– Где же ваш дом?

Я не мог себе представить, чтобы дети могли жить без «дома».

Валек усмехнулся с обычным грустным видом и ничего не ответил.

Мы миновали крутые обвалы, так как Валек знал более удобную дорогу. Пройдя меж камышей по высохшему болоту и переправившись через ручеек по тонким дощечкам, мы очутились у подножия горы, на равнине.

Тут надо было расстаться. Пожав руку моему новому знакомому, я протянул ее также и девочке. Она ласково подала мне свою крохотную ручонку и, глядя снизу вверх голубыми глазами, спросила:

– Ты придешь к нам опять?

– Приду, – ответил я, – непременно!..

– Что ж, – сказал в раздумье Валеk, – приходи, пожалуй, только в такое время, когда наши будут в городе.

– Кто это «ваши»?

– Да наши... все: Тыбурций, «профессор»... хотя тот, пожалуй, не помешает.

– Хорошо. Я посмотрю, когда они будут в городе, и тогда приду. А пока прощайте!

– Эй, послушай-ка! – крикнул мне Валеk, когда я отошел несколько шагов. – А ты болтать не будешь о том, что был у нас?

– Никому не скажу, – ответил я твердо.

– Ну вот, это хорошо! А этим твоим дуракам, когда станут приставать, скажи, что видел черта.

– Ладно, скажу.

– Ну, прощай!

– Прощай.

Густые сумерки залегли над Княжьим-Веном, когда я приблизился к забору своего сада. Над замком зарисовался тонкий серп луны, загорелись звезды. Я хотел уже подняться на забор, как кто-то схватил меня за руку.

– Вася, друг, – заговорил взволнованным шепотом мой бежавший товарищ. – Как же это ты?... Голубчик!..

– А вот, как видишь... А вы все меня бросили!..

Он потупился, но любопытство взяло верх над чувством стыда, и он спросил опять:

– Что же там было?

– Что! – ответил я тоном, не допускавшим сомнения. – Разумеется, черти... А вы – трусы.

И, отмахнувшись от сконфуженного товарища, я полез на забор.

Через четверть часа я спал уже глубоким сном, и во сне мне виделась действительные черти, весело выскакивавшие из черного люка. Валек гонял их ивовым прутиком, а Маруся, весело сверкая глазками, смеялась и хлопала в ладоши.

4. Знакомство продолжается

С этих пор я весь был поглощен моим но-

вым знакомством. Вечером, ложась в постель, и утром, вставая, я только и думал о предстоящем визите на гору. По улицам города я шатался теперь с исключительной целью – высмотреть, тут ли находится вся компания, которую Януш характеризовал словами «дурное общество». И, если Тыбурций разглагольствовал перед своими слушателями, а темные личности из его компании шныряли по базару, я тотчас же бегом отправлялся через болото на гору, к часовне, предварительно наполнив карманы яблоками, которые я мог рвать в саду без запрета, и лакомствами, которые я сберегал всегда для своих новых друзей.

Валек, вообще очень солидный и внушавший мне уважение своими манерами взрослого человека, принимал эти приношения просто и по большей части откладывал куда-нибудь, приберегая для сестры, но Маруся всякий раз всплескивала ручонками, и глаза ее загорались огоньком восторга; бледное лицо девочки вспыхивало румянцем, она смеялась, и этот смех нашей маленькой приятельницы отдавался в наших сердцах, вознаграждая за конфеты, которые мы жертвовали в ее

пользу.

Это было бледное, крошечное создание, напоминавшее цветок, выросший без лучей солнца. Несмотря на свои четыре года, она ходила еще плохо, неуверенно ступая кривыми ножками и шатаясь, как былинка; руки ее были тонки и прозрачны; головка покачивалась на тонкой шее, как головка полевого колокольчика; глаза смотрели порой так не по-детски грустно, и улыбка так напоминала мне мою мать в последние дни, когда она, бывало, сидела против открытого окна и ветер шевелил ее белокурые волосы, что мне становилось самому грустно, и слезы подступали к глазам.

Я невольно сравнивал ее с моей сестрой; они были в одном возрасте, но моя Соня была кругла, как пышка, и упруга, как мячик. Она так резво бегала, когда, бывало, разыграется, так звонко смеялась, на ней всегда были такие красивые платья, и в темные косы ей каждый день горничная вплетала алую ленту.

А моя маленькая приятельница почти никогда не бегала и смеялась очень редко; когда

же смеялась, то смех ее звучал, как самый маленький серебряный колокольчик, которого на десять шагов уже не слышно. Платье ее было грязно и старо, в косе не было лент, но волосы у нее были гораздо больше и роскошнее, чем у Сони, и Валек, к моему удивлению, очень искусно умел заплетать их, что и исполнял каждое утро.

Я был большой сорванец. «У этого мало-го, – говорили обо мне старшие, – руки и ноги налиты ртутью», чему я и сам верил, хотя не представлял себе ясно, кто и каким образом произвел надо мной эту операцию. В первые же дни я внес свое оживление и в общество моих новых знакомых. Едва ли эхо старой часовни повторяло когда-нибудь такие громкие крики, как в то время, когда я старался расшевелить и завлечь в свои игры Валека и Марусю. Однако это удавалось плохо. Валек серьезно смотрел на меня и на девочку, и раз, когда я заставил ее бегать со мной взапуски, он сказал:

– Нет, она сейчас заплачет.

Действительно, когда я растормошил ее и заставил бежать, Марусю, слышав мои шаги

за собой, вдруг повернулась ко мне, подняв ручки над головой, точно для защиты, посмотрела на меня беспомощным взглядом захлопнутой пташки и громко заплакала.

Я совсем растерялся.

– Вот видишь, – сказал Валеку, – она не любит играть.

Он усадил ее на траву, нарвал цветов и кинул ей; она перестала плакать и тихо перебирала растения, что-то говорила, обращаясь к золотистым лютикам, и подносила к губам синие колокольчики. Я тоже присмирел и лег рядом с Валеком около девочки.

– Отчего она такая? – спросил я наконец, указывая глазами на Марусю.

– Невеселая? – переспросил Валеку и затем сказал тоном совершенно убежденного человека: – А это, видишь ли, от серого камня.

– Да-а, – повторила девочка, точно слабое эхо, – это от серого камня.

– От какого серого камня? – переспросил я, не понимая.

– Серый камень высосал из нее жизнь, – пояснил опять Валеку, по-прежнему смотря на небо. – Так говорит Тыбурций... Тыбурций хо-

рошо знает.

– Да-а, – опять повторила тихим эхом девочка. – Тыбурций все знает.

Я ничего не понимал в этих загадочных словах, которые Валек повторял за Тыбурцием, однако убеждение Валека, что Тыбурций все знает, произвело и на меня свое действие. Я приподнялся на локте и взглянул на Марусю. Она сидела в том же положении, в каком усадил ее Валек, и все так же перебирала цветы; движения ее тонких рук были медленны; глаза выделялись глубокою синевой на бледном лице; длинные ресницы были опущены. При взгляде на эту крохотную, грустную фигурку мне стало ясно, что в словах Тыбурция – хотя я и не понимал их значения – заключается горькая правда. Несомненно, кто-то высасывает жизнь из этой странной девочки, которая плачет тогда, когда другие на ее месте смеются. Но как же может сделать это серый камень?

Это было для меня загадкой, страшнее всех призраков старого замка. Как ни ужасны были турки, томившиеся под землею, но все они отзывались старою сказкой. А здесь что-то



неведомо страшное было налицо. Что-то бесформенное, неумолимое, твердое и жестокое, как камень, склонялось над маленькою головкой, высасывая из нее румянец, блеск глаз и живость движений. «Должно быть, это бывает по ночам», – думал я, и чувство щемящего до боли сожаления сжимало мне сердце.

Под влиянием этого чувства я тоже умирил свою резвость. Применяясь к тихой солидности нашей дамы, оба мы с Валеком, усадив ее где-нибудь на траве, собирали для нее цветы, разноцветные камешки, ловили бабочек, иногда делали из кирпичей ловушки для воробьев. Иногда же, растянувшись около нее на траве, смотрели в небо, как плывут облака высоко над лохматою крышей старой часовни, рассказывали Марусе сказки или беседовали друг с другом.

Эти беседы с каждым днем все больше укрепляли нашу дружбу с Валеком, которая росла, несмотря на резкую противоположность наших характеров. Моей порывистой резвости он противопоставлял грустную солидность и внушал мне почтение независимым тоном, с каким отзывался о старших.

Кроме того, он часто сообщал мне много нового, о чем я раньше и не думал. Слыша, как он отзывается о Тыбурции, точно о товарище, я спросил:

– Тыбурций тебе отец?

– Должно быть, отец, – ответил он задумчиво, как будто этот вопрос не приходил ему в голову.

– Он тебя любит?

– Да, любит, – сказал он уже гораздо увереннее. – Он постоянно обо мне заботится, и, знаешь, иногда он целует меня и плачет...

– И меня любит, и тоже плачет, – прибавила Маруся с выражением детской гордости.

– А меня отец не любит, – сказал я грустно. – Он никогда не целовал меня... Он нехороший.

– Неправда, неправда, – возразил Валец, – ты не понимаешь. Тыбурций лучше знает. Он говорит, что судья – самый лучший человек в городе... Он засудил даже одного графа...

– Да, это правда... Граф очень сердился, я слышал.

– Ну, вот видишь! А ведь графа засудить не шутка.

– Почему?

– Почему? – переспросил Валек, несколько озадаченный. – Потому что граф – не простой человек... Граф делает что хочет, и ездит в карете, и потом... у графа деньги; он дал бы другому судье денег, и тот бы его не засудил, а засудил бы бедного.

– Да, это правда. Я слышал, как граф кричал у нас в квартире: «Я вас всех могу купить и продать!»

– А судья что?

– А отец говорит ему: «Подите от меня вон!»

– Ну, вот, вот! И Тыбурций говорит, что он не побоится прогнать богатого, а когда к нему пришла старая Иваниха с костылем, он велел принести ей стул. Вот он какой!

Все это заставило меня глубоко задуматься. Валек указал мне моего отца с такой стороны, с какой мне никогда не приходило в голову взглянуть на него: слова Валека задели в моем сердце струну сыновней гордости; мне было приятно слушать похвалы моему отцу, да еще от имени Тыбурция, который «все знает», но вместе с тем дрогнула в моем сердце и

нота щемящей любви, смешанной с горьким сознанием: никогда отец не любил и не полюбит меня так, как Тыбурций любит своих детей.

5. Среди «серых камней»

Прошло еще несколько дней. Члены «дурного общества» перестали являться в город, и я напрасно шатался, скучая, по улицам, ожидая их появления, чтобы бежать на гору. Я совсем соскучился, так как не видеть Валека и Марусю стало уже для меня большим лишением. Но вот, когда я однажды шел с опущенной головой по пыльной улице, Валека вдруг положил мне на плечо руку.

– Отчего ты перестал к нам ходить? – спросил он.

– Я боялся... Ваших не видно в городе.

– А-а... Я и не догадался сказать тебе: наших нет, приходи... А я было думал совсем другое.

– А что?

– Я думал, тебе наскучило.

– Нет, нет... Я, брат, сейчас побегу, – заторопился я, – даже и яблоки со мной.

При упоминании о яблоках Валека быстро

повернулся ко мне, как будто хотел что-то сказать, но не сказал ничего, а только посмотрел на меня странным взглядом.

– Ничего, ничего, – отмахнулся он, видя, что я смотрю на него с ожиданием. – Ступай прямо на гору, а я тут зайду кое-куда – дело есть. Я тебя догоню на дороге.

Я пошел тихо и часто оглядывался, ожидая, что Валек меня догонит; однако я успел взойти на гору и подошел к часовне, а его все не было. Я остановился в недоумении: передо мной было только кладбище, пустынное и тихое, без малейших признаков обитаемости, – только воробьи чирикали на свободе да густые кусты черемухи, жимолости и сирени, прижимаясь к южной стене часовни, о чем-то тихо шептались густо разросшеюся темной листвой.

Я оглянулся кругом. Куда же мне теперь идти? Очевидно, надо дожидаться Валека. А пока я стал ходить между могилами, приглядываясь к ним от нечего делать и стараясь разобрать стертые надписи на обросших мхом надгробных камнях. Шатаюсь таким образом от могилы к могиле, я наткнулся на по-

луразрушенный просторный склеп. Крыша его была сброшена или сорвана непогодой и валялась тут же. Дверь была заколочена. Из любопытства я приставил к стене старый крест и, взобравшись по нему, взглянул внутрь. Гробница была пуста, только в середине пола была вделана оконная рама со стеклами, и сквозь эти стекла зияла темная пустота подземелья.

Пока я рассматривал гробницу, удивляясь странному назначению окна, на гору вбежал запыхавшийся и усталый Валек. В руках у него была большая еврейская булка, за пазухой что-то оттопырилось, по лицу стекали капли пота.

– Ага! – крикнул он, заметив меня. – Ты вот где... Если бы Тыбурций тебя здесь увидел, то то бы рассердился! Ну, да теперь уж делать нечего... Я знаю, ты хлопец хороший и никому не расскажешь, как мы живем. Пойдем к нам!

– Где же это, далеко? – спросил я.

– А вот увидишь. Ступай за мной.

Он раздвинул кусты жимолости и сирени и скрылся в зелени под стеной часовни; я по-

следовал туда за ним и очутился на небольшой, плотно утоптанной площадке, которая совершенно скрывалась в зелени. Между стволами черемухи я увидел в земле довольно большое отверстие с земляными ступенями, ведущими вниз. Валек спустился туда, приглашая меня с собой, и через несколько секунд мы оба очутились в темноте, под землей. Взяв мою руку, Валек повел меня по какому-то узкому, сырому коридору, и, круто повернув вправо, мы вдруг вошли в просторное подземелье.

Я остановился у входа, пораженный невиданным зрелищем. Две струи света резко лились сверху, выделяясь полосами на темном фоне подземелья; свет этот проходил в два окна, одно из которых я видел в полу склепа, другое, подалее, очевидно, было пристроено таким же образом; лучи солнца проникали сюда не прямо, а прежде отражались от стен старых гробниц; они разливались в сыром воздухе подземелья, падали на каменные плиты пола, отражались и наполняли все подземелье тусклыми отблесками; стены тоже были сложены из камня; большие, широ-

кие колонны массивно вздымались снизу и, раскинув во все стороны свои каменные дуги, крепко смыкались кверху сводчатым потолком. На полу, в освещенных пространствах, сидели две фигуры. Старый «профессор», склонив голову и что-то бормоча про себя,ковырял иголкой в своих лохмотьях. Он не поднял даже головы, когда мы вошли в подземелье, и если бы не легкие движения руки, то эту серую фигуру можно было бы принять за каменное изваяние.

Под другим окном сидела с кучкой цветов, перебирая их, по своему обыкновению, Маруся. Струя света падала на ее белокурую головку, заливая ее всю, но, несмотря на это, она как-то слабо выделялась на фоне серого камня странным и маленьким туманным пятнышком, которое, казалось, вот-вот расплывется и исчезнет. Когда там, вверху, над землей, пробегали облака, затеня солнечный свет, стены подземелья тонули совсем в темноте, а потом опять выступали жесткими, холодными камнями, смыкаясь крепкими объятиями над крохотную фигурку девочки. Я поневоле вспомнил слова Валека о «сером

камне», высасывавшем из Маруси ее веселье, и чувство суеверного страха закралось в мое сердце; мне казалось, что я ощущаю на ней и на себе невидимый каменный взгляд, пристальный и жадный.

– Валек! – тихо обрадовалась Маруся, увидев брата.

Когда же она заметила меня, в ее глазах блеснула живая искорка.

Я отдал ей яблоки, а Валек, разломив булку, часть подал ей, а другую снес «профессору». Несчастный ученый равнодушно взял это приношение и начал жевать, не отрываясь от своего занятия. Я переминался и ежился, чувствуя себя как будто связанным под гнетущими взглядами серого камня.

– Уйдем... уйдем отсюда, – дернул я Валекка. – Уведи ее...

– Пойдем, Маруся, наверх, – позвал Валек сестру.

И мы втроем поднялись из подземелья. Валек был грустнее и молчаливее обыкновенного.

– Ты в городе остался затем, чтобы купить булок? – спросил я у него.

– Купить? – усмехнулся Валек. – Откуда же у меня деньги?

– Так как же? Ты выпросил?

– Да, выпросишь!.. Кто же мне даст?... Нет, брат, я стянул их с лотка еврейки Суры на базаре! Она не заметила.

Он сказал это обыкновенным тоном, лежа враспяжку с заложенными под голову руками. Я приподнялся на локте и посмотрел на него.

– Ты, значит, украл?...

– Ну да!

Я опять откинулся на траву, и с минуту мы пролежали молча.

– Воровать нехорошо, – проговорил я затем в грустном раздумье.

– Наши все ушли... Маруся плакала, потому что она была голодна.

– Да, голодна! – с жалобным простодушием повторила девочка.

Я не знал еще, что такое голод, но при последних словах девочки у меня что-то повернулось в груди, и я посмотрел на своих друзей, точно увидал их впервые. Валек по-прежнему лежал на траве и задумчиво следил за

парившим в небе ястребом. А при взгляде на Марусю, державшую обеими руками кусок булки, у меня заныло сердце.

– Почему же, – спросил я с усилием, – почему ты не сказал об этом мне?

– Я и хотел сказать, а потом раздумал: ведь у тебя своих денег нет.

– Ну так что же? Я взял бы булок из дому.

– Как, потихоньку?

– Д-да.

– Значит, и ты бы тоже украл.

– Я... у своего отца.

– Это еще хуже! – с уверенностью сказал Валек. – Я никогда не ворую у своего отца.

– Ну, так я попросил бы... Мне бы дали.

– Ну, может быть, и дали бы один раз, – где же заpastись на всех нищих?

– А вы разве... нищие? – спросил я упавшим голосом.

– Нищие! – угрюмо отрезал Валек.

Я замолчал и через несколько минут стал прощаться.

– Ты уж уходишь? – спросил Валек.

– Да, ухожу.

Я уходил потому, что не мог уже в этот

день играть с моими друзьями по-прежнему, безмятежно. Чистая детская привязанность моя как-то замутилась... Хотя любовь моя к Валеку и Марусе не стала слабее, но к ней примешалась острая струя сожаления, дошедшая до сердечной боли. Дома я рано лег в постель. Уткнувшись в подушку, я горько плакал, пока крепкий сон не прогнал своим веянием моего глубокого горя.

6. На сцену является пан Тыбурций

– Здравствуй! А уж я думал – ты не придешь более, – так встретил меня Валек, когда я на следующий день опять явился на гору.

Я понял, почему он сказал это.

– Нет, я... я всегда буду ходить к вам, – ответил я решительно, чтобы раз навсегда покончить с этим вопросом.

Валек заметно повеселел, и оба мы почувствовали себя свободнее.

– Ну что? Где же ваши? – спросил я. – Все еще не вернулись?

– Нет еще. Черт их знает, где они пропадают.

И мы весело принялись за сооружение хитроумной ловушки для воробьев, для кото-

рой я принес с собой ниток. Нитку мы дали в руки Марусе, и, когда неосторожный воробей, привлеченный зерном, беспечно заскакивал в западню, Маруся дергала нитку, и крышка захлопывала птичку, которую мы затем отпускали.

Между тем около полудня небо насупилось, надвинулась темная туча, и под веселые раскаты грома зашумел ливень. Сначала мне очень не хотелось спускаться в подземелье, но потом, подумав, что ведь Валек и Маруся живут там постоянно, я победил неприятное ощущение и пошел туда вместе с ними. В подземелье было темно и тихо, но сверху слышно было, как перекатывался гулкой грохот грозы, точно кто ездил там в громадной телеге по мостовой. Через несколько минут я освоился с подземельем, и мы весело прислушивались, как земля принимала широкие потоки ливня; гул, всплески и частые раскаты настраивали наши нервы, вызывали оживление, требовавшее исхода.

– Давайте играть в жмурки, – предложил я.

Мне завязали глаза; Маруся звенела слабыми переливами своего жалкого смеха и шле-

пала по каменному полу непроторенными ножонками, а я делал вид, что не могу поймать ее, как вдруг наткнулся на чью-то мокрую фигуру и в ту же минуту почувствовал, что кто-то схватил меня за ногу. Сильная рука приподняла меня с полу, и я повис в воздухе вниз головой. Повязка с глаз моих спала.

Тыбурций, мокрый и сердитый, страшнее еще оттого, что я глядел на него снизу, держал меня за ногу и дико вращал зрачками.

– Это что еще, а? – строго спрашивал он, глядя на Валека. – Вы тут, я вижу, весело проводите время... Завели приятную компанию.

– Пустите меня! – сказал я, удивляясь, что и в таком необычном положении я все-таки могу говорить, но рука пана Тыбурция только еще сильнее сжала мою ногу.

– Отвечай! – грозно обратился он опять к Валеку, который в этом затруднительном случае стоял, запихав в рот два пальца, как бы в доказательство того, что ему отвечать решительно нечего.

Я заметил только, что он с большим участием следил за моею несчастною фигурой, качавшеюся, подобно маятнику, в простран-

стве.

Пан Тыбурций приподнял меня и взглянул в лицо.

– Эге-ге! Пан судья, если меня не обманывают глаза... Зачем это изволили пожаловать?

– Пусти! – проговорил я упрямо. – Сейчас отпусти! – И при этом я сделал инстинктивное движение, как бы собираясь топнуть ногой, но от этого весь только забился в воздухе.

Тыбурций захохотал.

– Ого-го! Пан судья изволят сердиться... Ну, да ты меня еще не знаешь. Я – Тыбурций. Я вот повешу тебя над огоньком и зажарю, как поросенка.

Отчаянный вид Валека как бы подтверждал мысль о возможности такого печального исхода. К счастью, на выручку подоспела Маруся.

– Не бойся, Вася, не бойся! – ободряла она меня, подойдя к самым ногам Тыбурция. – Он никогда не жарит мальчиков на огне... Это неправда!

Тыбурций быстрым движением повернул меня и поставил на ноги; при этом я чуть не упал, так как у меня закружилась голова, но



он поддержал меня рукой и затем, сев на де-

ревянный обрубок, поставил между колен.

– И как это ты сюда попал? – продолжал он допрашивать. – Давно ли?... Говори ты! – обратился он к Валеку, так как я ничего не ответил.

– Давно, – ответил тот.

– А как давно?

– Дней шесть.

Казалось, этот ответ доставил пану Тыбурцию некоторое удовольствие.

– Ого, шесть дней! – заговорил он, поворачивая меня лицом к себе. – Шесть дней – много времени. И ты до сих пор никому еще не разболтал, куда ходишь?

– Никому.

– Правда?

– Никому, – подтвердил я.

– Похвально!.. Можно рассчитывать, что не разболтаешь и вперед. Впрочем, я и всегда считал тебя порядочным малым, встречая на улицах. Настоящий «уличник», хоть и «судья»... А нас судить будешь, скажи-ка?

Он говорил довольно добродушно, но я все-таки чувствовал себя глубоко оскорбленным и потому ответил довольно сердито:

– Я вовсе не судья. Я – Вася.

– Одно другому не мешает, и Вася тоже может быть судьей, – не теперь, так после... Это уж, брат, так ведется исстари. Вот видишь ли: я – Тыбурций, а он – Валец. Я нищий, и он нищий. Я, если уж говорить откровенно, краду, и он будет красть. А твой отец меня судит, – ну, и ты когда-нибудь будешь судить... вот его!

– Не буду судить Валека, – возразил я угрюмо. – Неправда!

– Он не будет, – вступилась и Маруся, с полным убеждением отстраняя от меня ужасное подозрение.

Девочка доверчиво прижалась к ногам этого уродца, а он ласково гладил жилистой рукой ее белокурые волосы.

– Ну, этого ты вперед не говори, – сказал странный человек задумчиво, обращаясь ко мне таким тоном, точно он говорил со взрослым. – Не говори, друг!.. Всякому свое, каждый идет своей дорожкой, и кто знает... может быть, это и хорошо, что твоя дорога пролегла через нашу. Для тебя хорошо, потому что лучше иметь в груди кусочек челове-

ского сердца вместо холодного камня, – понимаешь?...

Я не понимал ничего, но все же впился глазами в лицо странного человека; глаза пана Тыбурция пристально смотрели в мои.

– Не понимаешь, конечно, потому что ты еще малец... Поэтому скажу тебе кратко: если когда-нибудь придется тебе судить вот его, то вспомни, что еще когда вы оба были дураками и играли вместе, – что уже тогда ты шел по дороге в штанах и с хорошим запасом провизии, а он бежал по своей оборванцем и с пустым брюхом... Впрочем, – заговорил он, резко изменив тон, – запомни хорошенько вот что: если ты проболтаешься своему судье или хоть птице, которая пролетит мимо тебя в поле, о том, что ты здесь видел, то не будь я Тыбурций Драб, если я тебя не повешу вот в этом камине за ноги и не сделаю из тебя копченого окорока. Это ты, надеюсь, понял?

– Я не скажу никому... я... Можно мне опять прийти?

– Приходи, разрешаю... под условием... Впрочем, я уже сказал тебе насчет окорока. Помни!..

Он отпустил меня и сам растянулся с усталым видом на длинной лавке, стоявшей около стенки.

– Возьми вон там, – указал он Валеку на большую корзину, которую, войдя, оставил у порога, – да разведи огонь. Мы будем сегодня варить обед.

Теперь это уже был не тот человек, что за минуту пугал меня, вращая зрачками, и не шут, потешавший публику из-за подачек. Он распоряжался, как хозяин и глава семейства, вернувшийся с работы и отдающий приказания домочадцам.

Он казался сильно уставшим. Платье его было мокро от дождя, во всей фигуре виднелось тяжелое утомление.

Мы с Валеком живо принялись за работу. Валек зажег лучину, и мы отправились с ним в темный коридор, примыкавший к подземелью. Там в углу были свалены куски полуистлевшего дерева, обломки крестов, старые доски; из этого запаса мы взяли несколько кусков и, поставив их в камин, развели огонек. Затем Валек уже один умелыми руками принялся за стряпню. Через полчаса в камине

закипело уже в горшке какое-то варево, а в ожидании, пока оно поспеет, Валек поставил на трехногий столик сковороду, на которой дымились куски жареного мяса.

Тыбурций поднялся.

– Готово? – сказал он. – Ну и отлично. Садись, малый, с нами – ты заработал свой обед... Господин учитель, – крикнул он затем, обращаясь к «профессору», – брось свою иголку, садись к столу!

– Сейчас, – сказал тихим голосом «профессор», удивив меня этим сознательным ответом.

Старик воткнул иголку в лохмотья и равнодушно, с тусклым взглядом уселся на один из деревянных обрубков, заменявших в подземелье стулья.

Марусю Тыбурций держал на руках. Она и Валек ели с жадностью, которая ясно показывала, что мясное блюдо было для них невиданною роскошью; Маруся облизывала даже свои засаленные пальцы. Тыбурций ел с расстановкой и, повинуюсь, по-видимому, неодолимой потребности говорить, то и дело обращался к «профессору» со своей беседой. Бед-

ный ученый проявлял при этом удивительное внимание и, наклонив голову, выслушивал все с таким разумным видом, как будто он понимал каждое слово. Иногда даже он выражал свое согласие кивком головы и тихим мычанием.

– Вот как немного нужно человеку, – говорил Тыбурций. – Не правда ли? Вот мы и сыты, и теперь нам остается только поблагодарить Бога и клеванского ксендза[23]...

– Ага, ага! – поддакивал «профессор».

– Вот ты поддакиваешь, а сам не понимаешь, при чем тут клеванский ксендз, – я ведь тебя знаю. А между тем не будь клеванского ксендза, у нас не было бы жаркого и еще кое-чего...

– Это вам дал клеванский ксендз? – спросил я, вспомнив вдруг круглое, добродушное лицо клеванского ксендза, бывавшего у отца.

– У этого малого любознательный ум, – продолжал Тыбурций, по-прежнему обращаясь к «профессору». – Действительно, его священство дал нам все это, хотя мы у него и не просили, и даже, быть может, не только его левая рука не знала, что дает правая, но и обе

руки не имели об этом ни малейшего понятия...

Из этой странной и запутанной речи я понял только, что способ приобретения был не совсем обыкновенный, и не удержался, чтоб еще раз не вставить вопроса:

– Вы это взяли... сами?

– Малый не лишен проницательности, – продолжал Тыбурций по-прежнему. – Жаль только, что он не видел ксендза: у него брюхо, как настоящая сороковая бочка, и, стало быть, объедение ему очень вредно. Между тем мы все, здесь находящиеся, страдаем скорее излишнею худобой, а потому некоторое количество провизии не можем считать для себя лишним... Так ли я говорю?

– Ага, ага! – задумчиво промычал опять «профессор».

– Ну вот! На этот раз вы выразили свое мнение очень удачно, а то я уже начинал думать, что у этого малого ум бойчее, чем у некоторых ученых... Впрочем, – повернулся он вдруг ко мне, – ты все-таки еще глуп и много не понимаешь. А вот она понимает: скажи, моя Маруся, хорошо ли я сделал, что при-

нес тебе жаркое?

– Хорошо! – ответила девочка, слегка сверкнув бирюзовыми глазами. – Маня была голодна.

Под вечер этого дня я с отуманенной головой задумчиво возвращался к себе. Странные речи Тыбурция ни на одну минуту не поколебали во мне убеждения, что «воровать нехорошо». Напротив, болезненное ощущение, которое я испытывал раньше, еще усилилось. Нищие... Воры... у них нет дома!.. От окружающих я давно уже знал, что со всем этим соединяется презрение. Я даже чувствовал, как из глубины души во мне подымается вся горечь презрения, но я инстинктивно защищал мою привязанность от этой горькой примеси. В результате – сожаление к Валеку и Марусе усилилось и обострилось, но привязанность не исчезла. Убеждение, что «нехорошо воровать», осталось. Но, когда воображение рисовало мне оживленное личико моей приятельницы, облизывавшей свои засаленные пальцы, я радовался ее радостью и радостью Валека.

В темной аллейке сада я нечаянно на-

ткнулся на отца. Он, по обыкновению, угрюмо ходил взад и вперед с обычным странным, как будто отуманенным взглядом. Когда я очутился подле него, он взял меня за плечо:

– Откуда это?

– Я... гулял...

Он внимательно посмотрел на меня, хотел что-то сказать, но потом взгляд его опять затуманился, и, махнув рукой, он зашагал по аллее. Мне кажется, что я и тогда понимал смысл этого жеста:

«А, все равно. Ее уж нет!..»

Я солгал чуть ли не в первый раз в жизни.

Я всегда боялся отца, а теперь тем более. Теперь я носил в себе целый мир смутных вопросов и ощущений. Мог ли он понять меня? Мог ли я в чем-либо признаться ему, не изменяя своим друзьям? Я дрожал при мысли, что он узнает когда-либо о моем знакомстве с «дурным обществом», но изменить Валеку и Марусе – я был не в состоянии. Если бы я изменил им, нарушив данное слово, то не мог бы при встрече поднять на них глаз от стыда.

7. Осенью

Близилась осень. В поле шла жатва, листья

на деревьях желтели. Вместе с тем наша Маруся начала прихварывать.

Она ни на что не жаловалась, только все худела; лицо ее все бледнело, глаза потемнели, стали больше, веки приподнимались с трудом.

Теперь я мог приходить на гору, не стесняясь тем, что члены «дурного общества» бывали дома. Я совершенно свыкся с ними и стал на горе своим человеком. Темные молодые личности делали мне из вяза луки и самострелы; высокий юнкер[24] с красным носом вертел меня на воздухе, как щепку, приучая к гимнастике. Только «профессор», как всегда, был погружен в какие-то глубокие соображения.

Все эти люди помещались отдельно от Тыбурция, который занимал «с семейством» описанное выше подземелье.

Осень все больше вступала в свои права. Небо все чаще заволакивалось тучами, окрестности тонули в туманном сумраке; потоки дождя шумно лились на землю, отдаваясь однообразным и грустным гулом в подземельях. Мне стоило много труда урываться из

дому в такую погоду; впрочем, я только старался уйти незамеченным; когда же возвращался домой весь вымокший, то сам развешивал платье против камина и смиренно ложился в постель, философски отмалчиваясь под целым градом упреков, которые лились из уст няnek и служанок.

Каждый раз, придя к своим друзьям, я замечал, что Маруся все больше хиреет. Теперь она совсем уже не выходила на воздух, и серый камень – темное, молчаливое чудовище подземелья – продолжал без перерыва свою ужасную работу, высасывая жизнь из маленького тельца. Девочка теперь большую часть времени проводила в постели, и мы с Валерком истощали все усилия, чтобы развлечь ее и позабавить, чтобы вызвать тихие переливы ее слабого смеха.

Теперь, когда я окончательно сжился с «дурным обществом», грустная улыбка Маруси стала мне почти так же дорога, как улыбка сестры; но тут никто не ставил мне вечно на вид мою испорченность, тут не было ворчливой няньки, тут я был нужен – я чувствовал, что каждый раз мое появление вызывает ру-

мянец оживления на щеках девочки. Валек обнимал меня, как брата, и даже Тыбурций по временам смотрел на нас троих какими-то странными глазами, в которых что-то мерцало, точно слеза.

На время небо опять прояснилось; с него сбежали последние тучи, и над просыхающей землей, в последний раз перед наступлением зимы, засияли солнечные дни. Мы каждый день выносили Марусю наверх, и здесь она как будто оживала; девочка смотрела вокруг широко раскрытыми глазами, на щеках ее загорался румянец; казалось, что ветер, обдававший ее своими свежими взмахами, возвращал ей частицы жизни, похищенные серыми камнями подземелья, но это продолжалось недолго...

Между тем над моей головой тоже стали собираться тучи. Однажды, когда я, по обыкновению, утром проходил по аллеям сада, я увидел в одной из них отца, а рядом старого Януша из замка. Старик подобострастно кланялся и что-то говорил, а отец стоял с угрюмым видом, и на лбу его резко обозначалась складка нетерпеливого гнева. Наконец он



протянул руку, как бы отстраняя Януша с своей дороги, и сказал:

– Уходите! Вы просто старый сплетник!

Старик как-то заморгал и, держа шапку в руках, опять забежал вперед и загородил отцу дорогу. Глаза отца сверкнули гневом. Януш говорил тихо, и слов его мне не было слышно, зато отрывочные фразы отца доносились ясно, падая, точно удары хлыста.

– Не верю ни одному слову... Что вам надо от этих людей? Где доказательства?... Словесных доносов я не слушаю, а письменный вы обязаны доказать... Молчать! Это уж мое дело... Не желаю и слушать.

Наконец он так решительно отстранил Януша, что тот не посмел более надоедать ему; отец повернул в боковую аллею, а я побежал к калитке.

Я сильно недолюбливал старого филина из замка, и теперь сердце мое дрогнуло предчувствием. Я понял, что подслушанный мною разговор относился к моим друзьям и, быть может, также ко мне. Тыбурций, которому я рассказал об этом случае, скорчил ужасную гримасу.

– У-уф, малый, какая это неприятная новость!.. О, проклятая старая гиена!

– Отец его прогнал, – заметил я в виде утешения.

– Твой отец, малый, самый лучший из всех судей на свете. У него есть сердце; он знает много... Быть может, он уже знает все, что может сказать ему Януш, но он молчит; он не считает нужным травить старого, беззубого зверя в его последней берлоге... Но, малый, как бы тебе объяснить это? Твой отец служит господину, которого имя – закон. У него есть глаза и сердце только до тех пор, пока закон спит себе на полках; когда же этот господин сойдет оттуда и скажет твоему отцу: «А ну-ка, судья, не возьмись ли нам за Тыбурция Драба, или как там его зовут?» – с этого момента судья тотчас запирает свое сердце на ключ, и тогда у судьи такие твердые лапы, что скорее мир повернется в другую сторону, чем пан Тыбурций вывернется из его рук... Понимаешь ты, малый?... Вся беда моя в том, что у меня с законом вышло когда-то, давно уже, некоторое столкновение... то есть, понимаешь, неожиданная ссора... ах, малый, очень

это была крупная ссора!

С этими словами Тыбурций встал, взял на руки Марусю и, отойдя с нею в дальний угол, стал целовать ее, прижимаясь своею безобразной головой к ее маленькой груди. А я остался на месте и долго стоял в одном положении, под впечатлением странных речей странного человека. Несмотря на причудливые и непонятные обороты, я отлично схватил сущность того, что говорил об отце Тыбурций, и фигура отца в моем представлении еще выросла, облеклась ореолом грозной, но симпатичной силы и даже какого-то величия. Но вместе с тем усиливалось и другое, горькое чувство...

«Вот он какой, – думалось мне. – Но все же он меня не любит».

8. Кукла

Ясные дни миновали, и Марусе опять стало хуже. На все наши ухищрения с целью занять ее она смотрела равнодушно своими большими, потемневшими и неподвижными глазами, и мы давно уже не слышали ее смеха. Я стал носить в подземелье свои игрушки, но и они развлекали девочку только на

короткое время. Тогда я решился обратиться к своей сестре Соне.

У Сони была большая кукла, с ярко раскрашенным лицом и роскошными льняными волосами, подарок покойной матери. На эту куклу я возлагал большие надежды и потому, отозвав сестру в боковую аллею сада, попросил дать мне ее на время. Я так убедительно просил ее об этом, так живо описал ей бедную больную девочку, у которой никогда не было своих игрушек, что Соня, которая сначала только прижимала куклу к себе, отдала мне ее и обещала в течение двух-трех дней играть другими игрушками, ничего не упоминая о кукле.

Действие этой нарядной фаянсовой барышни на нашу больную превзошло все мои ожидания. Маруся, которая увядала, как цветок осенью, казалось, вдруг опять ожила. Она так крепко меня обнимала, так звонко смеялась, разговаривая со своей новой знакомой... Маленькая кукла сделала почти чудо: Маруся, давно уже не сходившая с постели, стала ходить, водя за собой свою белокурую дочку, и по временам даже бегала, по-прежнему шле-

пая по полу слабыми ногами.

Зато мне эта кукла доставила очень много тревожных минут. Прежде всего, когда я нес ее за пазухой, направляясь с ней на гору, в дороге мне попался старый Януш, который долго провожал меня глазами и качал головой. Потом, дня через два, старушка няня заметила пропажу и стала соваться по углам, везде разыскивая куклу. Соня старалась унять ее, но своими наивными уверениями, что ей кукла не нужна, что кукла ушла гулять и скоро вернется, только вызывала недоумение служанок и возбуждала подозрение, что тут не простая пропажа.

Отец ничего еще не знал, но к нему опять приходил Януш и был прогнан – на этот раз с еще большим гневом; однако в тот же день отец остановил меня на пути к садовой калитке и велел остаться дома. На следующий день повторилось то же, и только через четыре дня я встал рано утром и махнул через забор, пока отец еще спал.

На горе дела были плохи. Маруся опять слегла, и ей стало еще хуже; лицо ее горело странным румянцем, белокурые волосы рас-

кидались по подушке; она никого не узнавала. Рядом с ней лежала злополучная кукла, с розовыми щеками и глупыми блестящими глазами.

Я сообщил Валеку свои опасения, и мы решили, что куклу необходимо унести обратно, тем более что Маруся этого и не заметит. Но мы ошиблись! Как только я вынул куклу из рук лежащей в забытьи девочки, она открыла глаза, посмотрела перед собой смутным взглядом, как будто не видя меня, не сознавая, что с ней происходит, и вдруг заплакала тихо-тихо, но вместе с тем так жалобно, и в исхудалом лице, под покровом бреда, мелькнуло выражение такого глубокого горя, что я тотчас же с испугом положил куклу на прежнее место. Девочка улыбнулась, прижала куклу к себе и успокоилась. Я понял, что хотел лишить моего маленького друга первой и последней радости ее недолгой жизни.

Валек робко посмотрел на меня.

– Как же теперь будет? – спросил он грустно.

Тыбурций, сидя на лавочке с печально понуренною головой, также смотрел на меня во-



просительным взглядом. Поэтому я постарал-

ся придать себе вид по возможности беспечный и сказал:

– Ничего! Нянька, наверное, уж забыла.

Но старуха не забыла. Когда я на этот раз возвратился домой, у калитки мне опять попался Януш; Соню я застал с заплаканными глазами, а нянька кинула на меня сердитый, подавляющий взгляд и что-то ворчала беззубым шамкающим ртом.

Отец спросил у меня, куда я ходил, и, выслушав внимательно обычный ответ, ограничился тем, что повторил мне приказ ни под каким видом не отлучаться из дому без его позволения. Приказ был категоричен и очень решителен; послушаться его я не посмел, но не решался также и обратиться к отцу за позволением.

Прошло четыре томительных дня. Я грустно ходил по саду и с тоской смотрел по направлению к горе, ожидая, кроме того, грозы, которая собиралась над моей головой. Что будет, я не знал, но на сердце у меня было тяжело. Меня в жизни никто еще не наказывал; отец не только не трогал меня пальцем, но я от него не слышал никогда ни одного резкого

слова. Теперь меня томило тяжелое предчувствие.

Наконец меня позвали к отцу, в его кабинет. Я вошел и робко остановился у притолоки. В окно заглядывало грустное осеннее солнце. Отец некоторое время сидел в своем кресле перед портретом матери и не поворачивался ко мне. Я слышал тревожный стук собственного сердца.

Наконец он повернулся. Я поднял на него глаза и тотчас же опустил их в землю. Лицо отца показалось мне страшным. Прошло около полминуты, и в течение этого времени я чувствовал на себе тяжелый, неподвижный, подавляющий взгляд.

– Ты взял у сестры куклу?

Эти слова упали вдруг на меня так отчетливо и резко, что я вздрогнул.

– Да, – ответил я тихо.

– А знаешь ты, что это подарок матери, которым ты должен бы дорожить, как святыней?... Ты украл ее?

– Нет, – сказал я, подымая голову.

– Как нет? – вскрикнул вдруг отец, отталявая кресло. – Ты украл ее и снес!.. Кому ты

снес ее?... Говори!



Он быстро подошел ко мне и положил мне на плечо тяжелую руку. Я с усилием поднял голову и взглянул вверх. Лицо отца было бледно, глаза горели гневом. Я весь съежился.

– Ну, что же ты?... Говори! – И рука, державшая мое плечо, сжала его сильнее.

– Н-не скажу! – ответил я тихо.

– Нет, скажешь! – отчеканил отец, и в голосе его зазвучала угроза.

– Не скажу, – прошептал я еще тише.

– Скажешь, скажешь!..

Он повторил это слово сдавленным голосом, точно оно вырвалось у него с болью и усилием. Я чувствовал, как дрожала его рука, и все ниже опускал голову; слезы одна за другой капали из моих глаз на пол, но я все повторял едва слышно:

– Нет, не скажу... никогда, никогда не скажу вам. Ни за что!

В эту минуту во мне сказался сын моего отца. Он не добился бы от меня иного ответа самыми страшными муками. В моей груди, навстречу его угрозам, подымалось едва сознательное оскорбленное чувство покинутого ребенка и какая-то жгучая любовь к тем, кто меня

пригрел там, в старой часовне.

Отец тяжело перевел дух. Я съежился еще более, горькие слезы жгли мои щеки. Я ждал.

Я знал, что он страшно вспыльчив. Что в эту минуту в его груди кипит бешенство. Что он со мной сделает? Но мне теперь кажется, что я боялся не этого... Даже в эту страшную минуту я любил отца и вместе с тем чувствовал, что вот сейчас он бешеным насилием разобьет мою любовь вдребезги. Теперь я совсем перестал бояться. Кажется, я ждал и желал, чтобы катастрофа наконец разразилась... Если так... пусть... тем лучше – да, тем лучше.

Отец опять тяжело вздохнул. Справился ли он сам с овладевшим им исступлением, я до сих пор не знаю. Но в эту критическую минуту раздался вдруг за открытым окном резкий голос Тыбурция:

– Эге-ге!.. Мой бедный маленький друг...

«Тыбурций пришел!» – промелькнуло у меня в голове, но, даже чувствуя, как дрогнула рука отца, лежавшая на моем плече, я не представлял себе, чтобы появление Тыбурция или какое бы то ни было другое внешнее обстоятельство могло стать между мною и от-

цом, могло отклонить то, что я считал неизбежным.

Между тем Тыбурций быстро отпер входную дверь и, остановившись на пороге, в одну секунду оглядел нас обоих своими острыми, рысьими глазами.

– Эге-ге!.. Я вижу моего молодого друга в очень затруднительном положении...

Отец встретил его мрачным и удивленным взглядом, но Тыбурций выдержал этот взгляд спокойно. Теперь он был серьезен, не кривлялся, и глаза его глядели как-то особенно грустно.

– Пан судья! – заговорил он мягко. – Вы человек справедливый... отпустите ребенка. Маленький был в «дурном обществе», но, видит Бог, он не сделал дурного дела, и если его сердце лежит к моим оборванным беднякам, то, клянусь, лучше велите меня повесить, но я не допущу, чтобы мальчик пострадал из-за этого. Вот твоя кукла, мальчик!

Он развязал узелок и вынул оттуда куклу.

Рука отца, державшая мое плечо, разжалась. В лице виднелось изумление.

– Что это значит? – спросил он наконец.

– Отпустите мальчика, – повторил Тыбурций, и его широкая ладонь любовно погладила мою опущенную голову. – Вы ничего не добьетесь от него угрозами, а между тем я охотно расскажу вам все, что вы желаете знать... Выйдем, пан судья, в другую комнату.

Отец, все время смотревший на Тыбурция удивленными глазами, повиновался. Оба они вышли, а я остался, подавленный ощущениями, переполнившими мое сердце. В эту минуту я ни в чем не отдавал себе отчета. Был только маленький мальчик, в сердце которого встряхнули два разнообразных чувства: гнев и любовь – так сильно, что это сердце замутилось. Этот мальчик был я, и мне самому себя было как будто жалко. Да еще были два голоса, смутным, хотя и оживленным говором звучавшие за дверью...

Я все еще стоял на том же месте, как дверь кабинета отворилась, и оба собеседника вошли. Я опять почувствовал на своей голове чью-то руку и вздрогнул. То была рука отца, нежно гладившая мои волосы.

Тыбурций взял меня на руки и посадил, в присутствии отца, к себе на колени.

– Приходи к нам, – сказал он, – отец тебя отпустит попрощаться с моей девочкой. Она... она умерла.

Голос Тыбурция дрогнул, он странно заморгал глазами, но тотчас же встал, поставил меня на пол, выпрямился и быстро ушел из комнаты.

Я вопросительно поднял глаза на отца. Теперь передо мной стоял другой человек, но в этом именно человеке я нашел что-то родное, чего тщетно искал в нем прежде. Он смотрел на меня обычным своим задумчивым взглядом, но теперь в этом взгляде виднелся оттенок удивления и как будто вопрос. Казалось, буря, которая только что пронеслась над нами обоими, рассеяла тяжелый туман, нависший над душой отца. И отец только теперь стал узнавать во мне знакомые черты своего родного сына.

Я доверчиво взял его руку и сказал:

– Я ведь не украл... Соня сама дала мне на время...

– Д-да, – ответил он задумчиво, – я знаю... Я виноват перед тобою, мальчик, и ты постарайся когда-нибудь забыть это, не правда ли?

Я с живостью схватил его руку и стал ее целовать. Я знал, что теперь никогда уже он не будет смотреть на меня теми страшными глазами, какими смотрел за несколько минут перед тем, и долго сдерживаемая любовь хлынула целым потоком в мое сердце.

Теперь я его уже не боялся.

– Ты отпустишь меня теперь на гору? – спросил я, вспомнив вдруг приглашение Тыбурция.

– Д-да... Ступай, ступай, мальчик, попросайся, – ласково проговорил он все еще с тем же оттенком недоумения в голосе. – Да, впрочем, постой... пожалуйста, мальчик, погоди немного.

Он ушел в свою спальню и, через минуту выйдя оттуда, сунул мне в руку несколько бумажек.

– Передай это... Тыбурцию... Скажи, что я покорнейше прошу его – понимаешь?... покорнейше прошу – взять эти деньги... от тебя... Ты понял?... Да еще скажи, – добавил отец, как будто колеблясь, – скажи, что если он знает одного тут... Федоровича, то пусть скажет, что этому Федоровичу лучше уйти из

нашего города... Теперь ступай, мальчик, ступай скорее...

Я догнал Тыбурция уже на горе и, запыхавшись, нескладно исполнил поручение отца.

– Покорнейше просит... отец... – И я стал совать ему в руку данные отцом деньги.

Я не глядел ему в лицо. Деньги он взял и мрачно выслушал дальнейшее поручение относительно Федоровича.

В подземелье, в темном углу, на лавочке лежала Маруся. Слово «смерть» не имеет еще полного значения для детского слуха, и горькие слезы только теперь, при виде этого безжизненного тела, сдавили мне горло. Моя маленькая приятельница лежала серьезная и грустная, с печально вытянутым личиком. Закрытые глаза слегка ввалились и еще резче отделились синевой. Ротик немного раскрылся, с выражением детской печали. Маруся как будто отвечала этою гримаской на наши слезы.

«Профессор» стоял у изголовья и безучастно качал головой. Кто-то стучал в углу топором, готовя гробик из старых досок, сорванных с крыши часовни. Марусю убирали осен-

ними цветами. Валек спал в углу, вздрагивая сквозь сон всем телом, и по временам нервно всхлипывал.

Заключение

Вскоре после описанных событий члены «дурного общества» рассеялись в разные стороны.

Тыбурций и Валек совершенно неожиданно исчезли, и никто не мог сказать, куда они направились теперь, как никто не знал, откуда они пришли в наш город.

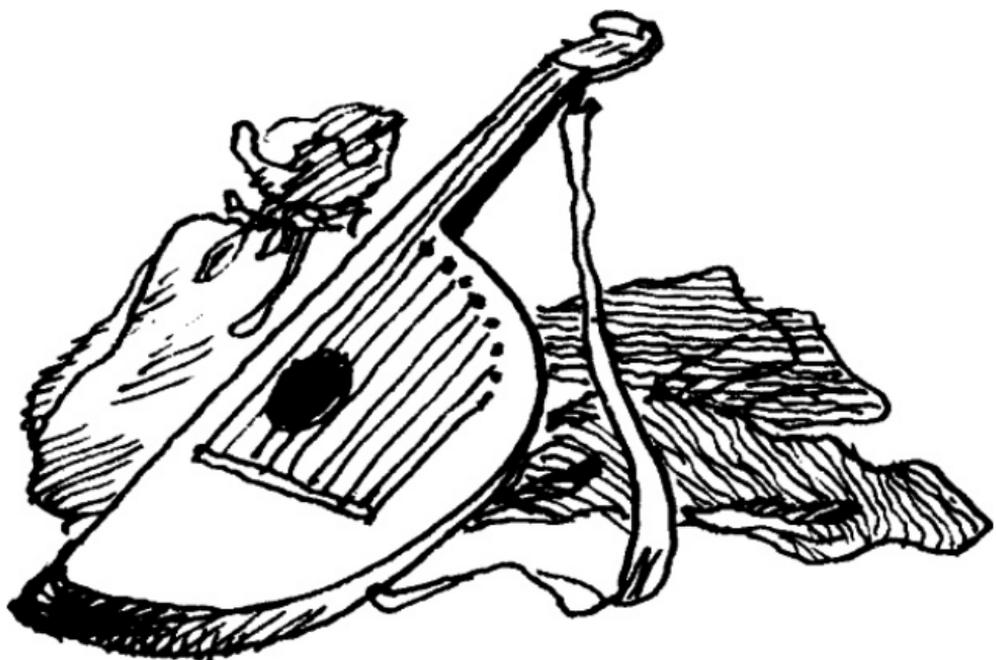
Старая часовня сильно пострадала от времени. Сначала у нее провалилась крыша, продавив потолок подземелья. Потом вокруг часовни стали образовываться обвалы, и она стала еще мрачнее; еще громче завывают в ней филины, а огни на могилах темными осенними ночами вспыхивают синим злоеющим светом.

Только одна могила, огороженная частоколом, каждую весну зеленела свежим дерном, пестрела цветами. Мы с Соней, а иногда даже с отцом посещали эту могилу; мы любили сидеть на ней в тени смутно лепечущей березы, в виду тихо сверкавшего в тумане города. Тут

мы с сестрой вместе читали, думали, делились своими первыми молодыми мыслями, первыми планами крылатой и честной юности.

Когда же пришло время и нам оставить тихий родной город, здесь же, в последний день, мы оба, полные жизни и надежды, произносили над маленькою могилой свои обеты.

Слепой музыкант Этюд



От автора
К шестому изданию[25].

Чувствую, что пересмотр и дополнения в повести, выдержавшей уже несколько изданий, являются неожиданными и требуют некоторого объяснения. Основной психологический мотив этюда составляет инстинктивное, органическое влечение к свету. Отсюда



душевный кризис моего героя и его разрешение. И в устных, и в печатных критических замечаниях мне приходилось встречать возражение, по-видимому, очень основательное: по мнению возражающих, этот мотив отсутствует у слепорожденных, которые никогда не видели света и потому не должны чувствовать лишения в том, чего совсем не знают. Это соображение мне не кажется правильным: мы никогда не летали, как птицы, однако все знают, как долго ощущение полета сопровождает детские и юношеские сны. Должен, однако, признаться, что этот мотив вошел в мою работу, как априорный[26], подсказанный лишь воображением. Только уже несколько лет спустя после того, как мой этюд стал выходить в отдельных изданиях, счастливый случай доставил мне во время одной из моих экскурсий возможность прямого наблюдения. Фигуры двух звонарей (слепой и слепорожденный), которые читатель найдет в гл. VI, разница их настроений, сцена с детьми, слова Егора о снах – все это я занес в свою записную книжку прямо с натуры, на вышке колокольни Саровского монастыря

Тамбовской епархии, где оба слепые звонаря, быть может, и теперь еще водят посетителей на колокольню. С тех пор этот эпизод, – по моему мнению, решающий в указанном вопросе, – лежал на моей совести при каждом новом издании моего этюда, и только трудность браться снова за старую тему мешала мне ввести его раньше. Теперь он составил самую существенную часть добавлений, вошедших в это издание. Остальное явилось попутно, так как, – раз тронув прежнюю тему, – я уже не мог ограничиться механической вставкой, и работа воображения, попавшего в прежнюю колею, естественно отразилась и на прилегающих частях повести.

25 февраля 1898 г.

Глава первая

I

Ребенок родился в богатой семье Юго-западного края, в глухую полночь. Молодая мать лежала в глубоком забытии, но когда в комнате раздался первый крик новорожденного, тихий и жалобный, она заметалась с закрытыми глазами в своей постели. Ее губы шептали что-то, и на бледном лице с мягки-

ми, почти детскими еще чертами появилась гримаса нетерпеливого страдания, как у балованного ребенка, испытывающего непривычное горе.

Бабка наклонилась ухом к ее что-то тихо шептавшим губам.

– Отчего... отчего это он? – спрашивала больная едва слышно.

Бабка не поняла вопроса. Ребенок опять закричал. По лицу больной пробежало отражение острого страдания, и из закрытых глаз скользнула крупная слеза.

– Отчего, отчего? – по-прежнему тихо шептали ее губы.

На этот раз бабка поняла вопрос и спокойно ответила:

– Вы спрашиваете, отчего ребенок плачет? Это всегда так бывает, успокойтесь.

Но мать не могла успокоиться. Она вздрагивала каждый раз при новом крике ребенка и все повторяла с гневным нетерпением:

– Отчего... так... так ужасно?

Бабка не слыхала в крике ребенка ничего особенного и, видя, что мать говорит точно в смутном забытьи и, вероятно, просто бредит,

оставила ее и занялась ребенком.

Юная мать смолкла, и только по временам какое-то тяжелое страдание, которое не могло прорваться наружу движением или словами, выдавливалось из ее глаз крупные слезы. Они просачивались сквозь густые ресницы и тихо катились по бледным, как мрамор, щекам.

Быть может, сердце матери почуяло, что вместе с новорожденным ребенком явилось на свет темное, неисходное горе, которое нависло над колыбелью, чтобы сопровождать новую жизнь до самой могилы.

Может быть, впрочем, что это был и действительный бред. Как бы то ни было, ребенок родился слепым.

II

Сначала никто этого не заметил. Мальчик глядел тем тусклым и неопределенным взглядом, каким глядят до известного возраста все новорожденные дети. Дни уходили за днями, жизнь нового человека считалась уже неделями. Его глаза прояснились, с них сошла мутная поволока, зрачок определился. Но дитя не поворачивало головы за светлым лучом, проникавшим в комнату вместе с веселым

щепетаньем птиц и с шелестом зеленых буков, которые покачивались у самых окон в густом деревенском саду. Мать, успевшая оправиться, первая с беспокойством заметила странное выражение детского лица, остававшегося неподвижным и как-то не по-детски серьезным.

Молодая женщина смотрела на людей, как испуганная горлица, и спрашивала:

– Скажите же мне, отчего он такой?

– Какой? – равнодушно переспрашивали посторонние. – Он ничем не отличается от других детей такого возраста.

– Посмотрите, как странно ищет он что-то руками...

– Дитя не может еще координировать движений рук с зрительными впечатлениями, – ответил доктор.

– Отчего же он смотрит все в одном направлении?... Он... он слеп? – вырвалась вдруг из груди матери страшная догадка, и никто не мог ее успокоить.

Доктор взял ребенка на руки, быстро повернул к свету и заглянул в глаза. Он слегка смутился и, сказав несколько незначащих

фраз, уехал, обещая вернуться дня через два.

Мать плакала и билась, как подстреленная птица, прижимая ребенка к своей груди, между тем как глаза мальчика глядели все тем же неподвижным и суровым взглядом.

Доктор действительно вернулся дня через два, захватив с собой офтальмоскоп[27]. Он зажег свечку, приближал и удалял ее от детского глаза, заглядывал в него и, наконец, сказал с смущенным видом:

– К сожалению, сударыня, вы не ошиблись... Мальчик действительно слеп, и притом безнадежно...

Мать выслушала это известие с спокойной грустью.

– Я знала давно, – сказала она тихо.

III

Семейство, в котором родился слепой мальчик, было немногочисленно. Кроме названных уже лиц, оно состояло еще из отца и «дяди Максима», как звали его все без исключения домочадцы и даже посторонние. Отец был похож на тысячу других деревенских помещиков Юго-западного края: он был добродушен, даже, пожалуй, добр, хорошо смотрел

за рабочими и очень любил строить и пере-
страивать мельницы. Это занятие поглощало
почти все его время, и потому голос его разда-
вался в доме только в известные, определен-
ные часы дня, совпадавшие с обедом, завтра-
ком и другими событиями в том же роде. В
этих случаях он всегда произносил неизмен-
ную фразу: «Здорова ли ты, моя голубка?» –
после чего усаживался за стол и уже почти
ничего не говорил, разве изредка сообщал
что-либо о дубовых валах и шестернях. По-
нятно, что его мирное и незатейливое суще-
ствование мало отражалось на душевном
складе его сына. Зато дядя Максим был со-
всем в другом роде. Лет за десять до описы-
ваемых событий дядя Максим был известен за
самого опасного забияку не только в окрест-
ностях его имения, но даже в Киеве «на Кон-
трактах»[28]. Все удивлялись, как это в таком
почтенном во всех отношениях семействе, ка-
ково было семейство пани Попельской, урож-
денной Яценко, мог выдаться такой ужасный
братец. Никто не знал, как следует с ним дер-
жаться и чем ему угодить. На любезности па-
нов он отвечал дерзостями, а мужикам спус-

кал своеволие и грубости, на которые самый смиренный из «шляхтичей» непременно бы отвечал оплеухами. Наконец, к великой радости всех благомыслящих людей, дядя Максим за что-то сильно осердился на австрийцев и уехал в Италию: там он примкнул к такому же забияке и еретику Гарибальди[29], который, как с ужасом передавали пань помещицики, побратался с чертом и в грош не ставит самого папу. Конечно, таким образом Максим навеки погубил свою беспокойную схизматическую[30] душу, зато «Контракты» проходили с меньшими скандалами, и многие благородные мамы перестали беспокоиться за участь своих сыновей.

Должно быть, австрийцы тоже крепко осердились на дядю Максима. По временам в *Курьерке*, истари любимой газете панов помещиков, упоминалось в реляциях[31] его имя в числе отчаянных гарибальдийских сподвижников, пока однажды из того же *Курьерка* пань не узнали, что Максим упал вместе с лошадью на поле сражения. Разъяренные австрийцы, давно уже, очевидно, точившие зубы на заядлого волынца (которым, чуть ли не

одним, по мнению его соотечественников, держался еще Гарибальди), изрубили его, как капусту.

– Плохо кончил Максим, – сказали себе паны и приписали это специальному заступничеству св. Петра за своего наместника. Максима считали умершим.

Оказалось, однако, что австрийские сабли не сумели выгнать из Максима его упрямую душу и она осталась, хотя и в сильно попорченном теле. Гарибальдийские забияки вынесли своего достойного товарища из свалки, отдали его куда-то в госпиталь, и вот, через несколько лет, Максим неожиданно явился в дом своей сестры, где и остался.

Теперь ему было уже не до дуэлей. Правую ногу ему совсем отрезали, и потому он ходил на костыле, а левая рука была повреждена и годилась только на то, чтобы кое-как опираться на палку. Да и вообще он стал серьезнее, угомонился, и только по временам его острый язык действовал так же метко, как некогда сабля. Он перестал ездить на «Контракты», редко являлся в общество и большую часть времени проводил в своей библиоте-

теке за чтением каких-то книг, о которых никто ничего не знал, за исключением предположения, что книги совершенно безбожны. Он также писал что-то, но так как его работы никогда не являлись в *Курьерке*, то никто не придавал им серьезного значения.

В то время, когда в деревенском домике появилось и стало расти новое существо, в коротко остриженных волосах дяди Максима уже пробивалась серебристая проседь. Плечи от постоянного упора костылей поднялись, туловище приняло квадратную форму. Странная наружность, угрюмо сдвинутые брови, стук костылей и клубы табачного дыма, которыми он постоянно окружал себя, не выпуская изо рта трубки, – все это пугало посторонних, и только близкие к инвалиду люди знали, что в изрубленном теле бьется горячее и доброе сердце, а в большой квадратной голове, покрытой щетиной густых волос, работает неутомная мысль.

Но даже и близкие люди не знали, над каким вопросом работала эта мысль в то время. Они видели только, что дядя Максим, окруженный синим дымом, просиживает по вре-

менам целые часы неподвижно, с отуманенным взглядом и угрюмо сдвинутыми густыми бровями. Между тем изувеченный боец думал о том, что жизнь – борьба и что в ней нет места для инвалидов. Ему приходило в голову, что он навсегда выбыл уже из рядов и теперь напрасно загружает собою фурштат[32]; ему казалось, что он рыцарь, выбитый из седла жизнью и поверженный в прах. Не малодушно ли извиваться в пыли, подобно раздавленному червяку; не малодушно ли хвататься за стремя победителя, вымаливая у него жалкие остатки собственного существования?

Пока дядя Максим с холодным мужеством обсуждал эту жгучую мысль, соображая и сопоставляя доводы *за* и *против*, перед его глазами стало мелькать новое существо, которому судьба судила явиться на свет уже инвалидом. Сначала он не обращал внимания на слепого ребенка, но потом странное сходство судьбы мальчика с его собственной заинтересовало дядю Максима.

– Гм... да, – задумчиво сказал он однажды, искоса поглядывая на мальчишку, – этот малый тоже инвалид. Если сложить нас обоих

вместе, пожалуй, вышел бы один лядащий человечешко.

С тех пор его взгляд стал останавливаться на ребенке все чаще и чаще.

IV

Ребенок родился слепым. Кто виноват в его несчастья? Никто! Тут не только не было и тени чьей-либо «злой воли», но даже самая причина несчастья скрыта где-то в глубине таинственных и сложных процессов жизни. А между тем при всяком взгляде на слепого мальчика сердце матери сжималось от острой боли. Конечно, она страдала в этом случае, как мать, отражением сыновнего недуга и мрачным предчувствием тяжелого будущего, которое ожидало ее ребенка; но, кроме этих чувств, в глубине сердца молодой женщины щемило также сознание, что *причина* несчастья лежала в виде грозной *возможности* в тех, кто дал ему жизнь... Этого было достаточно, чтобы маленькое существо с прекрасными, но незрячими глазами стало центром семьи, бессознательным деспотом, с малейшей прихотью которого сообразовалось все в доме.

Неизвестно, что вышло бы со временем из мальчика, предрасположенного к беспредметной озлобленности своим несчастьем и в котором все окружающее стремилось развить эгоизм, если бы странная судьба и австрийские сабли не заставили дядю Максима поселиться в деревне, в семье сестры.

Присутствие в доме слепого мальчика постепенно и нечувствительно дало деятельной мысли изувеченного бойца другое направление. Он все так же просиживал целые часы, дымя трубкой, но в глазах, вместо глубокой и тупой боли, виднелось теперь вдумчивое выражение заинтересованного наблюдателя. И чем более присматривался дядя Максим, тем чаще хмурились его густые брови, и он все усиленнее пыхтел своею трубкой. Наконец однажды он решился на вмешательство.

– Этот малый, – сказал он, пуская кольцо за кольцом, – будет еще гораздо несчастнее меня. Лучше бы ему не родиться.

Молодая женщина низко опустила голову, и слеза упала на ее работу.

– Жестоко напоминать мне об этом, Макс, – сказала она тихо, – напоминать без цели...

– Я говорю только правду, – ответил Максим. – У меня нет ноги и руки, но есть глаза. У малого нет глаз, со временем не будет ни рук, ни ног, ни воли...

– Отчего же?

– Пойми меня, Анна, – сказал Максим мягче. – Я не стал бы напрасно говорить тебе жестокие вещи. У мальчика тонкая нервная организация. У него пока есть все шансы развить остальные свои способности до такой степени, чтобы хотя отчасти вознаградить его слепоту. Но для этого нужно упражнение, а упражнение вызывается только необходимостью. Глупая заботливость, устраняющая от него необходимость усилий, убивает в нем все шансы на более полную жизнь.

Мать была умна и потому сумела победить в себе непосредственное побуждение, заставлявшее ее кидаться сломя голову при каждом жалобном крике ребенка. Спустя несколько месяцев после этого разговора мальчик свободно и быстро ползал по комнатам, настораживая слух навстречу всякому звуку и, с какою-то необычною в других детях живостью, ощупывал всякий предмет, попадавший в ру-

Мать он скоро научился узнавать по походке, по шелесту платья, по каким-то еще, ему одному доступным, неуловимым для других признакам: сколько бы ни было в комнате людей, как бы они ни передвигались, он всегда направлялся безошибочно в ту сторону, где она сидела. Когда она неожиданно брала его на руки, он все же сразу узнавал, что сидит у матери. Когда же его брали другие, он быстро начинал ощупывать своими ручонками лицо взявшего его человека и тоже скоро узнавал няньку, дядю Максима, отца. Но если он попадал к человеку незнакомому, тогда движения маленьких рук становились медленнее: мальчик осторожно и внимательно проводил ими по незнакомому лицу, и его черты выражали напряженное внимание; он как будто «вглядывался» кончиками своих пальцев.

По натуре он был очень живым и подвижным ребенком, но месяцы шли за месяцами, и слепота все более налагала свой отпечаток на темперамент мальчика, начинавший

определяться. Живость движений понемногу терялась; он стал забиваться в укромные уголки и сидел там по целым часам смирно, с застывшими чертами лица, как будто к чему-то прислушиваясь. Когда в комнате бывало тихо и смена разнообразных звуков не отвлекала его внимания, ребенок, казалось, думал о чем-то с недоумелым и удивленным выражением на красивом и не по-детски серьезном лице.

Дядя Максим угадал: тонкая и богатая нервная организация мальчика брала свое и восприимчивостью к ощущениям осязания и слуха как бы стремилась восстановить до известной степени полноту своих восприятий. Всех удивляла поразительная тонкость его осязания. По временам казалось даже, что он не чужд ощущения цветов: когда ему в руки попадали ярко окрашенные лоскутья, он дольше останавливал на них свои тонкие пальцы, и по лицу его проходило выражение удивительного внимания. Однако со временем стало выясняться все более и более, что развитие восприимчивости идет главным образом в сторону слуха.

Вскоре он изучил в совершенстве комнаты по их звукам: различал походку домашних, скрип стула под инвалидом-дядей, сухое, размеренное шоркание нитки в руках матери, ровное тикание стенных часов. Иногда, ползая вдоль стены, он чутко прислушивался к легкому, неслышному для других шороху и, подняв руку, тянулся ею за бегавшею по обоям мухой. Когда испуганное насекомое снималось с места и улетало, на лице слепого являлось выражение болезненного недоумения. Он не мог отдать себе отчета в таинственном исчезновении мухи. Но впоследствии и в таких случаях лицо его сохраняло выражение осмысленного внимания; он поворачивал голову в ту сторону, куда улетала муха, — изощренный слух улавливал в воздухе тонкий звон ее крыльев.

Мир, сверкавший, двигавшийся и звучащий вокруг, в маленькую головку слепого проникал главным образом в форме звуков, и в эти формы отливались его представления. На лице застывало особенное внимание к звукам: нижняя челюсть слегка оттягивалась вперед на тонкой и удлинившейся шее. Брови

приобретали особенную подвижность, а красивые, но неподвижные глаза придавали лицу слепого какой-то суровый и вместе трогательный отпечаток.

VI

Третья зима его жизни приходила к концу. На дворе уже таял снег, звенели весенние потоки, и, вместе с тем, здоровье мальчика, который зимой все прихварывал и потому всю ее провел в комнатах, не выходя на воздух, стало поправляться.

Вынули вторые рамы, и весна ворвалась в комнату с удвоенной силой. В залитые светом окна глядело смеющееся весеннее солнце, качались голые еще ветки буков, вдали чернели нивы, по которым местами лежали белые пятна тающих снегов, местами же пробивалась чуть заметно зелень молодая трава. Всем дышалось вольнее и лучше, на всех весна отражалась приливом обновленной и бодрой жизненной силы.

Для слепого мальчика она врывалась в комнату только своим торопливым шумом. Он слышал, как бегут потоки весенней воды, точно вдогонку друг за другом, прыгая по

камням, прорезаясь в глубину размякшей земли; ветки буков шептались за окнами, сталкиваясь и звеня легкими ударами по стеклам. А торопливая весенняя капель от нависших на крыше сосуллек, прихваченных утренним морозом и теперь разогретых солнцем, стучала тысячью звонких ударов. Эти звуки падали в комнату, подобно ярким и звонким камешкам, быстро отбивавшим переливчатую дробь. По временам сквозь этот звон и шум окрики журавлей плавно пронеслись с далекой высоты и постепенно смолкали, точно тихо тая в воздухе.

На лице мальчика это оживление природы сказывалось болезненным недоумением. Он с усилием сдвигал свои брови, вытягивал шею, прислушивался и затем, как будто встревоженный непонятною суетой звуков, вдруг протягивал руки, разыскивая мать, и кидался к ней, крепко прижимаясь к ее груди.

– Что это с ним? – спрашивала мать себя и других.

Дядя Максим внимательно вглядывался в лицо мальчика и не мог объяснить его непонятной тревоги.

– Он... не может понять, – догадывалась мать, улавливая на лице сына выражение болезненного недоумения и вопроса.

Действительно, ребенок был встревожен и беспокоен: он то улавливал новые звуки, то удивлялся тому, что прежние, к которым он уже начал привыкать, вдруг смолкали и куда-то терялись.

VII

Хаос весенней неурядицы смолк. Под жаркими лучами солнца работа природы входила все больше и больше в свою колею, жизнь как будто напрягалась, ее поступательный ход становился стремительнее, точно бег разошедшегося поезда. В лугах зазеленела молодая травка, в воздухе носился запах березовых почек.

Мальчика решили вывести в поле, на берег ближней реки.

Мать вела его за руку. Рядом на своих костылях шел дядя Максим, и все они направлялись к береговому холмику, который достаточно уже высушили солнце и ветер. Он зазеленел густой муравой, и с него открывался вид на далекое пространство.

Яркий день ударил по глазам матери и Максима. Солнечные лучи согревали их лица, весенний ветер, как будто взмахивая невидимыми крыльями, сгонял эту теплоту, заменяя ее свежую прохладой. В воздухе носилось что-то опьяняющее до неги, до истомы.

Мать почувствовала, что в ее руке крепко сжалась маленькая ручка ребенка, но опьяняющее веяние весны сделало ее менее чувствительной к этому проявлению детской тревоги. Она вздыхала полною грудью и шла вперед, не оборачиваясь; если бы она сделала это, то увидела бы странное выражение на лице мальчика. Он поворачивал открытые глаза к солнцу с немым удивлением. Губы его раскрылись; он вдыхал в себя воздух быстрыми глотками, точно рыба, которую вынули из воды; выражение болезненного восторга пробивалось по временам на беспомощно-растерянном личике, пробегало по нем какими-то нервными ударами, освещая его на мгновение, и тотчас же сменялось опять выражением удивления, доходящего до испуга и недомелого вопроса. Только одни глаза глядели на все тем же ровным и неподвижным, незря-

ЧИМ ВЗГЛЯДОМ.



Дойдя до холмика, они уселись на нем все трое. Когда мать приподняла мальчика с земли, чтобы посадить его поудобнее, он опять судорожно схватился за ее платье; казалось, он боялся, что упадет куда-то, как будто не чувствуя под собой земли. Но мать и на этот раз не заметила тревожного движения, потому что ее глаза и внимание были прикованы к чудной весенней картине.

Был полдень. Солнце тихо катилось по синему небу. С холма, на котором они сидели, виднелась широко разлившаяся река. Она пронесла уже свои льдины, и только по временам на ее поверхности плыли и таяли кое-где последние из них, выделяясь белыми пятнышками. На поемных лугах стояла вода широкими лиманами; белые облачка, отражаясь в них вместе с опрокинутым лазурным сводом, тихо плыли в глубине и исчезали, как будто и они таяли, подобно льдинам. Временами пробегала от ветра легкая рябь, сверкая на солнце. Дальше за рекой чернели разорванные нивы и парили, застилая реющую, колеблющуюся дымкой и дальние лачуги, покрытые соломой, и смутно зарисовывающуюся

синюю полосу леса. Земля как будто вздымалась, и что-то подымалось от нее к небу, как клубы жертвенного фимиама[33].

Природа раскинулась кругом, точно великий храм, приготовленный к празднику. Но для слепого это была только необъятная тьма, которая необычно волновалась вокруг, шевелилась, рокотала и звенела, протягиваясь к нему, прикасаясь к его душе со всех сторон неизведанными еще, необычными впечатлениями, от наплыва которых болезненно билось детское сердце.

С первых же шагов, когда лучи теплого дня ударили ему в лицо, согрели нежную кожу, он инстинктивно поворачивал к солнцу свои незрячие глаза, как будто чувствуя, к какому центру тяготеет все окружающее. Для него не было ни этой прозрачной дали, ни лазурного свода, ни широко раздвинутого горизонта. Он чувствовал только, как что-то материальное, ласкающее и теплое касается его лица нежным, согревающим прикосновением. Потом кто-то прохладный и легкий, хотя и менее легкий, чем тепло солнечных лучей, снимает с его лица эту негу и пробегает по нем ощущение

нием свежей прохлады. В комнатах мальчик привык двигаться свободно, чувствуя вокруг себя пустоту. Здесь же его охватили какие-то странно сменявшиеся волны, то нежно ласкающие, то щекочущие и опьяняющие. Теплые прикосновения солнца быстро обмахивались кем-то, и струя ветра, звеня в уши, охватывая лицо, виски, голову до самого затылка, тянулась вокруг, как будто стараясь подхватить мальчика, увлечь его куда-то в пространство, которого он не мог видеть, унося сознание, навевая забывчивую истому. Тогда-то рука мальчика крепче сжимала руку матери, а его сердце замирало и, казалось, вот-вот совсем перестанет биться.

Когда его усадили, он как будто несколько успокоился. Теперь, несмотря на странное ощущение, переполнившее все его существо, он все же стал было различать отдельные звуки. Темные ласковые волны неслись по-прежнему неудержимо, и ему казалось, что они проникают внутрь его тела, так как удары его всколыхавшейся крови подымались и опускались вместе с ударами этих волн. Но теперь они приносили с собой то яркую трель

жаворонка, то тихий шелест распутившейся березки, то чуть слышные всплески реки. Ласточка свистела легким крылом, описывая невдалеке причудливые круги, звенели мошки, и над всем этим проносился порой протяжный и печальный окрик пахаря на равнине, понукавшего волов над распахиваемой полоской.

Но мальчик не мог схватить этих звуков в их целом, не мог соединить их, расположить в перспективу. Они как будто падали, проникая в темную головку, один за другим, то тихие, неясные, то громкие, яркие, оглушающие. По временам они толпились одновременно, неприятно смешиваясь в непонятную дисгармонию. А ветер с поля все свистел в уши, и мальчику казалось, что волны бегут быстрее и их рокот застигает все остальные звуки, которые несутся теперь откуда-то с другого мира, точно воспоминание о вчерашнем дне. И по мере того как звуки тускнели, в грудь мальчика вливалось ощущение какой-то щекочущей истомы. Лицо подергивалось ритмически пробегавшими по нем переживаниями; глаза то закрывались, то открыва-

лись опять, брови тревожно двигались, и во всех чертах пробивался вопрос, тяжелое усилие мысли и воображения. Не окрепшее еще и переполненное новыми ощущениями сознание начинало изнемогать: оно еще боролось с нахлынувшими со всех сторон впечатлениями, стремясь устоять среди них, слить их в одно целое и таким образом овладеть ими, победить их. Но задача была не по силам темному мозгу ребенка, которому недоставало для этой работы зрительных представлений.

И звуки летели и падали один за другим, все еще слишком пестрые, слишком звонкие... Охватившие мальчика волны вздымались все напряженнее, налетая из окружающего звеневшего и рокотавшего мрака и уходя в тот же мрак, сменяясь новыми волнами, новыми звуками... быстрее, выше, мучительнее подымали они его, укачивали, баюкали... Еще раз пролетела над этим тускнеющим хаосом длинная и печальная нота человеческого окрика, и затем все сразу смолкло.

Мальчик тихо застонал и откинулся назад на траву. Мать быстро повернулась к нему и

тоже вскрикнула: он лежал на траве, бледный, в глубоком обмороке.

VIII

Дядя Максим был очень встревожен этим случаем. С некоторых пор он стал выписывать книги по физиологии, психологии и педагогике и с обычною своею энергией занялся изучением всего, что дает наука по отношению к таинственному росту и развитию детской души.

Эта работа завлекала его все больше и больше, и поэтому мрачные мысли о непригодности к житейской борьбе, о «червяке, пресмыкающемся в пыли», и о «фурштате» давно уже незаметно улетучились из квадратной головы ветерана. На их месте воцарилось в этой голове вдумчивое внимание, по временам даже розовые мечты согревали стареющее сердце. Дядя Максим убеждался все более и более, что природа, отказавшая мальчику в зрении, не обидела его в других отношениях; это было существо, которое отзывалось на доступные ему внешние впечатления с замечательною полнотою и силой. И дяде Максиму казалось, что он призван к тому,

чтобы развить присущие мальчику задатки, чтоб усилием своей мысли и своего влияния уравновесить несправедливость слепой судьбы, чтобы вместо себя поставить в ряды бойцов за дело жизни нового рекрута, на которого без его влияния никто не мог бы рассчитывать.

«Кто знает, – думал старый гарибальдиец, – ведь бороться можно не только копьем и саблей. Быть может, несправедливо обиженный судьбою подымет со временем доступное ему оружие в защиту других, обездоленных жизнью, и тогда я недаром проживу на свете, изувеченный старый солдат...»

Даже свободным мыслителям сороковых и пятидесятих годов не было чуждо суеверное представление о «таинственных предначертаниях» природы. Немудрено поэтому, что, по мере развития ребенка, выказывавшего недюжинные способности, дядя Максим утвердился окончательно в убеждении, что самая слепота есть лишь одно из проявлений этих «таинственных предначертаний». «Обездоленный за обиженных» – вот девиз, который он выставил заранее на боевом знамени

своего питомца.

IX

После первой весенней прогулки мальчик пролежал несколько дней в бреду. Он то лежал неподвижно и безмолвно в своей постели, то бормотал что-то и к чему-то прислушивался. И во все это время с его лица не сходило характерное выражение недоумения.

– Право, он глядит так, как будто старается понять что-то и не может, – говорила молодая мать.

Максим задумывался и кивал головой. Он понял, что странная тревога мальчика и внезапный обморок объяснялись обилием впечатлений, с которыми не могло справиться сознание, и решил допускать к выздоравливавшему мальчику эти впечатления постепенно, так сказать, расчлененными на составные части. В комнате, где лежал больной, окна были плотно закрыты. Потом, по мере выздоровления, их открывали на время, затем его водили по комнатам, выводили на крыльцо, на двор, в сад. И каждый раз, как на лице слепого являлось тревожное выражение, мать объясняла ему поражавшие его звуки.

– Рожок пастуха слышен за лесом, – говорила она. – А это из-за щебетания воробьиной стаи слышен голос малиновки. Аист клекочет на своем колесе[34]. Он прилетел на днях из далеких краев и строит гнездо на старом месте.

И мальчик поворачивал к ней свое лицо, светившееся благодарностью, брал ее руку и кивал головой, продолжая прислушиваться с вдумчивым и осмысленным вниманием.

Х

Он начинал расспрашивать обо всем, что привлекало его внимание, и мать или, еще чаще, дядя Максим рассказывали ему о разных предметах и существах, издававших те или другие звуки. Рассказы матери, более живые и яркие, производили на мальчика большее впечатление, но по временам впечатление это бывало слишком болезненно. Молодая женщина, страдая сама, с растроганным лицом, с глазами, глядевшими с беспомощною жалобой и болью, старалась дать своему ребенку понятие о формах и цветах. Мальчик напрягал внимание, сдвигал брови, на лбу его являлись даже легкие морщинки. Видимо,

детская головка работала над непосильною задачей, темное воображение билось, стремясь создать из косвенных данных новое представление, но из этого ничего не выходило. Дядя Максим всегда недовольно хмурился в таких случаях, и, когда на глазах матери являлись слезы, а лицо ребенка бледнело от сосредоточенных усилий, тогда Максим вмешивался в разговор, отстранял сестру и начинал свои рассказы, в которых, по возможности, прибегал только к пространственным и звуковым представлениям. Лицо слепого становилось спокойнее.

– Ну, а какой он? большой? – спрашивал он про аиста, отбивавшего на своем столбе ленивую барабанную дробь.

И при этом мальчик раздвигал руки. Он делал это обыкновенно при подобных вопросах, а дядя Максим указывал ему, когда следовало остановиться. Теперь он совсем раздвинул свои маленькие ручонки, но дядя Максим сказал:

– Нет, он еще гораздо больше. Если бы привести его в комнату и поставить на полу, то голова его была бы выше спинки стула.

– Большой... – задумчиво произнес мальчик. – А малиновка – вот! – и он чуть-чуть развел сложенные вместе ладони.

– Да, малиновка такая... Зато большие птицы никогда не поют так хорошо, как маленькие. Малиновка старается, чтобы всем было приятно ее слушать. А аист – серьезная птица, стоит себе на одной ноге в гнезде, озирается кругом, точно сердитый хозяин на работников, и громко ворчит, не заботясь о том, что голос у него хриплый и его могут слышать посторонние.

Мальчик смеялся, слушая эти описания, и забывал на время о своих тяжелых попытках понять рассказы матери. Но все же эти рассказы привлекали его сильнее, и он предпочитал обращаться с расспросами к ней, а не к дяде Максиму.

Глава вторая

I

Темная голова ребенка обогащалась новыми представлениями; посредством сильно изоциренного слуха он проникал все дальше в окружающую его природу. Над ним и вокруг него по-прежнему стоял глубокий, непрони-

цаемый мрак; мрак этот навис над его мозгом тяжелою тучей, и, хотя он залег над ним со дня рождения, хотя, по-видимому, мальчик должен был свыкнуться с своим несчастьем, однако детская природа по какому-то инстинкту беспрестанно силилась освободиться от темной завесы. Эти, не оставлявшие ребенка ни на минуту, бессознательные порывы к незнакомому ему свету отпечатлевались на его лице все глубже и глубже выражением смутного страдающего усилия.

Тем не менее бывали и для него минуты ясного довольства, ярких детских восторгов, и это случалось тогда, когда доступные для него внешние впечатления доставляли ему новое сильное ощущение, знакомили с новыми явлениями невидимого мира. Великая могучая природа не оставалась для слепого совершенно закрытою. Так, однажды, когда его свели на высокий утес над рекой, он с особенным выражением прислушивался к тихим всплескам реки далеко под ногами и с замиранием сердца хватался за платье матери, слушая, как катились вниз обрывавшиеся из-под ноги его камни. С тех пор он представлял себе глу-

бину в виде тихого ропота воды у подножья утеса или в виде испуганного шороха падавших вниз камешков.

Даль звучала в его ушах смутно замиравшею песней; когда же по небу гулко перекапывался весенний гром, заполняя собою пространство и с сердитым рокотом теряясь за тучами, слепой мальчик прислушивался к этому рокоту с благоговейным испугом, и сердце его расширялось, а в голове возникало величавое представление о просторе поднебесных высот.

Таким образом, звуки были для него главным непосредственным выражением внешнего мира; остальные впечатления служили только дополнением к впечатлениям слуха, в которые отливались его представления, как в формы.

По временам, в жаркий полдень, когда вокруг все смолкало, когда затихало людское движение и в природе устанавливалась та особенная тишина, под которой чувствуется только непрерывный, бесшумный бег жизненной силы, на лице слепого мальчика являлось характерное выражение. Казалось, под влияни-

ем внешней тишины из глубины его души подымались какие-то ему одному доступные звуки, к которым он будто прислушивался с напряженным вниманием. Можно было подумать, глядя на него в такие минуты, что зарождающаяся неясная мысль начинает звучать в его сердце, как смутная мелодия песни.

II

Ему шел уже пятый год. Он был тонок и слаб, но ходил и даже бегал свободно по всему дому. Кто смотрел на него, как он уверенно выступал в комнатах, поворачивая именно там, где надо, и свободно разыскивая нужные ему предметы, тот мог бы подумать, если это был незнакомый человек, что перед ним не слепой, а только странно сосредоточенный ребенок с задумчивыми и глядевшими в неопределенную даль глазами. Но уже по двору он ходил с большим трудом, постукивая перед собой палкой. Если же в руках у него не было палки, то он предпочитал ползать по земле, быстро исследуя руками попадавшиеся на пути предметы.

III

Был тихий летний вечер. Дядя Максим си-

дел в саду. Отец, по обыкновению, захлопотался где-то в дальнем поле. На дворе и кругом было тихо; селение засыпало, в людской тоже смолк говор работников и прислуги. Мальчика уже с полчаса уложили в постель.

Он лежал в полудремоте. С некоторых пор у него с этим тихим часом стало связываться странное воспоминание. Он, конечно, не видел, как темнело синее небо, как черные верхушки деревьев качались, рисуясь на звездной лазури, как хмурились лохматые «стрехи»[35] стоявших кругом двора строений, как синяя мгла разливалась по земле вместе с тонким золотом лунного и звездного света. Но вот уже несколько дней он засыпал под каким-то особенным, чарующим впечатлением, в котором на другой день не мог дать себе отчета.

Когда дремота все гуще застилала его сознание, когда смутный шелест буков совсем стихал и он переставал уже различать и дальний лай деревенских собак, и щелканье солоvia за рекой, и меланхолическое позвякивание бубенчиков, подвязанных к пасшемуся на лугу жеребенку, – когда все отдельные зву-

ки ступшевывались и терялись, ему начинало казаться, что все они, слившись в одну стройную гармонию, тихо влетают в окно и долго кружатся над его постелью, навевая неопределенные, но удивительно приятные грезы. Наутро он просыпался разнеженный и обращался к матери с живым вопросом:

– Что это было... вчера? Что это такое?...

Мать не знала, в чем дело, и думала, что ребенка волнуют сны. Она сама укладывала его в постель, заботливо крестила и уходила, когда он начинал дремать, не замечая при этом ничего особенного. Но на другой день мальчик опять говорил ей о чем-то, приятно тревожившем его с вечера.

– Так хорошо, мама, так хорошо! Что же это такое?

В этот вечер она решила остаться у постели ребенка подольше, чтобы разъяснить себе странную загадку. Она сидела на стуле, рядом с его кроватью, машинально перебирая петли вязанья и прислушиваясь к ровному дыханию своего Петруся. Казалось, он совсем уже заснул, как вдруг в темноте послышался его тихий голос:

– Мама, ты здесь?

– Да, да, мой мальчик...

– Уйди, пожалуйста, оно боится тебя и до сих пор его нет. Я уже совсем было заснул, а этого все нет...

Удивленная мать с каким-то странным чувством слушала этот полусонный, жалобный шепот... Ребенок говорил о своих сонных грезах с такою уверенностью, как будто это что-то реальное. Тем не менее мать встала, наклонилась к мальчику, чтобы поцеловать его, и тихо вышла, решившись незаметно подойти к открытому окну со стороны сада.

Не успела она сделать своего обхода, как загадка разъяснилась. Она услышала вдруг тихие, переливчатые тоны свирели, которые неслись из конюшни, смешиваясь с шорохом южного ветра. Она сразу поняла, что именно эти нехитрые переливы простой мелодии, совпадавшие с фантастическим часом дремоты, так приятно настраивали воспоминания мальчика.

Она сама остановилась, постояла с минуту, прислушиваясь к задушевым напевам мало-русской песни, и, совершенно успокоенная,

ушла в темную аллею сада к дяде Максиму.

«Хорошо играет Иохим, – подумала она. – Странно, сколько тонкого чувства в этом грубоватом на вид „хлопе“».

IV

А Иохим действительно играл хорошо. Ему ни о чем была даже и хитрая скрипка, и было время, когда в корчме, по воскресеньям, никто лучше не мог сыграть „казака“ или веселого польского „краковяка“. Когда, бывало, он, усевшись на лавке в углу, крепко притиснув скрипку бритым подбородком и ухарски заломив высокую смушковую [36] шапку на затылок, ударял кривым смычком по упругим струнам, тогда редко кто в корчме мог усидеть на месте. Даже старый одноглазый еврей, аккомпанировавший Иохиму на контрабасе, одушевлялся до последней степени. Его неуклюжий „струмент“, казалось, надрывается от усилий, чтобы поспеть своими тяжелыми басовыми нотами за легкими, певучими и прыгающими тонами Иохимовой скрипки, а сам старый Янкель, высоко подергивая плечами, вертел лысой головой в ермолке и весь подпрыгивал в такт шаловливой и бойкой

мелодии. Что же говорить о крещеном народе, у которого ноги устроены исстари таким образом, что при первых звуках веселого плясового напева сами начинают подгибаться и притопывать.

Но с тех пор как Иохиму полюбилась Марья, дворовая девка соседнего пана, он что-то не залюбил веселую скрипку. Правда, что скрипка не помогла ему победить сердце вострой девки, и Марья предпочла безусую немецкую физиономию барского камердинера усатой „пыке“ [37] хохла-музыканта. С тех пор его скрипки не слышали более в корчме и на вечерницах. Он повесил ее на колышке в конюшне и не обращал внимания на то, что от сырости и его нерадения на любимом прежде инструменте то и дело одна за другой лопались струны. А они лопались с таким громким и жалобным предсмертным звоном, что даже лошади сочувственно ржали и удивленно поворачивали головы к ожесточившемуся хозяину.

На место скрипки Иохим купил у прохожего карпатского горца деревянную дудку. Он, по-видимому, находил, что ее тихие, задушев-

ные переливы больше соответствуют его горькой судьбе, лучше выразят печаль его отвергнутого сердца. Однако горская дудка обманула его ожидания. Он перебрал их до десятка, пробовал на все лады, обрезал, мочил в воде и сушил на солнце, подвешивал на тонкой бечевочке под крышей, чтобы ее обдувало ветром, но ничто не помогало: горская дудка не слушалась хохлацкого сердца. Она свистела там, где нужно было петь, взвизгивала тогда, когда он ждал от нее томного дрожания, и вообще никак не поддавалась его настроению. Наконец он осердился на всех бродячих горцев, убедившись окончательно, что ни один из них не в состоянии сделать хорошую дудку, а затем решился сделать ее своими руками. В течение нескольких дней он бродил с насупленными бровями по полям и болотам, подходил к каждому кусту ивы, перебирал ее ветки, срезал некоторые из них, но, по-видимому, все не находил того, что ему было нужно. Его брови были по-прежнему угрюмо сдвинуты, и он шел дальше, продолжая розыски. Наконец он попал на одно место, над лениво струившеюся речкой. Вода

чуть-чуть шевелила в этой заводи белые головки кувшинок, ветер не долетал сюда из-за густо разросшихся ив, которые тихо и задумчиво склонились к темной спокойной глубине. Иохим, раздвинув кусты, подошел к речке, постоял с минуту и как-то вдруг убедился, что именно здесь он найдет то, что ему нужно. Морщины на его лбу разгладились. Он вынул из-за голенища привязанный на ремешке складной ножик и, окинув внимательным взглядом задумчиво шептавшиеся кусты ивняка, решительно подошел к тонкому, прямому стволу, качавшемуся над размытою кручей. Он зачем-то щелкнул по нему пальцем, посмотрел с удовольствием, как он упруго закачался в воздухе, прислушался к шепоту его листьев и мотнул головой.

– Ото ж воно самесенькое, – пробормотал Иохим с удовольствием и выбросил в речку все срезанные ранее прутья.

Дудка вышла на славу. Высушив иву, он выжег ей сердце раскаленной проволокой, прожег шесть круглых отверстий, прорезал наискось седьмое и плотно заткнул один конец деревянной затычкой, оставив в ней ко-

ую узенькую щелку. Затем она целую неделю висела на бечевке, причем ее грело солнцем и обдавало звонким ветром. После этого он старательно выстругал ее ножом, почистил стеклом и крепко обтер куском грубого сукна. Верхушка у нее была круглая, от середины шли ровные, точно отполированные грани, по которым он выжег с помощью изогнутых кусочков железа разные хитрые узоры. Попробовав ее несколькими быстрыми переживаниями гаммы, он взволнованно мотнул головой, крякнул и торопливо спрятал в укромное местечко около своей постели. Он не хотел делать первого музыкального опыта среди дневной суеты. Зато в тот же вечер из конюшни полились нежные, задумчивые, переливчатые и дрожащие трели. Иохим был совершенно доволен своей дудкой. Казалось, она была частью его самого; звуки, которые она издавала, лились будто из собственной его согретой и разнеженной груди, и каждый изгиб его чувства, каждый оттенок его скорби тотчас же дрожал в чудесной дудке, тихо срывался с нее и звучно несся вслед за другими, среди чутко слушавшего вечера.

Теперь Иохим был влюблен в свою дудку и праздновал с ней свой медовый месяц. Днем он аккуратно справлял обязанности конюха, водил лошадей на водопой, запрягал их, выезжал с „паней“ или с Максимом. По временам, когда он заглядывал в сторону соседнего села, где жила жестокая Марья, тоска начинала сосать его сердце. Но с наступлением вечера он забывал обо всем мире, и даже образ чернобровой девушки застилался будто туманом. Этот образ терял свою жгучую определенность, рисовался перед ним в каком-то смутном фоне и лишь настолько, чтобы придавать задумчиво-грустный характер напевам чудесной дудки.

В таком музыкальном экстазе, весь изливаясь в дрожащих мелодиях, лежал Иохим в конюшне и в тот вечер. Музыкант успел совершенно забыть не только жестокую красавицу, но даже потерял из вида собственное свое существование, как вдруг он вздрогнул и приподнялся на своей постели. В самом патетическом месте он почувствовал, как чья-то маленькая рука быстро пробежала легкими

пальцами по его лицу, скользнула по рукам и затем стала как-то торопливо ощупывать дудку. Вместе с тем он услышал возле себя чье-то быстрое, взволнованное, короткое дыхание.

– Цур тобі, пек тобі, – произнес он обычное заклинание и тут же прибавил вопрос: – Чертове, чи Боже? – желая узнать, не имеет ли он дела с нечистою силой.

Но тотчас же скользнувший в открытые ворота конюшни луч месяца показал ему, что он ошибся. У его койки стоял слепой панич и жадно тянулся к нему своими ручонками.

Через час мать, пожелавшая взглянуть на спящего Петруся, не нашла его в постели. Она испугалась сначала, но вскоре материнская сметка подсказала ей, где нужно искать пропавшего мальчика. Иохим очень сконфузился, когда, остановившись, чтобы сделать передышку, он неожиданно увидел в дверях конюшни „милостивую пани“. Она, по-видимому, уже несколько минут стояла на этом месте, слушая его игру и глядя на своего мальчика, который сидел на койке, укутанный в полушубок Иохима, и все еще жадно прислушивался к оборванной песне.

VI

С тех пор каждый вечер мальчик являлся к Иохиму в конюшню. Ему не приходило и в голову просить Иохима сыграть что-нибудь днем. Казалось, дневная суeta и движение исключали в его представлении возможность этих тихих мелодий. Но как только на землю опускался вечер, Петрусь испытывал лихорадочное нетерпение. Вечерний чай и ужин служили для него лишь указанием, что желанная минута близка, и мать, которой как-то инстинктивно не нравились эти музыкальные сеансы, все же не могла запретить своему любимцу бежать к дударю и просиживать у него в конюшне часа два перед сном. Эти часы стали теперь для мальчика самым счастливым временем, и мать с жгучею ревностью видела, что вечерние впечатления владеют ребенком даже в течение следующего дня, что даже на ее ласки он не отвечает с прежней безраздельностью, что, сидя у нее на руках и обнимая ее, он с задумчивым видом вспоминает вчерашнюю песню Иохима.

Тогда она вспомнила, что несколько лет назад, обучаясь в киевском пансионе пани Ра-

децкой, она, между прочими „приятными искусстваами“, изучала также и музыку. Правда, само по себе это воспоминание было не из особенно сладких, потому что связывалось с представлением об учительнице, старой немецкой девице Клапс, очень тощей, очень прозаичной и, главное, очень сердитой. Эта чрезвычайно желчная дева, очень искусно „выламывавшая“ пальцы своих учениц, чтобы придать им необходимую гибкость, вместе с тем с замечательным успехом убивала в своих питомицах всякие признаки чувства музыкальной поэзии. Это пугливое чувство не могло выносить уже одного присутствия девицы Клапс, не говоря об ее педагогических приемах. Поэтому, выйдя из пансиона и даже замужем, Анна Михайловна и не подумала о возобновлении своих музыкальных упражнений. Но теперь, слушая хохла-дударя, она чувствовала, что вместе с ревностью к нему в ее душе постепенно пробуждается ощущение живой мелодии, а образ немецкой девицы тускнеет. В результате этого процесса явилась просьба пани Попельской к мужу выписать из города пианино.

– Как хочешь, моя голубка, – ответил образцовый супруг. – Ты, кажется, не особенно любила музыку.

В тот же день послано было письмо в город, но пока инструмент был куплен и привезен из города в деревню, должно было пройти не менее двух-трех недель.

А между тем из конюшни каждый вечер звучали мелодические призывы, и мальчик кидался туда, даже не спрашивая уже позволения матери.

Специфический запах конюшни смешивался с ароматом сухой травы и острым запахом сыромятных ремней. Лошади тихо жевали, шурша добываемыми из-за решетки клобьями сена; когда дударь останавливался для передышки, в конюшню явственно доносился шепот зеленых буков из сада. Петрик сидел, как очарованный, и слушал.

Он никогда не прерывал музыканта, и только когда тот сам останавливался и проходило две-три минуты в молчании, немое очарование сменялось в мальчике какою-то странною жадностью. Он тянулся за дудкой, брал ее дрожащими руками и прикладывал к



губам. Так как при этом в груди мальчика захватывало дыхание, то первые звуки выходили у него какие-то дрожащие и тихие. Но потом он понемногу стал овладевать немудреным инструментом. Иохим располагал его пальцы по отверстиям, и хотя маленькая ручонка едва могла захватить эти отверстия, но все же он скоро свыкся с звуками гаммы. При этом каждая нота имела для него как бы свою особенную физиономию, свой индивидуальный характер; он знал уже, в каком отверстии живет каждый из этих тонов, откуда его нужно выпустить, и порой, когда Иохим тихо перебирал пальцами какой-нибудь несложный напев, пальцы мальчика тоже начинали шевелиться. Он с полной ясностью представлял себе последовательные тоны расположенными по их обычным местам.

VII

Наконец, ровно через три недели, из города привезли пианино. Петя стоял на дворе и внимательно слушал, как суетившиеся работники готовились нести в комнату привозную „музыку“. Она была, очевидно, очень тяжелая, так как, когда ее стали подымать, телега

трещала, а люди кряхтели и глубоко дышали. Вот они двинулись размеренными, тяжелыми шагами, и при каждом таком шаге над их головами что-то странно гудело, ворчало и позванивало. Когда странную музыку ставили на пол в гостиной, она опять отозвалась глухим гулом, точно угрожая кому-то в сильном гневе.

Все это наводило на мальчика чувство, близкое к испугу, и не располагало в пользу нового неодушевленного, но вместе сердитого гостя. Он ушел в сад и не слышал, как установили инструмент на ножках, как приезжий из города настройщик заводил его ключом, пробовал клавиши и настраивал проводочные струны. Только когда все было кончено, мать велела позвать в комнату Петю.

Теперь, вооружившись венским инструментом лучшего мастера, Анна Михайловна заранее торжествовала победу над нехитрою деревенскою дудкой. Она была уверена, что ее Петя забудет теперь конюшню и дударя и что все свои радости будет получать от нее. Она взглянула смеющимися глазами на робко вошедшего вместе с Максимом мальчика и

на Иохима, который просил позволения послушать заморскую музыку и теперь стоял у двери, застенчиво потупив глаза и свесив чуприну. Когда дядя Максим и Петя уселись на кушетке, она вдруг ударила по клавишам пианино.

Она играла пьесу, которую в пансионе пани Радецкой и под руководством девицы Клапс изучила в совершенстве. Это было что-то особенно шумное, но довольно хитрое, требовавшее значительной гибкости пальцев; на публичном экзамене Анна Михайловна стяжала этой пьесой обильные похвалы и себе, и особенно своей учительнице. Никто не мог сказать этого наверное, но многие догадывались, что молчаливый пан Попельский пленился панной Яценко именно в ту короткую четверть часа, когда она исполняла трудную пьесу. Теперь молодая женщина играла ее с сознательным расчетом на другую победу: она желала сильнее привлечь к себе маленькое сердце своего сына, увлеченного хохлацкою дудкой.

Однако на этот раз ее ожидания были обмануты: венскому инструменту оказалось не

по силам бороться с куском украинской вербы. Правда, у венского пианино были могучие средства: дорогое дерево, превосходные струны, отличная работа венского мастера, богатство обширного регистра. Зато и у украинской дудки нашлись союзники, так как она была у себя дома, среди родственной украинской природы.

Прежде чем Иохим срезал ее своим ножом и выжег ей сердце раскаленным железом, она качалась здесь, над знакомою мальчику родною речкой, ее ласкало украинское солнце, которое согревало и его, и тот же обдавал ее украинский ветер, пока зоркий глаз украинца-дударя подметил ее над размытою кручей. И теперь трудно было иностранному пришельцу бороться с простою местною дудкой, потому что она явилась слепому мальчику в тихий час дремоты, среди таинственного вечернего шороха, под шелест засыпавших буков, в сопровождении всей родственной украинской природы.

Да и пани Попельской далеко было до Иохима. Правда, ее тонкие пальцы были и быстрее, и гибче; мелодия, которую она игра-

ла, сложнее и богаче, и много трудов положила девица Клапс, чтобы выучить свою ученицу владеть трудным инструментом. Зато у Иохима было непосредственное музыкальное чувство, он любил и грустил и с любовью своей, и с тоскою обращался к родной природе. Его учила несложным напевам эта природа, шум ее леса, тихий шепот степной травы, задумчивая, родная, старинная песня, которую он слышал еще над своею детскою колыбелью.

Да, трудно оказалось венскому инструменту победить хохлацкую дудку. Не прошло и одной минуты, как дядя Максим вдруг резко застучал об пол своим костылем. Когда Анна Михайловна повернулась в ту сторону, она увидела на побледневшем лице Петрика то самое выражение, с каким в памятный для нее день первой весенней прогулки мальчик лежал на траве.

Иохим участливо посмотрел на мальчика, потом кинул пренебрежительный взгляд на немецкую музыку и удалился, стучая по полу гостиной своими неуклюжими „чоботьями“.

Много слез стоила бедной матери эта неудача, – слез и стыда. Ей, „милостивой пани“ Попельской, слышавшей гром рукоплесканий „избранной публики“, сознавать себя так жестоко пораженной, и кем же? – простым конюхом Иохимом с его глупою свистелкой! Когда она вспоминала исполненный пренебрежения взгляд хохла после ее неудачного концерта, краска гнева заливала ее лицо, и она искренно ненавидела „противного хлопа“.

И, однако, каждый вечер, когда ее мальчик убежал в конюшню, она открывала окно, облокачивалась на него и жадно прислушивалась. Сначала слушала она с чувством гневного пренебрежения, стараясь лишь уловить смешные стороны в этом „глупом чириканье“, но мало-помалу – она и сама не отдавала себе отчета, как это могло случиться, – глупое чириканье стало овладевать ее вниманием, и она уже с жадностью ловила задумчиво-грустные напевы. Спohватившись, она задала себе вопрос, в чем же их привлекательность, их чарующая тайна, и понемногу эти синие вечера, неопределенные вечерние те-

ни и удивительная гармония песни с природой разрешили ей этот вопрос.

„Да, – думала она про себя, побежденная и завоеванная в свою очередь, – тут есть какое-то совсем особенное, истинное чувство... чарующая поэзия, которую не выучишь по нотам“.

И это было правда. Тайна этой поэзии состояла в удивительной связи между давно умершим прошлым и вечно живущей, и вечно говорящей человеческому сердцу природой, свидетельницей этого прошлого. А он, грубый мужик в смазных сапогах и с мозолистыми руками, носил в себе эту гармонию, это живое чувство природы.

И она сознавала, что гордая „пани“ смиряется в ней перед конюхом-хлопом. Она забывала его грубую одежду и запах дегтя, и сквозь тихие переливы песни вспоминалось ей добродушное лицо, с мягким выражением серых глаз и застенчиво-юмористической улыбкой из-под длинных усов. По временам краска гнева опять прилиwała к лицу и вискам молодой женщины: она чувствовала, что в борьбе из-за внимания ее ребенка она стала

с этим мужиком на одну арену, на равной ноге, и он, „хлоп“, победил.

А деревья в саду шептались у нее над головой, ночь разгоралась огнями в синем небе и разливалась по земле синею тьмой, и, вместе с тем, в душу молодой женщины лилась горячая грусть от Иохимовых песен. Она все больше смирялась и все больше училась постигать нехитрую тайну непосредственной и чистой безыскусственной поэзии.

IX

Да, у мужика Иохима истинное, живое чувство! А у нее? Неужели у нее нет ни капли этого чувства? Отчего же так жарко в груди и так тревожно бьется в ней сердце и слезы поневоле подступают к глазам?

Разве это не чувство, не жгучее чувство любви к ее обездоленному, слепому ребенку, который убегает от нее к Иохиму и которому она не умеет доставить такого же живого наслаждения?

Ей вспомнилось выражение боли, вызванное ее игрой, на лице мальчика, и жгучие слезы лились у нее из глаз, и по временам она с трудом сдерживала подступавшие к горлу и

готовые вырваться рыдания.

Бедная мать! Слепота ее ребенка стала и ее вечным, неизлечимым недугом. Он сказался и в болезненно преувеличенной нежности, и в этом всю ее поглотившем чувстве, связавшем тысячью невидимых струн ее изболевшее сердце с каждым проявлением детского страдания. По этой причине то, что в другой вызвало бы только досаду, – это странное соперничество с хохлом-дударем, – стало для нее источником сильнейших, преувеличенно-жгучих страданий.

Так шло время, не принося ей облегчения, но зато и не без пользы: она начала сознавать в себе приливы того же живого ощущения мелодии и поэзии, которое так очаровало ее в игре хохла. Тогда в ней ожила и надежда. Под влиянием внезапных приливов самоуверенности она несколько раз подходила к своему инструменту и открывала крышку с намерением заглушить певучими ударами клавишей тихую дудку. Но каждый раз чувство нерешимости и стыдливого страха удерживало ее от этих попыток. Ей вспоминалось лицо ее страдающего мальчика и пренебрежитель-

ный взгляд хохла, и щеки пылали в темноте от стыда, а рука только пробегала в воздухе над клавиатурой с боязливою жадностью...

Тем не менее изо дня в день какое-то внутреннее сознание своей силы в ней все возрастало, и, выбирая время, когда мальчик играл перед вечером в дальней аллее или уходил гулять, она садилась за пианино. Первыми опытами она осталась не особенно довольна; руки не повиновались ее внутреннему пониманию, звуки инструмента казались сначала чуждыми овладевшему ею настроению. Но постепенно это настроение переливалось в них с большею полнотою и легкостью; уроки хохла не прошли даром, а горячая любовь матери и чуткое понимание того, что именно захватывало так сильно сердце ребенка, дали ей возможность так быстро усвоить эти уроки. Теперь из-под рук выходили уже не трескучие мудреные „пъесы“, а тихая песня, грустная украинская думка звенела и плакала в темных комнатах, размягчая материнское сердце.

Наконец она приобрела достаточно смелости, чтобы выступить в открытую борьбу, и

вот, по вечерам, между барским домом и Иохимовой конюшней началось странное состязание. Из затененного сарая с нависшею соломенною стрехой тихо вылетали переливчатые трели дудки, а навстречу им из открытых окон усадьбы, сверкавшей сквозь листву буков отражением лунного света, неслись певучие, полные аккорды фортепиано. Сначала ни мальчик, ни Иохим не хотели обращать внимания на „хитрую“ музыку усадьбы, к которой они питали предубеждение. Мальчик даже хмурил брови и нетерпеливо понукал Иохима, когда тот останавливался:

– Э! играй же, играй!

Но не прошло и трех дней, как эти остановки стали все чаще и чаще. Иохим то и дело откладывал дудку и начинал прислушиваться с возрастающим интересом, а во время этих пауз и мальчик тоже заслушивался и забывал понукать приятеля. Наконец Иохим произнес с задумчивым видом:

– Ото ж як гарно... Бач, яка воно штука...

И затем, с тем же задумчиво-рассеянным видом прислушивающегося человека, он взял мальчика на руки и пошел с ним через сад к

открытому окну гостиной.

Он думал, что „милостивая пани“ играет для собственного своего удовольствия и не обращает на них внимания. Но Анна Михайловна слышала в промежутках, как смолкла ее соперница-дудка, видела свою победу, и ее сердце билось от радости.

Вместе с тем ее гневное чувство к Иохиму улеглось окончательно. Она была счастлива и сознавала, что обязана этим счастьем ему: он научил ее, как опять привлечь к себе ребенка, и если теперь ее мальчик получит от нее целые сокровища новых впечатлений, то за это оба они должны быть благодарны ему, мужику-дударю, их общему учителю.

Х

Лед был сломан. Мальчик на следующий день с робким любопытством вошел в гостиную, в которой не бывал с тех пор, как в ней поселился странный городской гость, показавшийся ему таким сердито-крикливым. Теперь вчерашние песни этого гостя подкупили слух мальчика и изменили его отношение к инструменту. С последними следами прежней робости он подошел к тому месту, где сто-

яло пианино, остановился на некотором расстоянии и прислушался. В гостиной никого не было. Мать сидела с работой в другой комнате на диване и, притаив дыхание, смотрела на него, любуясь каждым его движением, каждою сменой выражения на нервном лице ребенка.

Протянув издали руки, он коснулся полированной поверхности инструмента и тотчас же робко отодвинулся. Повторив раза два этот опыт, он подошел поближе и стал внимательно исследовать инструмент, наклоняясь до земли, чтобы ощупать ножки, обходя кругом по свободным сторонам. Наконец его рука попала на гладкие клавиши.

Тихий звук струны неуверенно дрогнул в воздухе. Мальчик долго прислушивался к исчезнувшим уже для слуха матери вибрациям и затем, с выражением полного внимания, тронул другую клавишу. Проведя после этого рукой по всей клавиатуре, он попал на ноту верхнего регистра. Каждому тону он давал достаточно времени, и они, один за другим, колебаясь, дрожали и замирали в воздухе. Лицо слепого, вместе с напряженным вниманием,

выражало удовольствие; он, видимо, любовался каждым отдельным тоном, и уже в этой чуткой внимательности к элементарным звукам, составным частям будущей мелодии, сказывались задатки артиста.

Но при этом казалось, что слепой придавал еще какие-то особенные свойства каждому звуку: когда из-под его руки вылетала веселая и яркая нота высокого регистра, он подымал оживленное лицо, будто провожая кверху эту звонкую, летучую ноту. Наоборот, при густом, чуть слышном и глухом дрожании баса он наклонял ухо; ему казалось, что этот тяжелый тон должен непременно низко раскатиться над землею, рассыпаясь по полу и теряясь в дальних углах.

XI

Дядя Максим относился ко всем этим музыкальным экспериментам только терпимо. Как это ни странно, но так явно обнаружившиеся склонности мальчика порождали в инвалиде двойственное чувство. С одной стороны, страстное влечение к музыке указывало на несомненно присущие мальчику музыкальные способности и, таким образом, опре-

деляло отчасти возможное для него будущее. С другой – к этому сознанию примешивалось в сердце старого солдата неопределенное чувство разочарования.

„Конечно, – рассуждал Максим, – музыка тоже великая сила, дающая возможность владеть сердцем толпы. Он, слепой, будет собирать сотни разряженных франтов и барынь, будет им разыгрывать разные там... вальсы и ноктюрны (правду сказать, дальше этих „вальсов“ и „ноктюрнов“ не шли музыкальные познания Максима), а они будут утирать слезы платочками. Эх, черт возьми, не того бы мне хотелось, да что же делать! Малый слеп, так пусть же станет в жизни тем, чем может. Только все же лучше бы уж песня, что ли? Песня говорит не одному неопределенно разнеживающемуся слуху. Она дает образы, будит мысль в голове и мужество в сердце“.

– Эй, Иохим, – сказал он одним вечером, входя вслед за мальчиком к Иохиму. – Брось ты хоть один раз свою свистелку! Это хорошо мальчишкам на улице или подпаску в поле, а ты все же таки взрослый мужик, хоть эта глупая Марья и сделала из тебя настоящего те-

ленка. Тьфу, даже стыдно за тебя, право! Девка отвернулась, а ты и раскис. Свистишь, точно перепел в клетке!

Иохим, слушая эту длинную рацею[38] раздосадованного пана, ухмылялся в темноте над его беспричинным гневом. Только упоминание о мальчишках и подпаске несколько расшевелило в нем чувство легкой обиды.

– Не скажите, пане, – заговорил он. – Таковую дуду не найти вам ни у одного пастуха в Украине, не то что у подпаска... То все свистелки, а это... вы вот послушайте.

Он закрыл пальцами все отверстия и взял на дудке два тона в октаву, любуясь полным звуком. Максим плюнул.

– Тьфу, прости Боже! совсем поглупел парубок! Что мне твоя дуда? Все они одинаковы – и дудки, и бабы, с твоей Марьей на придачу. Вот лучше спел бы ты нам песню, коли умеешь, – хорошую старую песню.

Максим Яценко, сам малоросс, был человек простой с мужиками и дворней. Он часто кричал и ругался, но как-то необидно, и потому к нему относились люди почтительно, но свободно.

– А что ж? – ответил Иохим на предложение пана. – Пел когда-то и я не хуже людей. Только, может, и наша мужицкая песня тоже вам не по вкусу придется, пане? – уязвил он слегка собеседника.

– Ну не брешь по-пустому, – сказал Максим. – Песня хорошая – не дудке чета, если только человек умеет петь как следует. Вот послушаем, Петрусю, Иохимову песню. Поймешь ли ты только, малый?

– А это будет „хлопская“ песня? – спросил мальчик. – Я понимаю „по-хлопски“.

Максим вздохнул. Он был романтик и когда-то мечтал о новой сечи[39].

– Эх, малый! Это не хлопские песни... Это песни сильного, вольного народа. Твои деды по матери пели их на степях по Днепру, и по Дунаю, и на Черном море... Ну, да ты поймешь это когда-нибудь, а теперь, – прибавил он задумчиво, – боюсь я другого...

Действительно, Максим боялся другого непонимания. Он думал, что яркие образы песенного эпоса требуют непременно зрительных представлений, чтобы говорить сердцу. Он боялся, что темная голова ребенка не в со-

стоянии будет усвоить картинного языка народной поэзии. Он забыл, что древние баяны [40], что украинские кобзари и бандуристы [41] были по большей части слепые. Правда, тяжкая доля, увечье заставляли нередко брать в руки лиру или бандуру, чтобы просить с нею подаяния. Но не все же это были только нищие и ремесленники с гнусавыми голосами, и не все они лишились зрения только под старость. Слепота застилает видимый мир темною завесой, которая, конечно, ложится на мозг, затрудняя и угнетая его работу, но все же из наследственных представлений и из впечатлений, получаемых другими путями, мозг творит в темноте свой собственный мир, грустный, печальный и сумрачный, но не лишенный своеобразной, смутной поэзии.

XII

Максим с мальчиком уселись на сене, а Иохим прилег на свою лавку (эта поза наиболее соответствовала его артистическому настроению) и, подумав с минуту, запел. Случайно или по чуткому инстинкту выбор его оказался очень удачным. Он остановился на

исторической картине:

*Ой, там на горі, тай женці
жнуть.*

Всякому, кто слышал эту прекрасную на родную песню в надлежащем исполнении, наверное, врезался в памяти ее старинный мотив, высокий, протяжный, будто подернутый грустью исторического воспоминания. В ней нет событий, кровавых сеч и подвигов. Это и не прощание казака с милой, не удалой набег, не экспедиция в чайках[42] по синему морю и Дунаю. Это только одна мимолетная картина, всплывшая мгновенно в воспоминании украинца как смутная греза, как отрывок из сна об историческом прошлом. Среди будничного и серого настоящего дня в его воображении встала вдруг эта картина, смутная, туманная, подернутая тою особенною грустью, которая веет от исчезнувшей уже родной старины. Исчезнувшей, но еще не бесследно! О ней говорят еще высокие могилы-курганы, где лежат казацкие кости, где в полночь загораются огни, откуда слышатся по ночам тяжелые стоны. О ней говорит и на-

родное предание, и смолкающая все более и более народная песня:

*Ой, там на горі, тай жєнци
жнуть,
А по-під горою, по-під зеленою
Козаки ідуть!..
Козаки ідуть!..*

На зеленой горе жнецы жнут хлеб. А под горой, внизу, идет казачье войско.

Максим Яценко заслушался грустного напева. В его воображении, вызванная чудесным мотивом, удивительно сливающимся с содержанием песни, всплыла эта картина, будто освещенная меланхолическим отблеском заката. В мирных полях, на горе, беззвучно наклоняясь над нивами, виднеются фигуры жнецов. А внизу бесшумно проходят отряды один за другим, сливаясь с вечерними тенями долины.

*По переду Дорошенко
Веде своє військо запорожське,
Хорошенько.*

И протяжная нота песни о прошлом колыхается, звенит и смолкает в воздухе, чтобы за-

звенеть опять и вызвать из сумрака все новые и новые фигуры.

XIII

Мальчик слушал с омраченным и грустным лицом. Когда певец пел о горе, на которой жнут жнецы, воображение тотчас же переносило Петруся на высоту знакомого ему утеса. Он узнал его потому, что внизу плещется речка чуть слышными ударами волны о камень. Он уже знает также, что такое жнецы, он слышит позвякивание серпов и шорох падающих колосьев.

Когда же песня переходила к тому, что делается под горой, воображение слепого слушателя тотчас же удаляло его от вершин в долину...

Звон серпов смолк, но мальчик знает, что жнецы там, на горе, что они остались, но они не слышны, потому что они высоко, так же высоко, как сосны, шум которых он слышал, стоя под утесом. А внизу, над рекой, раздается частый ровный топот конских копыт... Их много, от них стоит неясный гул там, в темноте, под горой. Это „идут казаки“.

Он знает также, что значит казак. Старика

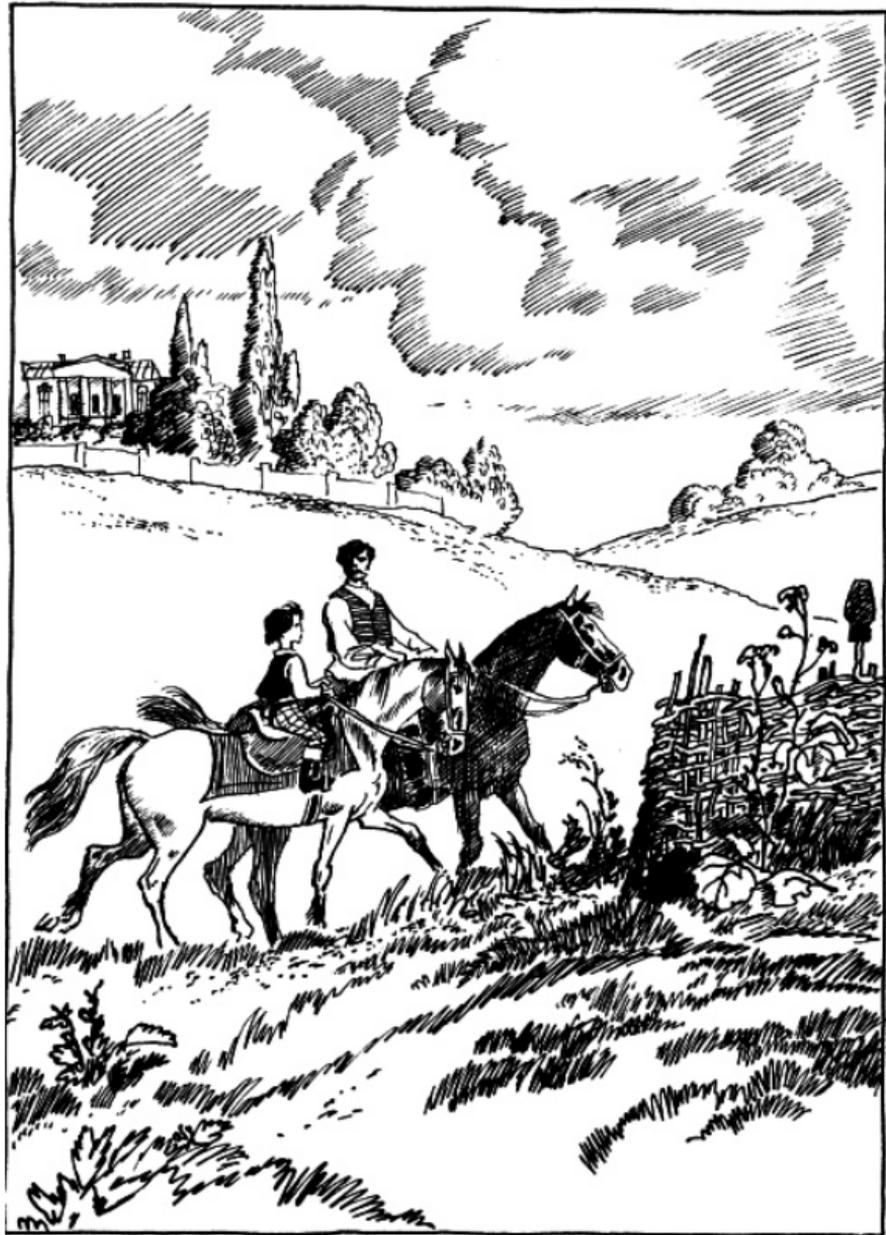
„Хведька“, который заходит по временам в усадьбу, все зовут „старым казаком“. Он не раз брал Петруся к себе на колени, гладил его волосы своею дрожащею рукой. Когда же мальчик, по своему обыкновению, ощупывал его лицо, то осязал своими чуткими пальцами глубокие морщины, большие, обвисшие вниз усы, впалые щеки и на щеках старческие слезы. Таких же казаков представлял себе мальчик под протяжные звуки песни там, внизу, под горой. Они сидят на лошадях такие же, как „Хведька“, усатые, такие же сторбленные, такие же старые. Они тихо подвигаются бесформенными тенями в темноте и так же, как „Хведько“, о чем-то плачут, быть может, оттого, что и над горой и над долиной стоят эти печальные, протяжные стоны Иохимовой песни, – песни о „необачном[43] козачине“, что променял молодую женку на походную трубку и на боевые невзгоды.

Максиму достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что чуткая натура мальчика способна откликнуться, несмотря на слепоту, на поэтические образы песни.

Глава третья

Благодаря режиму, который был заведен по плану Максима, слепой во всем, где это было возможно, был предоставлен собственным усилиям, и это принесло самые лучшие результаты. В доме он не казался вовсе беспомощным, ходил всюду очень уверенно, сам убирал свою комнату, держал в известном порядке свои игрушки и вещи. Кроме того, насколько это было ему доступно, Максим обращал внимание на физические упражнения: у мальчика была своя гимнастика, а на шестом году Максим подарил племяннику небольшую и смирную лошадку. Мать сначала не могла себе представить, чтоб ее слепой ребенок мог ездить верхом, и она называла затею брата чистым безумием. Но инвалид пустил в дело все свое влияние, и через два-три месяца мальчик весело скакал в седле рядом с Иохимом, который командовал только на поворотах.

Таким образом, слепота не помешала правильному физическому развитию, и влияние ее на нравственный склад ребенка было по возможности ослаблено. Для своего возраста



та он был высок и строен; лицо его было несколько бледно, черты тонки и выразительны. Черные волосы оттеняли еще более белизну лица, а большие темные, малоподвижные глаза придавали ему своеобразное выражение, как-то сразу приковывавшее внимание. Легкая складка над бровями, привычка несколько подаваться головой вперед и выражение грусти, по временам пробегавшее какими-то облаками по красивому лицу, — это все, чем сказалась слепота в его наружности. Его движения в знакомом месте были уверенны, но все же было заметно, что природная живость подавлена и проявляется по временам довольно резкими нервными порывами.

II

Теперь впечатления слуха окончательно получили в жизни слепого преобладающее значение, звуковые формы стали главными формами его мысли, центром умственной работы. Он запомнил песни, вслушиваясь в их чарующие мотивы, знакомился с их содержанием, окрашивая его грустью, весельем или раздумчивостью мелодии. Он еще вниматель-

нее ловил голоса окружающей природы и, сливая смутные ощущения с привычными родными мотивами, по временам умел обобщить их свободной импровизацией, в которой трудно было отличить, где кончается народный, привычный уху мотив и где начинается личное творчество. Он и сам не мог отделить в своих песнях этих двух элементов: так цельно слились в нем они оба. Он быстро заучивал все, что передавала ему мать, учившая его игре на фортепиано, но любил также и Иохимову дудку. Фортепиано было богаче, звучнее и полнее, но оно стояло в комнате, тогда как дудку можно было брать с собой в поле, и ее переливы так нераздельно сливались с тихими вздохами степи, что порой Петрусь сам не мог отдать себе отчета, ветер ли навевает издалека смутные думы или это он сам извлекает их из своей свирели.

Это увлечение музыкой стало центром его умственного роста; оно заполняло и разнообразило его существование. Максим пользовался им, чтобы знакомить мальчика с историей его страны, и вся она прошла перед воображением слепого, сплетенная из звуков.

Заинтересованный песней, он знакомился с ее героями, с их судьбой, с судьбой своей родины. Отсюда начался интерес к литературе, и на девятом году Максим приступил к первым урокам. Умелые уроки Максима (которому пришлось изучить для этого специальные приемы обучения слепых) очень нравились мальчику. Они вносили в его настроения новый элемент – определенность и ясность, уравнивавшие смутные ощущения музыки.

Таким образом, день мальчика был заполнен, нельзя было пожаловаться на скудость получаемых им впечатлений. Казалось, он жил полной жизнью, насколько это возможно для ребенка. Казалось также, что он не сознает и своей слепоты.

А между тем какая-то странная, недетская грусть все-таки сквозила в его характере. Максим приписывал это недостатку детского общества и старался пополнить этот недостаток.

Деревенские мальчики, которых приглашали в усадьбу, дичились и не могли свободно развернуться. Кроме непривычной обста-

новки, их немало смущала также и слепота „панича“. Они пугливо посматривали на него и, сбившись в кучу, молчали или робко перешептывались друг с другом. Когда же детей оставляли одних в саду или в поле, они становились развязнее и затевали игры, но при этом оказывалось, что слепой как-то оставался в стороне и грустно прислушивался к веселой возне товарищей.

По временам Иохим собирал ребят вокруг себя в кучу и начинал рассказывать им веселые присказки и сказки. Деревенские ребята, отлично знакомые и с глуповатым хохлацким чертом, и с плутовками-ведьмами, пополняли эти рассказы из собственного запаса, и вообще эти беседы шли очень оживленно. Слепой слушал их с большим вниманием и интересом, но сам смеялся редко. По-видимому, юмор живой речи в значительной степени оставался для него недоступным, и немудрено: он не мог видеть ни лукавых огоньков в глазах рассказчика, ни смеющихся морщин, ни подергивания длинными усами.



Незадолго до описываемого времени в

небольшом соседнем имении переменялся „посессор“ [44]. На место прежнего, беспокойного соседа, у которого даже с молчаливым паном Попельским вышла тяжба из-за какой-то потравы, теперь в ближней усадьбе поселился старик Яскульский с женою. Несмотря на то что обоим супругам в общей сложности было не менее ста лет, они поженились сравнительно недавно, так как пан Якуб долго не мог сколотить нужной для аренды суммы и потому мыкался в качестве „эконома“ по чужим людям, а пани Агнешка, в ожидании счастливой минуты, жила в качестве почетной „покоювки“ [45] у графини Потоцкой. Когда, наконец, счастливая минута настала и жених с невестой стали рука об руку в костеле, то в усах и в чубе молодцеватого жениха половина волос были совершенно седые, а покрытое стыдливым румянцем лицо невесты было также обрамлено серебристыми локонами.

Это обстоятельство не помешало, однако, супружескому счастью, и плодом этой поздней любви явилась единственная дочь, которая была почти ровесницей слепому мальчи-

ку. Устроив под старость свой угол, в котором они, хотя и условно, могли считать себя полными хозяевами, старики зажили в нем тихо и скромно, как бы вознаграждая себя этою тишиной и уединением за суетливые годы тяжелой жизни „в чужих людях“. Первая их аренда оказалась не совсем удачной, и теперь они несколько сузили дело. Но и на новом месте они тотчас же устроились по-своему. В углу, занятом иконами, перевитыми плющом, у Яскульской, вместе с вербой и „громницей“ [46], хранились какие-то мешочки с травами и корнями, которыми она лечила мужа и приходивших к ней деревенских баб и мужиков. Эти травы наполняли всю избу особенным специфическим благоуханием, которое неразрывно связывалось в памяти всякого посетителя с воспоминанием об этом чистом маленьком домике, об его тишине и порядке и о двух стариках, живших в нем какою-то необычною в наши дни тихую жизнью.

В обществе этих стариков росла их единственная дочь, небольшая девочка, с длинною русой косой и голубыми глазами, поражавшая всех при первом же знакомстве ка-

кою-то странною солидностью, разлитую во всей ее фигуре. Казалось, спокойствие поздней любви родителей отразилось в характере дочери этою недетскою рассудительностью, плавным спокойствием движений, задумчивостью и глубиной голубых глаз. Она никогда не дичилась посторонних, не уклонялась от знакомства с детьми и принимала участие в их играх. Но все это делалось с такою искреннею снисходительностью, как будто для нее лично это было вовсе не нужно. Действительно, она отлично довольствовалась своим собственным обществом, гуляя, собирая цветы, беседуя со своею куклой, и все это с видом такой солидности, что по временам казалось, будто перед вами не ребенок, а крохотная взрослая женщина.

IV

Однажды Петрик был один на холмике над рекой. Солнце садилось, в воздухе стояла тишина, только мычание возвращавшегося из деревни стада долетало сюда, смягченное расстоянием. Мальчик только что перестал играть и откинулся на траву, отдаваясь полудремотной истоме летнего вечера. Он забыл-

ся на минуту, как вдруг чьи-то легкие шаги вывели его из дремоты. Он с неудовольствием приподнялся на локоть и прислушался. Шаги остановились у подножия холмика. Походка была ему незнакома.

– Мальчик! – услышал он вдруг возглас детского голоса. – Не знаешь ли, кто это тут сейчас играл?

Слепой не любил, когда нарушали его одиночество. Поэтому он ответил на вопрос не особенно любезным тоном:

– Это я...

Легкий удивленный возглас был ответом на это заявление, и тотчас же голос девочки прибавил тоном простодушного одобрения:

– Как хорошо!

Слепой промолчал.

– Что же вы не уходите? – спросил он затем, слыша, что непрошенная собеседница продолжает стоять на месте.

– Зачем же ты меня гонишь? – спросила девочка своим чистым и простодушно-удивленным голосом.

Звуки этого спокойного детского голоса приятно действовали на слух слепого; тем не

менее он ответил в прежнем тоне:

– Я не люблю, когда ко мне приходят...

Девочка засмеялась.

– Вот еще!.. Смотрите-ка! Разве вся земля твоя и ты можешь кому-нибудь запретить ходить по земле?

– Мама приказала всем, чтобы сюда ко мне не ходили.

– Мама? – переспросила задумчиво девочка. – А моя мама позволила мне ходить над рекой...

Мальчик, несколько избалованный всеобщей уступчивостью, не привык к таким настойчивым возражениям. Вспышка гнева прошла по его лицу нервной волной; он поднялся и заговорил быстро и возбужденно:

– Уйдите, уйдите, уйдите!..

Неизвестно, чем кончилась бы эта сцена, но в это время от усадьбы послышался голос Иохима, звавшего мальчика к чаю. Он быстро сбежал с холмика.

– Ах, какой гадкий мальчик! – услышал он за собою искренно негодующее замечание.

V

На следующий день, сидя на том же месте,

мальчик вспомнил о вчерашнем столкновении. В этом воспоминании теперь не было досады. Напротив, ему даже захотелось, чтоб опять пришла эта девочка с таким приятным, спокойным голосом, какого он никогда еще не слышал. Знакомые ему дети громко кричали, смеялись, дрались и плакали, но ни один из них не говорил так приятно. Ему стало жаль, что он обидел незнакомку, которая, вероятно, никогда более не вернется.

Действительно, дня три девочка совсем не приходила. Но на четвертый Петрусь услышал ее шаги внизу, на берегу реки. Она шла тихо; береговая галька легко шуршала под ее ногами; и она напевала вполголоса польскую песенку.

– Послушайте! – окликнул он, когда она с ним поравнялась. – Это опять вы?

Девочка не ответила. Камешки по-прежнему шуршали под ее ногами. В деланной беззаботности ее голоса, напевавшего песню, мальчику слышалась еще не забытая обида.

Однако, пройдя несколько шагов, незнакомка остановилась. Две-три секунды прошло в молчании. Она перебирала в это время бу-



кет полевых цветов, который держала в руках, а он ждал ответа. В этой остановке и последовавшем за нею молчании он уловил оттенки умышленного пренебрежения.

– Разве вы не видите, что это я? – спросила она наконец с большим достоинством, покончив с цветами.

Этот простой вопрос больно отозвался в сердце слепого. Он ничего не ответил, и только его руки, которыми он упирался в землю, как-то судорожно схватились за траву. Но разговор уже начался, и девочка, все стоя на том же месте и занимаясь своим букетом, опять спросила:

– Кто тебя выучил так хорошо играть на дудке?

– Иохим выучил, – ответил Петрусь.

– Очень хорошо! А отчего ты такой сердитый?

– Я... не сержусь на вас, – сказал мальчик тихо.

– Ну, так и я не сержусь... Давай играть вместе.

– Я не умею играть с вами, – ответил он потупившись.

– Не умеешь играть?... Почему?

– Так.

– Нет, почему же?

– Так, – ответил он чуть слышно и еще более потупился.

Ему не приходилось еще никогда говорить с кем-нибудь о своей слепоте, и простодушный тон девочки, предлагавшей с наивною настойчивостью этот вопрос, отозвался в нем опять тупою болью.

Незнакомка поднялась на холмик.

– Какой ты смешной, – заговорила она с снисходительным сожалением, усаживаясь рядом с ним на траве. – Это ты, верно, оттого, что еще со мной не знаком. Вот узнаешь меня, тогда перестанешь бояться. А я не боюсь никого.

Она говорила это с беспечной ясностью, и мальчик услышал, как она бросила к себе в передник груды цветов.

– Где вы взяли цветы? – спросил он.

– Там, – мотнула она головой, указывая назад.

– На лугу?

– Нет, там.

– Значит, в роще. А какие это цветы?

– Разве ты не знаешь цветов?... Ах, какой ты странный... право, ты очень странный...

Мальчик взял в руку цветок. Его пальцы быстро и легко тронули листья и венчик.

– Это лютик, – сказал он, – а вот это фиалка.

Потом он захотел тем же способом ознакомиться и со своею собеседницею: взяв левою рукой девочку за плечо, он правой стал ощупывать ее волосы, потом веки и быстро пробежал пальцами по лицу, кое-где останавливаясь и внимательно изучая незнакомые черты.

Все это было сделано так неожиданно и быстро, что девочка, пораженная удивлением, не могла сказать ни слова; она только глядела на него широко открытыми глазами, в которых отражалось чувство, близкое к ужасу. Только теперь она заметила, что в лице ее нового знакомого есть что-то необычайное. Бледные и тонкие черты застыли на выражении напряженного внимания, как-то не гармонировавшего с его неподвижным взглядом. Глаза мальчика глядели куда-то без всякого отношения к тому, что он делал, и в них

странно переливался отблеск закатывавшегося солнца. Все это показалось девочке на одну минуту просто тяжелым кошмаром.

Высвободив свое плечо из руки мальчика, она вдруг вскочила на ноги и заплакала.

– Зачем ты пугаешь меня, гадкий мальчишка? – заговорила она гневно, сквозь слезы. – Что я тебе сделала?... Зачем?...

Он сидел на том же месте, озадаченный, с низко опущенною головой, и странное чувство, – смесь досады и унижения, – наполнило болью его сердце. В первый раз еще пришлось ему испытать унижение калеки; в первый раз узнал он, что его физический недостаток может внушать не одно сожаление, но и испуг. Конечно, он не мог отдать себе ясного отчета в угнетавшем его тяжелом чувстве, но оттого, что сознание это было неясно и смутно, оно доставляло не меньше страдания.

Чувство жгучей боли и обиды подступило к его горлу; он упал на траву и заплакал. Плач этот становился все сильнее, судорожные рыдания потрясали все его маленькое тело, тем более что какая-то врожденная гордость заставляла его подавлять эту вспышку.

Девочка, которая сбежала уже с холмика, услышала эти глухие рыдания и с удивлением повернулась. Видя, что ее новый знакомый лежит лицом к земле и горько плачет, она почувствовала участие, тихо вошла на холмик и остановилась над плачущим.

– Послушай, – заговорила она тихо, – о чем ты плачешь? Ты, верно, думаешь, что я нажалуюсь? Ну, не плачь, я никому не скажу.

Слово участия и ласковый тон вызвали в мальчике еще большую нервную вспышку плача. Тогда девочка присела около него на корточки; просидев так с полминуты, она тихо тронула его волосы, погладила его голову и затем, с мягкой настойчивостью матери, которая успокаивает наказанного ребенка, приподняла его голову и стала вытирать платком заплаканные глаза.

– Ну, ну, перестань же! – заговорила она тоном взрослой женщины. – Я давно не сержусь. Я вижу, ты жалеешь, что напугал меня...

– Я не хотел напугать тебя, – ответил он, глубоко вздыхая, чтобы подавить нервные приступы.

– Хорошо, хорошо! Я не сержусь!.. Ты ведь больше не будешь. – Она приподняла его с земли и старалась усадить рядом с собою.

Он повиновался. Теперь он сидел, как прежде, лицом к стороне заката, и когда девочка опять взглянула на это лицо, освещенное красноватыми лучами, оно опять показалось ей странным. В глазах мальчика еще стояли слезы, но глаза эти были по-прежнему неподвижны; черты лица то и дело передергивались от нервных спазмов, но вместе с тем в них виднелось недетское, глубокое и тяжелое горе.

– А все-таки ты очень странный, – сказала она с задумчивым участием.

– Я не странный, – ответил мальчик с жалобною гримасой. – Нет, я не странный... Я... я – слепой!

– Слепо-ой? – протянула она нараспев, и голос ее дрогнул, как будто это грустное слово, тихо произнесенное мальчиком, нанесло неизгладимый удар в ее маленькое женственное сердце. – Слепо-ой? – повторила она еще более дрогнувшим голосом, и, как будто ища защиты от охватившего всю ее неодолимого

чувства жалости, она вдруг обвила шею мальчика руками и прислонилась к нему лицом.

Пораженная внезапностью печального открытия, маленькая женщина не удержалась на высоте своей солидности, и, превратившись вдруг в огорченного и беспомощного в своем огорчении ребенка, она, в свою очередь, горько и неутешно заплакала.

VI

Несколько минут прошло в молчании.

Девочка перестала плакать и только по временам еще всхлипывала, перемогаясь. Полными слез глазами она смотрела, как солнце, будто вращаясь в раскаленной атмосфере заката, погружалось за темную черту горизонта. Мелькнул еще раз золотой обрез огненного шара, потом брызнули две-три горячие искры, и темные очертания дальнего леса всплыли вдруг непрерывной синеватой чертой.

С реки потянуло прохладой, и тихий мир наступающего вечера отразился на лице слепого; он сидел с опущенною головой, видимо удивленный этим выражением горячего сочувствия.

– Мне жалко... – все еще всхлипывая, вымолвила наконец девочка в объяснение своей слабости.

Потом, несколько овладев собой, она сделала попытку перевести разговор на посторонний предмет, к которому они оба могли отнестись равнодушно.

– Солнышко село, – произнесла она задумчиво.

– Я не знаю, какое оно, – был печальный ответ. – Я его только... чувствую...

– Не знаешь солнышка?

– Да.

– А... а свою маму... тоже не знаешь?

– Мать знаю. Я всегда издалека узнаю ее походку.

– Да, да, это правда. И я с закрытыми глазами узнаю свою мать.

Разговор принял более спокойный характер.

– Знаешь, – заговорил слепой с некоторым оживлением, – я ведь чувствую солнце и знаю, когда оно закатилось.

– Почему ты знаешь?

– Потому что... видишь ли... Я сам не знаю

почему...

– А-а! – протянула девочка, по-видимому совершенно удовлетворенная этим ответом, и они оба помолчали.

– Я могу читать, – первый заговорил опять Петрусь, – и скоро выучусь писать пером.

– А как же ты?... – начала было она и вдруг застенчиво смолкла, не желая продолжать щекотливого допроса.

Но он ее понял.

– Я читаю в своей книжке, – пояснил он, – пальцами.

– Пальцами? Я бы никогда не выучилась читать пальцами... Я и глазами плохо читаю. Отец говорит, что женщины плохо понимают науку.

– А я могу читать даже по-французски.

– По-французски!.. И пальцами... какой ты умный! – искренне восхитилась она. – Однако я боюсь, как бы ты не простудился. Вон над рекой какой туман.

– А ты сама?

– Я не боюсь; что мне сделается.

– Ну, и я не боюсь. Разве может быть, чтобы мужчина простудился скорее женщины?

Дядя Максим говорит, что мужчина не должен ничего бояться: ни холода, ни голода, ни грома, ни тучи.

– Максим?... Это который на костылях?... Я его видела. Он страшный!

– Нет, он нисколько не страшный. Он добрый.

– Нет, страшный! – убежденно повторила она. – Ты не знаешь, потому что не видал его.

– Как же я его не знаю, когда он меня всему учит.

– Бьет?

– Никогда не бьет и не кричит на меня... Никогда...

– Это хорошо. Разве можно бить слепого мальчика? Это было бы грешно.

– Да ведь он и никого не бьет, – сказал Петрусь несколько рассеянно, так как его чуткое ухо слышало шаги Иохима.

Действительно, рослая фигура хохла зарисовалась через минуту на холмистом гребне, отделявшем усадьбу от берега, и его голос далеко раскатился в тишине вечера:

– Па-ны-чу-у-у!

– Тебя зовут, – сказала девочка, поднима-

ясь.

– Да. Но мне не хотелось бы идти.

– Иди, иди! Я к тебе завтра приду. Теперь тебя ждут и меня тоже.

VII

Девочка точно исполнила свое обещание, и даже раньше, чем Петрусь мог на это рассчитывать. На следующий же день, сидя в своей комнате за обычным уроком с Максимом, он вдруг поднял голову, прислушался и сказал с оживлением:

– Отпусти меня на минуту. Там пришла девочка.

– Какая еще девочка? – удивился Максим и пошел вслед за мальчиком к выходной двери.

Действительно, вчерашняя знакомка Петруся в эту самую минуту вошла в ворота усадьбы и, увидя проходившую по двору Анну Михайловну, свободно направилась прямо к ней.

– Что тебе, милая девочка, нужно? – спросила та, думая, что ее прислали по делу.

Маленькая женщина солидно протянула ей руку и спросила:

– Это у вас есть слепой мальчик?... Да?

– У меня, милая, да, у меня, – ответила пани Попельская, любуясь ее ясными глазами и свободой ее обращения.

– Вот, видите ли... Моя мама отпустила меня к нему. Могу я его видеть?

Но в эту минуту Петрусь сам подбежал к ней, а на крыльце показалась фигура Максима.

– Это вчерашняя девочка, мама! Я тебе говорил, – сказал мальчик, здороваясь. – Только у меня теперь урок.

– Ну, на этот раз дядя Максим отпустит тебя, – сказала Анна Михайловна, – я у него попрошу.

Между тем крохотная женщина, чувствовавшая себя, по-видимому, совсем как дома, отправилась навстречу подходившему к ним на своих костылях Максиму и, протянув ему руку, сказала тоном снисходительного одобрения:

– Это хорошо, что вы не бьете слепого мальчика. Он мне говорил.

– Неужели, сударыня? – спросил Максим с комической важностью, принимая в свою широкую руку маленькую ручку девочки. –

Как я благодарен моему питомцу, что он сумел расположить в мою пользу такую престелстную особу.

И Максим рассмеялся, поглаживая ее руку, которую держал в своей. Между тем девочка продолжала смотреть на него своим открытым взглядом, сразу завоевавшим его женоненавистническое сердце.

– Смотри-ка, Аннуса, – обратился он к сестре с странною улыбкой, – наш Петр начинает заводить самостоятельные знакомства. И ведь согласись, Аня... несмотря на то, что он слеп, он все же сумел сделать недурной выбор, не правда ли?

– Что ты хочешь этим сказать, Макс? – спросила молодая женщина строго, и горячая краска залила все ее лицо.

– Шучу! – ответил брат лаконически, видя, что своей шуткой он тронул больную струну, вскрыл тайную мысль, зашевелившуюся в предусмотрительном материнском сердце.

Анна Михайловна еще более покраснела и, быстро наклонившись, с порывом страстной нежности обняла девочку; последняя приняла неожиданно бурную ласку все с тем же яс-

НЫМ, ХОТЯ И НЕСКОЛЬКО УДИВЛЕННЫМ ВЗГЛЯДОМ.

VIII

С этого дня между посессорским домиком и усадьбой Попельских завязались ближай-шие отношения. Девочка, которую звали Эвелиной, приходила ежедневно в усадьбу, а через некоторое время она тоже поступила ученицей к Максиму. Сначала этот план совместного обучения не очень понравился пану Яскульскому. Во-первых, он полагал, что если женщина умеет записать белье и вести домашнюю расходную книгу, то этого совершенно достаточно; во-вторых, он был добрый католик и считал, что Максиму не следовало воевать с австрийцами, вопреки ясно выраженной воле „отца папежа“[47]. Наконец, его твердое убеждение состояло в том, что на небе есть Бог, а Вольтер[48] и вольтерианцы кипят в адской смоле, каковая судьба, по мнению многих, была уготована и пану Максиму. Однако при ближайшем знакомстве он должен был сознаться, что этот еретик и забияка – человек очень приятного нрава и большого ума, и вследствие этого посессор пошел на компромисс.

Тем не менее некоторое беспокойство шевелилось в глубине души старого шляхтича, и потому, приведя девочку для первого урока, он счел уместным обратиться к ней с торжественною и напыщенною речью, которая, впрочем, больше назначалась для слуха Максима.

– Вот что, Веля... – сказал он, взяв дочь за плечо и посматривая на ее будущего учителя. – Помни всегда, что на небе есть Бог, а в Риме святой его „папеж“. Это тебе говорю я, Валентин Яскульский, и ты должна мне верить потому, что я твой отец, – это primo[49].

При этом последовал новый внушительный взгляд в сторону Максима; пан Яскульский подчеркивал свою латынь, давая понять, что и он не чужд науке и в случае чего его провести трудно.

– Secundo[50], я – шляхтич славного герба, в котором вместе с „копной и вороной“ недаром обозначается крест в синем поле. Яскульские, будучи хорошими рыцарями, не раз меняли мечи на требники[51] и всегда смыслили кое-что в делах неба, поэтому ты должна мне верить. Ну, а в остальном, что касается

orbis terrarum, то есть всего земного, слушай, что тебе скажет пан Максим Яценко, и учись хорошо.

– Не бойтесь, пан Валентин, – улыбаясь, ответил на эту речь Максим, – мы не вербуем паненок для отряда Гарибальди.

IX

Совместное обучение оказалось очень полезным для обоих. Петрусь шел, конечно, впереди, но это не исключало некоторого соревнования. Кроме того, он помогал ей часто выучивать уроки, а она находила иногда очень удачные приемы, чтобы объяснить мальчику что-либо трудно понятное для него, слепого. Кроме того, ее общество вносило в его занятия нечто своеобразное, придавало его умственной работе особый тон приятного возбуждения.

Вообще эта дружба была настоящим даром благосклонной судьбы. Теперь мальчик не искал уже полного уединения; он нашел то общение, которого не могла ему дать любовь взрослых, и в минуту чуткого душевного затишья ему приятна была ее близость. На утес или на реку они всегда отправлялись вдвоем.

Когда он играл, она слушала его с наивным восхищением. Когда же он откладывал дудку, она начинала передавать ему свои детски-живые впечатления от окружающей природы; конечно, она не умела выражать их с достаточной полнотой подходящими словами, но зато в ее несложных рассказах, в их тоне он улавливал характерный колорит каждого описываемого явления. Так, когда она говорила, например, о темноте раскинувшейся над землею сырой и черной ночи, он будто слышал эту темноту в сдержанно звучащих тонах ее робеющего голоса. Когда же, подняв кверху задумчивое лицо, она сообщала ему: „Ах, какая туча идет, какая туча темная-пре-темная!“ – он ощущал сразу будто холодное дуновение и слышал в ее голосе пугающий шорох ползущего по небу, где-то в далекой высоте, чудовища.

Глава четвертая

I

Есть природы, будто заранее предназначенные для тихого подвига любви, соединенной с печалью и заботой, – природы, для которых эти заботы о чужом горе составляют как бы

атмосферу, органическую потребность. Природа заранее наделила их спокойствием, без которого немислим будничныи подвиг жизни, она предусмотрительно смягчила в них личные порывы, запросы личной жизни, подчинив эти порывы и эти запросы господствующей черте характера. Такие натуры кажутся нередко слишком холодными, слишком рассудительными, лишенными чувства. Они глухи на страстные призывы грешной жизни и идут по грустному пути долга так же спокойно, как и по пути самого яркого личного счастья. Они кажутся холодными, как снежные вершины, и так же, как они, величавы. Житейская пошлость стелется у их ног; даже клевета и сплетни скатываются по их белоснежной одежде, точно грязные брызги с крыльев лебеда.

Маленькая знакомка Петра представляла в себе все черты этого типа, который редко вырабатывается жизнью и воспитанием; он, как талант, как гений, дается в удел избранным натурам и проявляется рано. Мать слепого мальчика понимала, какое счастье случай послал ее сыну в этой детской дружбе. Понимал

это и старый Максим, которому казалось, что теперь у его питомца есть все, чего ему еще недоставало, что теперь душевное развитие слепого пойдет тихим и ровным, ничем не смущаемым ходом...

Но это была горькая ошибка.

II

В первые годы жизни ребенка Максим думал, что он совершенно овладел душевным ростом мальчика, что этот рост совершается если не под прямым его влиянием, то во всяком случае ни одна новая сторона его, ни одно новое приобретение в этой области не избегнет его наблюдения и контроля. Но когда настал в жизни ребенка период, который является переходною гранью между детством и отрочеством, Максим увидел, как неосновательны эти гордые педагогические мечтания. Чуть не каждая неделя приносила с собой что-нибудь новое, по временам совершенно неожиданное по отношению к слепому, и когда Максим старался найти источники иной новой идеи или нового представления, появлявшихся у ребенка, то ему приходилось теряться. Какая-то неведомая сила работала в

глубине детской души, выдвигая из этой глубины неожиданные проявления самостоятельного душевного роста, и Максиму приходилось останавливаться с чувством благоговения перед таинственными процессами жизни, которые вмешивались таким образом в его педагогическую работу. Эти толчки природы, ее даровые откровения, казалось, доставляли ребенку такие представления, которые не могли быть приобретены личным опытом слепого, и Максим угадывал здесь неразрывную связь жизненных явлений, которая проходит, дробясь в тысяче процессов, через последовательный ряд отдельных жизней.

Сначала это наблюдение испугало Максима. Видя, что не он один владеет умственным строем ребенка, что в этом строе сказывается что-то, от него не зависящее и выходящее из-под его влияния, он испугался за участь своего питомца, испугался возможности таких запросов, которые могли бы послужить для слепого только причиной неутолимых страданий. И он пытался разыскать источники этих, откуда-то пробивающихся, родников, чтоб...

навсегда закрыть их для блага слепого ребенка.

Не ускользнули эти неожиданные проблески и от внимания матери. Однажды утром Петрик прибежал к ней в необыкновенном волнении.

– Мама, мама! – закричал он. – Я *видел* сон.

– Что же ты *видел*, мой мальчик? – спросила она с печальным сомнением в голосе.

– Я видел во сне, что... я вижу тебя и Максима, и еще... что я все вижу... Так хорошо, так хорошо, мамочка!

– Что же еще ты видел, мой мальчик?

– Я не помню.

– А меня помнишь?

– Нет, – сказал мальчик в раздумье. – Я забыл все... А все-таки я видел, право же, видел... – добавил он после минутного молчания, и его лицо сразу омрачилось. На незрячих глазах блеснула слеза...

Это повторялось еще несколько раз, и всякий раз мальчик становился грустнее и тревожнее.

III

Однажды, проходя по двору, Максим услы-

шал в гостиной, где обыкновенно происходили уроки музыки, какие-то странные музыкальные упражнения. Они состояли из двух нот. Сначала от быстрых, последовательных, почти слившихся ударов по клавише дрожала самая высокая яркая нота верхнего регистра, затем она резко сменялась низким раскатом баса. Полюбопытствовав узнать, что могли означать эти странные экзерциции[52], Максим заковылял по двору и через минуту вошел в гостиную. В дверях он остановился как вкопанный перед неожиданною картиной.

Мальчик, которому шел уже десятый год, сидел у ног матери на низеньком стуле. Рядом с ним, вытянув шею и поводя по сторонам длинным клювом, стоял молодой прирученный аист, которого Иохим подарил паничу. Мальчик каждое утро кормил его из своих рук, и птица всюду сопровождала своего нового друга-хозяина. Теперь Петрусь придерживал аиста одною рукой, а другою тихо проводил вдоль его шеи и затем по туловищу с выражением усиленного внимания на лице. В это самое время мать, с пылающим, возбуж-



денным лицом и печальными глазами, быстро ударяла пальцем по клавише, вызывая из инструмента непрерывно звеневшую высокую ноту. Вместе с тем, слегка перегнувшись на своем стуле, она с болезненной внимательностью вглядывалась в лицо ребенка. Когда же рука мальчика, скользя по ярко-белым перьям, доходила до того места, где эти перья резко сменяются черными на концах крыльев, Анна Михайловна сразу переносила руку на другую клавишу, и низкая басовая нота глухо раскатывалась по комнате.

Оба, и мать и сын, так были поглощены своим занятием, что не заметили прихода Максима, пока он, в свою очередь, очнувшись от удивления, не прервал сеанс вопросом:

– Аннуся! что это значит?

Молодая женщина, встретив испытующий взгляд брата, застыдилась, точно застигнутая строгим учителем на месте преступления.

– Вот видишь ли, – заговорила она смущенно, – он говорит, что различает некоторую разницу в окраске аиста, только не может ясно понять, в чем эта разница... Право, он сам первый заговорил об этом, и мне кажется, что

это правда...

– Ну, так что же?

– Ничего, я только хотела ему... немножко... объяснить эту разницу различием звуков... Не сердись, Макс, но, право, я думаю, что это очень похоже...

Эта неожиданная идея поразила Максима таким удивлением, что он в первую минуту не знал, что сказать сестре. Он заставил ее повторить свои опыты и, присмотревшись к напряженному выражению лица слепого, покачал головой.

– Послушай меня, Анна, – сказал он, оставшись наедине с сестрою. – Не следует будить в мальчике вопросов, на которые ты никогда, никогда не в состоянии будешь дать полного ответа.

– Но ведь это он сам заговорил первый, право... – прервала Анна Михайловна.

– Все равно. Мальчику остается только привыкнуть к своей слепоте, а нам надо стремиться к тому, чтобы он забыл о свете. Я стараюсь, чтобы никакие внешние вызовы не наводили его на бесплодные вопросы, и если б удалось устранить эти вызовы, то мальчик

не сознавал бы недостатка в своих чувствах, как и мы, обладающие всеми пятью органами, не грустим о том, что у нас нет шестого.

– Мы грустим, – тихо возразила молодая женщина.

– Аня!

– Мы грустим, – ответила она упрямо... – Мы часто грустим о невозможном...

Впрочем, сестра подчинилась доводам брата, но на этот раз он ошибался: заботясь об устранении внешних вызовов, Максим забывал те могучие побуждения, которые были заложены в детскую душу самую природою.

IV

„Глаза, – сказал кто-то, – зеркало души“. Быть может, вернее было бы сравнить их с окнами, которыми вливаются в душу впечатления яркого, сверкающего цветного мира. Кто может сказать, какая часть нашего душевного склада зависит от ощущений света?

Человек – одно звено в бесконечной цепи жизней, которая тянется через него из глубины прошедшего к бесконечному будущему. И вот, в одном из таких звеньев, слепом мальчике, роковая случайность закрыла эти окна:

жизнь должна пройти вся в темноте. Но значит ли это, что в его душе порвались навеки те струны, которыми душа откликается на световые впечатления? Нет, и через это темное существование должна была протянуться и передаться последующим поколениям внутренняя восприимчивость к свету. Его душа была цельная человеческая душа, со всеми ее способностями, а так как всякая способность носит в самой себе стремление к удовлетворению, то и в темной душе мальчика жило неутолимое стремление к свету.

Нетронутыми лежали где-то в таинственной глубине полученные по наследству и дремавшие в неясном существовании „возможностей“ силы, с первым светлым лучом готовые подняться ему навстречу. Но окна остаются закрытыми: судьба мальчика решена – ему не видать никогда этого луча, его жизнь вся пройдет в темноте!..

И темнота эта была полна призраков.

Если бы жизнь ребенка проходила среди нужды и горя – это, быть может, отвлекло бы его мысль к внешним причинам страдания. Но близкие люди устранили от него все, что

могло бы его огорчать. Ему доставили полное спокойствие и мир, и теперь самая тишина, царившая в его душе, способствовала тому, что внутренняя неудовлетворенность слышалась яснее. Среди тишины и мрака, его окружавших, вставало смутное неумолкающее сознание какой-то потребности, искавшей удовлетворения, являлось стремление оформить дремлющие в душевной глубине, не находившие исхода силы.

Отсюда – какие-то смутные предчувствия и порывы, вроде того стремления к полету, которое каждый испытывал в детстве и которое сказывается в этом возрасте своими чудными снами.

Отсюда, наконец, вытекали инстинктивные потуги детской мысли, отражавшиеся на лице болезненным вопросом. Эти наследственные, но не тронутые в личной жизни „возможности“ световых представлений вставали, точно призраки, в детской головке, бесформенные, неясные и темные, вызывая мучительные и смутные усилия.

Природа подымалась бессознательным протестом против индивидуального „случая“

за нарушенный общий закон.

V

Таким образом, сколько бы ни старался Максим устранять все внешние вызовы, он никогда не мог уничтожить внутреннего давления неудовлетворенной потребности. Самое большее, что он мог достигнуть своею осмотрительностью, это – не будить ее раньше времени, не усиливать страданий слепого. В остальном тяжелая судьба ребенка должна была идти своим чередом, со всеми ее суровыми последствиями.

И она надвигалась темною тучей. Природная живость мальчика с годами все более и более исчезала, подобно убывающей волне, между тем как смутно, но непрерывно звучащее в душе его грустное настроение усиливалось, сказываясь на его темпераменте. Смех, который можно было слышать во время его детства при каждом особенно ярком новом впечатлении, теперь раздавался все реже и реже. Все смеющееся, веселое, отмеченное печатью юмора, было ему мало доступно; но зато все смутное, неопределенно-грустное и туманно-меланхолическое, что слышится в

ожной природе и отражается в народной песне, он улавливал с замечательной полнотой. Слезы являлись у него каждый раз на глазах, когда он слушал, как „в полі могила з вітром говорила“, и он сам любил ходить в поле слушать этот говор. В нем все больше и больше вырабатывалась склонность к уединению, и, когда в часы, свободные от занятий, он уходил один на свою одинокую прогулку, домашние старались не ходить в ту сторону, чтобы не нарушить его уединения. Усевшись где-нибудь на кургане в степи, или на холмике над рекой, или, наконец, на хорошо знакомом утесе, он слушал лишь шелест листьев да шепот травы или неопределенные вздохи степного ветра. Все это особенным образом гармонировало с глубиной его душевного настроения. Насколько он мог понимать природу, тут он понимал ее вполне и до конца. Тут она не тревожила его никакими определенными и неразрешимыми вопросами; тут этот ветер вливался ему прямо в душу, а трава, казалось, шептала ему тихие слова сожаления, и, когда душа юноши, настроившись в лад с окружающей тихой гармонией, размягчалась от теп-

лой ласки природы, он чувствовал, как что-то подымается в груди, прибывая и разливаясь по всему его существу. Он припадал тогда к сыроватой, прохладной траве и тихо плакал, но в этих слезах не было горечи. Иногда же он брал дудку и совершенно забывался, подбирая задумчивые мелодии к своему настроению и в лад с тихою гармонией степи.

Понятно, что всякий человеческий звук, неожиданно врывавшийся в это настроение, действовал на него болезненным, резким диссонансом. Общение в подобные минуты возможно только с очень близкою, дружескою душой, а у мальчика был только один такой друг его возраста, именно – белокурая девочка из посessorской усадьбы...

И эта дружба крепла все больше, отличаясь полною взаимностью. Если Эвелина вносила в их взаимные отношения свое спокойствие, свою тихую радость, сообщала слепому новые оттенки окружающей жизни, то и он, в свою очередь, давал ей... свое горе. Казалось, первое знакомство с ним нанесло чуткому сердцу маленькой женщины кровавую рану: выньте из раны кинжал, нанесший удар, и

она истечет кровью. Впервые познакомившись на холмике в степи со слепым мальчиком, маленькая женщина ощутила острое страдание сочувствия, и теперь его присутствие становилось для нее все более необходимым. В разлуке с ним рана будто раскрывалась вновь, боль оживала, и она стремилась к своему маленькому другу, чтобы неустанною заботой утолить свое собственное страдание.

VI

Однажды в теплый осенний вечер оба семейства сидели на площадке перед домом, любуясь звездным небом, синевшим глубокою лазурью и горевшим огнями. Слепой, по обыкновению, сидел рядом с своею подругой около матери.

Все на минуту смолкли. Около усадьбы было совсем тихо: только листья по временам, чутко встрепенувшись, бормотали что-то невнятное и тотчас же смолкали.

В эту минуту блестящий метеор, сорвавшись откуда-то из глубины темной лазури, пронесся яркою полосой по небу, оставив за собой фосфорический след, угасший медленно и незаметно. Все подняли глаза. Мать, си-

девшая об руку с Петриком, почувствовала, как он встрепенулся и вздрогнул.

– Что это... было? – повернулся он к ней взволнованным лицом.

– Это звезда упала, дитя мое.

– Да, звезда, – прибавил он задумчиво. – Я так и знал.

– Откуда же ты мог знать, мой мальчик? – переспросила мать с печальным сомнением в голосе.

– Нет, это он говорит правду, – вмешалась Эвелина. – Он многое знает... „так“...

Уже эта все развивавшаяся чуткость указывала, что мальчик заметно близится к критическому возрасту между отрочеством и юношеством. Но пока его рост совершался довольно спокойно. Казалось даже, будто он свыкся с своей долей, и странно-уравновешенная грусть без просвета, но и без острых порываний, которая стала обычным фоном его жизни, теперь несколько смягчилась. Но это был лишь период временного затишья. Эти роздыхи природа дает как будто нарочно; в них молодой организм устаивается и крепнет для новой бури. Во время этих затиший

незаметно набираются и зреют новые вопросы. Один толчок – и все душевное спокойствие всколеблется до глубины, как море под ударом внезапно налетевшего шквала.

Глава пятая

I

Так прошло еще несколько лет.

Ничто не изменилось в тихой усадьбе. По-прежнему шумели буки в саду, только их листва будто потемнела, сделалась еще гуще; по-прежнему белели приветливые стены, только они чуть-чуть покривились и осели; по-прежнему хмурились соломенные стрехи, и даже свирель Иохима слышалась в те же часы из конюшни; только теперь уже и сам Иохим, остававшийся холостым конюхом в усадьбе, предпочитал слушать игру слепого панича на дудке или на фортепиано – безразлично.

Максим поседел еще больше. У Попельских не было других детей, и потому слепой первенец по-прежнему остался центром, около которого группировалась вся жизнь усадьбы. Для него усадьба замкнулась в своем тесном кругу, довольствуясь своею собственною

тихою жизнью, к которой примыкала не менее тихая жизнь посessorской „хатки“. Таким образом, Петр, ставший уже юношей, вырос как тепличный цветок, огражденный от резких сторонних влияний далекой жизни.

Он, как и прежде, стоял в центре громадного темного мира. Над ним, вокруг него, всюду протянулась тьма, без конца и пределов: чуткая тонкая организация подымалась, как упруго натянутая струна, навстречу всякому впечатлению, готовая задрожать ответными звуками. В настроении слепого заметно сказывалось это чуткое ожидание: ему казалось, что вот-вот эта тьма протянется к нему своими невидимыми руками и тронет в нем что-то такое, что так томительно дремлет в душе и ждет пробуждения.

Но знакомая добрая и скучная тьма усадьбы шумела только ласковым шепотом старого сада, навевая смутную, баюкающую, успокоительную думу. О далеком мире слепой знал только из песен, из истории, из книг. Под задумчивый шепот сада, среди тихих будней усадьбы, он узнавал лишь по рассказам о бурях и волнениях далекой жизни. И все это

рисовалось ему сквозь какую-то волшебную дымку, как песня, как былина, как сказка.

Казалось, так было хорошо. Мать видела, что огражденная будто стеной душа ее сына дремлет в каком-то заколдованном полусне, искусственном, но спокойном. И она не хотела нарушать этого равновесия, боялась его нарушить.

Эвелина, выросшая и сложившаяся как-то совершенно незаметно, глядела на эту заколдованную тишь своими ясными глазами, в которых можно было по временам подметить что-то вроде недоумения, вопроса о будущем, но никогда не было и тени нетерпения. Попельский-отец привел имение в образцовый порядок, но до вопросов о будущем его сына доброму человеку, конечно, не было ни малейшего дела. Он привык, что все делается само собой. Один только Максим по своей натуре с трудом выносил эту тишь, и то как нечто временное, входившее поневоле в его планы. Он считал необходимым дать душе юноши устояться, окрепнуть, чтобы быть в состоянии встретить резкое прикосновение жизни.

Между тем там, за чертой этого заколдо-

ванного круга, жизнь кипела, волновалась, бурлила. И вот наконец наступило время, когда старый наставник решился разорвать этот круг, отворить дверь теплицы, чтобы в нее могла ворваться свежая струя наружного воздуха.

II

Для первого случая он пригласил к себе старого товарища, который жил верстах в семидесяти от усадьбы Попельских. Максим иногда бывал у него и прежде, но теперь он знал, что у Ставрuchtenка гостит приезжая молодежь, и написал ему письмо, приглашая всю компанию. Приглашение это было охотно принято. Старики были связаны давнею дружбой, а молодежь помнила довольно громкое некогда имя Максима Яценка, с которым связывались известные традиции. Один из сыновей Ставрuchtenка был студент киевского университета по модному тогда филологическому факультету. Другой изучал музыку в петербургской консерватории. С ними приехал еще юный кадет, сын одного из ближайших помещиков.

Ставрuchtenко был крепкий старик, седой, с

длинными казацкими усами и в широких казацких шароварах. Он носил кисет с табаком и трубку привязанными у пояса, говорил не иначе, как по-малорусски, и рядом с двумя сыновьями, одетыми в белые свитки и расшитые малороссийские сорочки, очень напоминал гоголевского Бульбу с сыновьями. Однако в нем не было и следов романтизма, отличавшего гоголевского героя. Наоборот, он был отличный практик-помещик, всю жизнь превосходно ладивший с крепостными отношениями, а теперь, когда эта „неволя“ была уничтожена, сумевший хорошо приноровиться и к новым условиям. Он знал народ, как знали его помещики, то есть он знал каждого мужика своей деревни и у каждого мужика знал каждую корову и чуть не каждый лишний карбованец[53] в мужицкой мошне.

Зато, если он и не дрался с своими сыновьями на кулачки, как Бульба, то все же между ними происходили постоянные и очень свирепые стычки, которые не ограничивались ни временем, ни местом. Всюду, дома и в гостях, по самому ничтожному поводу между стариком и молодежью вспыхивали нескон-

чаемые споры. Начиналось обыкновенно с того, что старик, посмеиваясь, дразнил „идеальных паничей“; те горячились, старик тоже разгорячался, и тогда подымался самый невообразимый галдеж, в котором обеим сторонам доставалось не на шутку.

Это было отражение известной розни „отцов и детей“; только здесь это явление сказывалось в значительно смягченной форме. Молодежь, с детства отданная в школы, деревню видела только в короткое каникулярное время, и потому у ней не было того конкретного знания народа, каким отличались отцы-помещики. Когда поднялась в обществе волна „народолюбия“, заставшая юношей в высших классах гимназии, они обратились к изучению родного народа, но начали это изучение с книжек. Второй шаг привел их к непосредственному изучению проявлений „народного духа“ в его творчестве. Хождение в народ паничей в белых свитках и расшитых сорочках было тогда сильно распространено в Юго-западном крае. На изучение экономических условий не обращалось особенного внимания. Молодые люди записывали слова и му-

зыку народных думок и песен, изучали предания, сверяли исторические факты с их отражением в народной памяти, вообще смотрели на мужика сквозь поэтическую призму национального романтизма. От этого, пожалуй, не прочь были и старики, но все же они никогда не могли договориться с молодежью до какого-либо соглашения.

– Вот, послушай ты его, – говорил Ставрченко Максиму, лукаво подталкивая его локтем, когда студент ораторствовал с раскрасневшимся лицом и сверкающими глазами. – Вот, собачий сын, говорит, как пишет!.. Подумаешь, и в самом деле голова! А расскажи ты нам, ученый человек, как тебя мой Нечипор надул, а?

Старик поводил усами и хохотал, рассказывая с чисто хохлацким юмором соответствующий случай. Юноши краснели, но в свою очередь не оставались в долгу. „Если они не знают Нечипора и Хведька из такой-то деревни, зато они изучают весь народ в его общих проявлениях; они смотрят с высшей точки зрения, при которой только и возможны выводы и широкие обобщения. Они обни-

мают одним взглядом далекие перспективы, тогда как старые и заматерелые в рутине практики из-за деревьев не видят всего леса“.

Старику не было неприятно слушать мудреные речи сыновей.

– Таки видно, что недаром в школе учились, – говаривал он, самодовольно поглядывая на слушателей. – А все же, я вам скажу, мой Хведько вас обоих и введет, и выведет, как телят на веревочке, вот что!.. Ну, а я и самого, шельму, в свой кисет уложу и в карман спрячу. Вот и значит, что вы передо мною все равно, что щенята перед старым псом.

III

В данную минуту один из подобных споров только что затих. Старшее поколение удалилось в дом, и сквозь открытые окна слышно было по временам, как Ставрченко с торжеством рассказывал разные комические эпизоды, и слушатели весело хохотали.

Молодые люди оставались в саду. Студент, подстлав под себя свитку и заломив смушковую шапку, разлегся на траве с несколько тенденциозною непринужденностью. Его старший брат сидел на завалинке рядом с

Эвелиной. Кадет в аккуратно застегнутом мундире помещался с ним рядом, а несколько в стороне, опершись на подоконник, сидел, опустив голову, слепой; он обдумывал только что смолкшие и глубоко взволновавшие его споры.

– Что вы думаете обо всем, что здесь говорилось, панна Эвелина? – обратился к своей соседке молодой Ставрuchtenко. – Вы, кажется, не проронили ни одного слова.

– Все это очень хорошо, то есть то, что вы говорили отцу. Но...

– Но... что же?

Девушка ответила не сразу. Она положила к себе на колени свою работу, разгладила ее руками и, слегка наклонив голову, стала рассматривать ее с задумчивым видом. Трудно было разобрать, думала ли она о том, что ей следовало взять для вышивки канву покрупнее, или же обдумывала свой ответ.

Между тем молодые люди с нетерпением ждали этого ответа. Студент приподнялся на локте и повернул к девушке лицо, оживленное любопытством. Ее сосед уставился на нее спокойным, пытливым взглядом. Слепой пе-

ременил свою непринужденную позу, выпрямился и потом вытянул голову, отвернувшись лицом от остальных собеседников.

– Но, – проговорила она тихо, все продолжая разглаживать рукой свою вышивку, – у всякого человека, господа, своя дорога в жизни.

– Господи! – резко воскликнул студент, – какое благоразумие! Да вам, моя панночка, сколько лет, в самом деле?

– Семнадцать, – ответила Эвелина просто, но тотчас же прибавила с наивно-торжествующим любопытством: – А ведь вы думали, гораздо больше, не правда ли?

Молодые люди засмеялись.

– Если б у меня спросили мнение насчет вашего возраста, – сказал ее сосед, – я сильно колебался бы между тринадцатью и двадцатью тремя. Правда, иногда вы кажетесь совсем-таки ребенком, а рассуждаете порой, как опытная старушка.

– В серьезных делах, Гаврило Петрович, нужно и рассуждать серьезно, – произнесла маленькая женщина докторальным[54] тоном, опять принимаясь за работу.

Все на минуту смолкли. Иголка Эвелины опять мерно заходила по вышивке, а молодые люди оглядывали с любопытством миниатюрную фигуру благоразумной особы.

IV

Эвелина, конечно, значительно выросла и развилась со времени первой встречи с Петром, но замечание студента насчет ее вида было совершенно справедливо. При первом взгляде на это небольшое, худощавое создание казалось, что это еще девочка, но в ее неторопливых, размеренных движениях сказывалась нередко солидность женщины. То же впечатление производило и ее лицо. Такие лица бывают, кажется, только у славянок. Правильные красивые черты зарисованы плавными, холодными линиями; голубые глаза глядят ровно, спокойно; румянец редко является на этих бледных щеках, но это не та обычная бледность, которая ежеминутно готова вспыхнуть пламенем жгучей страсти; это скорее холодная белизна снега. Прямые светлые волосы Эвелины чуть-чуть оттенялись на мраморных висках и спадали тяжелой косой, как будто оттягивавшей назад ее

голову при походе.

Слепой тоже вырос и возмужал. Всякому, кто посмотрел бы на него в ту минуту, когда он сидел поодаль от описанной группы, бледный, взволнованный и красивый, сразу бросилось бы в глаза это своеобразное лицо, на котором так резко отражалось всякое душевное движение. Черные волосы красивою волной склонялись над выпуклым лбом, по которому прошли ранние морщинки. На щеках быстро вспыхивал густой румянец, и так же быстро разливалась матовая бледность. Нижняя губа, чуть-чуть оттянутая углами вниз, по временам как-то напряженно вздрагивала, брови чутко настораживались и шевелились, а большие красивые глаза, глядевшие ровным и неподвижным взглядом, придавали лицу молодого человека какой-то не совсем обычный мрачный оттенок.

– Итак, – насмешливо заговорил студент после некоторого молчания, – панна Эвелина полагает, что все, о чем мы говорили, недоступно женскому уму, что удел женщины – узкая сфера детской и кухни.

В голосе молодого человека слышалось са-

модовольство (тогда эти словечки были совсем новенькие) и вызывающая ирония; на несколько секунд все смолкли, и на лице девушки проступил нервный румянец.

– Вы слишком торопитесь со своими заключениями, – сказала она. – Я понимаю все, о чем здесь говорилось, – значит, женскому уму это доступно. Я говорила только о себе лично.

Она смолкла и наклонилась над шитьем с таким вниманием к работе, что у молодого человека не хватило решимости продолжать дальнейший допрос.

– Странно, – пробормотал он. – Можно подумать, что вы распланировали уже свою жизнь до самой могилы.

– Что же тут странного, Гаврило Петрович? – тихо возразила девушка. – Я думаю, даже Илья Иванович (имя кадета) наметил уже свою дорогу, а ведь он моложе меня.

– Это правда, – сказал кадет, довольный этим вызовом. – Я недавно читал биографию N. N. Он тоже поступал по ясному плану: в двадцать лет женился, а в тридцать пять командовал частью.

Студент ехидно засмеялся, девушка слегка покраснела.

– Ну, вот видите, – сказала она через минуту с какою-то холодной резкостью в голосе, – у всякого своя дорога.

Никто не возражал больше. Среди молодой компании водворилась серьезная тишина, под которою чувствуется так ясно недоумелый испуг: все смутно поняли, что разговор перешел на деликатную личную почву, что под простыми словами зазвучала где-то чутко натянутая струна...

И среди этого молчания слышался только шорох темнеющего и будто чем-то недовольного старого сада.

V

Все эти беседы, эти споры, эта волна кипучих молодых запросов, надежд, ожиданий и мнений – все это нахлынуло на слепого неожиданно и бурно. Сначала он прислушивался к ним с выражением восторженного изумления, но вскоре он не мог не заметить, что эта живая волна катится мимо него, что ей до него нет дела. К нему не обращались с вопросами, у него не спрашивали мнений, и

скоро оказалось, что он стоит особняком, в каком-то грустном уединении, тем более грустном, чем шумнее была теперь жизнь усадьбы.

Тем не менее он продолжал прислушиваться ко всему, что для него было так ново, и его крепко сдвинутые брови, побледневшее лицо выказывали усиленное внимание. Но это внимание было мрачно, под ним таилась тяжелая и горькая работа мысли.

Мать смотрела на сына с печалью в глазах. Глаза Эвелины выражали сочувствие и беспокойство. Один Максим будто не замечал, какое действие производит шумное общество на слепого, и радушно приглашал гостей наведываться почаще в усадьбу, обещая молодым людям обильный этнографический[55] материал к следующему приезду.

Гости обещали вернуться и уехали. Прощаясь, молодые люди радушно пожимали руки Петра. Он порывисто отвечал на эти пожатия и долго прислушивался, как стучали по дороге колеса их брички. Затем он быстро повернулся и ушел в сад.

С отъездом гостей в усадьбе все стихло, но

эта тишина показалась слепому какою-то особенной, необычной и странной. В ней слышалось как будто признание, что здесь произошло что-то особенно важное. В смолкших аллеях, отзывавшихся только шепотом буков и сирени, слепому чуялись отголоски недавних разговоров. Он слышал также в открытое окно, как мать и Эвелина о чем-то спорили с Максимом в гостиной. В голосе матери он заметил мольбу и страдание, голос Эвелины звучал негодованием, а Максим, казалось, страстно, но твердо отражал нападение женщин. С приближением Петра эти разговоры мгновенно смолкали.

Максим сознательно беспощадною рукой пробил первую брешь в стене, окружавшей до сих пор мир слепого. Гулкая беспокойная первая волна уже хлынула в пролом, и душевное равновесие юноши дрогнуло под этим первым ударом.

Теперь ему казалось уже тесно в его заколдованном круге. Его тяготила спокойная тишь усадьбы, ленивый шепот и шорох старого сада, однообразие юного душевного сна. Тьма заговорила с ним своими новыми обо-

льстителными голосами, заколыхалась новыми смутными образами, теснясь с тоскливою суею заманчивого оживания.

Она звала его, манила, будила дремавшие в душе запросы, и уже эти первые призывы сказались в его лице бледностью, а в душе – тупым, хотя еще смутным страданием.

От женщин не ускользнули эти тревожные признаки. Мы, зрячие, видим отражение душевных движений на чужих лицах и потому приучаемся скрывать свои собственные. Слепые в этом отношении совершенно беззащитны, и потому на побледневшем лице Петра можно было читать, как в интимном дневнике, оставленном открытым в гостиной... На нем была написана мучительная тревога. Женщины видели, что Максим тоже замечает все это, но это входит в какие-то планы старика. Обе они считали это жестокостью, и мать хотела бы своими руками оградить сына. „Теплица? – что ж такое, если ее ребенку до сих пор было хорошо в теплице? Пусть будет так и дальше, навсегда... Спокойно, тихо, невозмутимо...“ Эвелина не высказывала, по видимому, всего, что было у нее на душе, но с

некоторых пор она переменялась к Максиму и стала возражать против некоторых, иногда совсем незначительных, его предложений с небывалою резкостью.

Старик смотрел на нее из-под бровей пытливыми глазами, которые встречались порой с гневным, сверкающим взглядом молодой девушки. Максим покачивал головой, бормотал что-то и окружал себя особенно густыми клубами дыма, что было признаком усиленной работы мысли; но он твердо стоял на своем и порой, ни к кому не обращаясь, отпускал презрительные сентенции[56] насчет неразумной женской любви и короткого бабьего ума, который, как известно, гораздо короче волоса; поэтому женщина не может видеть дальше минутного страдания и минутной радости. Он мечтал для Петра не о спокойствии, а о возможной полноте жизни. Говорят, всякий воспитатель стремится сделать из питомца свое подобие. Максим мечтал о том, что пережил сам и чего так рано лишился: о кипучих кризисах и о борьбе. В какой форме, — он не знал и сам, но упорно стремился расширить для Петра круг живых внешних впечат-

лений, доступных слепому, рискуя даже потрясениями и душевными переворотами. Он чувствовал, что обе женщины хотят совсем другого...

– Наседка! – говорил он иногда сестре, сердито стуча по комнате своими костылями... Но он сердился редко; большею же частью на доводы сестры он возражал мягко и с снисходительным сожалением, тем более что она каждый раз уступала в споре, когда оставалась наедине с братом; это, впрочем, не мешало ей вскоре опять возобновлять разговор. Но когда при этом присутствовала Эвелина, дело становилось серьезнее; в этих случаях старик предпочитал отмалчиваться. Казалось, между ним и молодой девушкой завязывалась какая-то борьба, и оба они еще только изучали противника, тщательно скрывая свои карты.

VI

Когда через две недели молодые люди опять вернулись вместе с отцом, Эвелина встретила их с холодной сдержанностью. Однако ей было трудно устоять против обаятельного молодого оживления. Целые дни молодежь шаталась по деревне, охотилась, за-

писывала в полях песни жниц и жнецов, а вечером вся компания собиралась на завалинке усадьбы, в саду.

В один из таких вечеров Эвелина не успела спохватиться, как разговор опять перешел на щекотливые темы. Как это случилось, кто начал первый, – ни она, да и никто не мог бы сказать. Это вышло так же незаметно, как незаметно потухла заря и по саду расползлись вечерние тени, как незаметно завел соловей в кустах свою вечернюю песню.

Студент говорил пылко, с тою особенною юношескою страстью, которая кидается навстречу неизвестному будущему безрасчетно и безрассудно. Была в этой вере в будущее с его чудесами какая-то особенная чарующая сила, почти неодолимая сила привычки...

Молодая девушка вспыхнула, поняв, что этот вызов, быть может без сознательного расчета, был обращен теперь прямо к ней.

Она слушала, низко наклонясь над работой. Ее глаза заискрились, щеки загорелись румянцем, сердце стучало... Потом блеск глаз потух, губы сжались, а сердце застучало еще сильнее, и на побледневшем лице появилось

выражение испуга.

Она испугалась оттого, что перед ее глазами будто раздвинулась темная стена, и в этот просвет блеснули далекие перспективы обширного, кипучего и деятельного мира.

Да, он манит ее уже давно. Она не сознавала этого ранее, но в тени старого сада, на уединенной скамейке, она нередко просиживала целые часы, отдаваясь небывалым мечтам. Воображение рисовало ей яркие далекие картины, и в них не было места слепому...

Теперь этот мир приблизился к ней; он не только манит ее, он предъявляет на нее какое-то право.

Она кинула быстрый взгляд в сторону Петра, и что-то кольнуло ей сердце. Он сидел неподвижный, задумчивый; вся его фигура казалась отяжелевшей и осталась в ее памяти мрачным пятном. „Он понимает... все“, – мелькнула у нее мысль, быстрая, как молния, и девушка почувствовала какой-то холод. Кровь отлила к сердцу, а на лице она сама ощутила внезапную бледность. Ей представилось на мгновение, что она уже там, в этом далеком мире, а он сидит вот здесь один, с

опущенною головой, или нет... Он там, на холмике, над речкой, этот слепой мальчик, над которым она плакала в тот вечер...

И ей стало страшно. Ей показалось, что кто-то готовится вынуть нож из ее давнишней раны.

Она вспомнила долгие взгляды Максима. Так вот что значили эти молчаливые взгляды! Он лучше ее самой знал ее настроение, он угадал, что в ее сердце возможна еще борьба и выбор, что она в себе не уверена... Но нет, – он ошибается! Она знает свой первый шаг, а там она посмотрит, что можно будет взять у жизни еще...

Она вздохнула трудно и тяжело, как бы переводя дыхание после тяжелой работы, и оглянулась кругом. Она не могла бы сказать, долго ли длилось молчание, давно ли смолк студент, говорил ли он еще что-нибудь... Она посмотрела туда, где за минуту сидел Петр...

Его не было на прежнем месте.

VII

Тогда, спокойно сложив работу, она тоже поднялась.

– Извините, господа, – сказала она, обраща-

сь к гостям. – Я вас на время оставлю одних.

И она пошла вдоль темной аллеи.

Этот вечер был исполнен тревоги не для одной Эвелины. На повороте аллеи, где стояла скамейка, девушка услышала взволнованные голоса. Максим разговаривал с сестрой.

– Да, о ней я думал в этом случае не менее, чем о нем, – говорил старик сурово. – Подумай, ведь она еще ребенок, не знающий жизни! Я не хочу верить, что ты желала бы воспользоваться неведением ребенка.

В голосе Анны Михайловны, когда она ответила, слышались слезы.

– А что же, Макс, если... если она... Что же будет тогда с моим мальчиком?

– Будь что будет! – твердо и угрюмо ответил старый солдат. – Тогда посмотрим; во всяком случае на нем не должно тяготеть сознание чужой испорченной жизни... Да и на нашей совести тоже... Подумай об этом, Аня, – добавил он мягче.

Старик взял руку сестры и нежно поцеловал ее. Анна Михайловна склонила голову.

– Мой бедный мальчик, бедный... Лучше бы ему никогда не встречаться с нею...

Девушка скорее угадала эти слова, чем слышала: так тихо вырвался этот стон из уст матери.

Краска залила лицо Эвелины. Она невольно остановилась на повороте аллеи... Теперь, когда она выйдет, оба они увидят, что она подслушала их тайные мысли...

Но через несколько мгновений она гордо подняла голову. Она не хотела подслушивать, и, во всяком случае, не ложный стыд может остановить ее на ее дороге. К тому же этот старик берет на себя слишком много. Она сама сумеет распорядиться своею жизнью.

Она вышла из-за поворота дорожки и прошла мимо обоих говоривших спокойно и с высоко поднятою головой. Максим с невольной торопливостью подобрал свой костыль, чтобы дать ей дорогу, а Анна Михайловна посмотрела на нее с каким-то подавленным выражением любви, почти обожания и страха.

Мать будто чувствовала, что эта гордая и белокурая девушка, которая только что прошла с таким гневно-вызывающим видом, пронесла с собой счастье или несчастье всей жизни ее ребенка.

VIII

В дальнем конце сада стояла старая, заброшенная мельница. Колеса давно уже не вертелись, валы обросли мхом, и сквозь старые шлюзы просачивалась вода несколькими тонкими, неумолчно звеневшими струйками. Это было любимое место слепого. Здесь он просиживал целые часы на парапете плотины, прислушиваясь к говору сочившейся воды, и умел прекрасно передавать на фортепиано этот говор. Но теперь ему было не до того... Теперь он быстро ходил по дорожке с переполненным горечью сердцем, с искаженным от внутренней боли лицом.

Заслышав легкие шаги девушки, он остановился; Эвелина положила ему на плечо руку и спросила серьезно:

– Скажи мне, Петр, что это с тобой? Отчего ты такой грустный?

Быстро повернувшись, он опять зашагал по дорожке. Девушка пошла с ним рядом.

Она поняла его резкое движение и его молчание и на минуту опустила голову.

От усадьбы слышалась песня:

З за крутої горы

*Выліталы орлы,
Выліталы, гуркоталы,
Роскошы шукалы...*

Смягченный расстоянием, молодой, сильный голос пел о любви, о счастье, о просторе, и эти звуки неслись в тишине ночи, покрывая ленивый шепот сада...

Там были счастливые люди, которые говорили об яркой и полной жизни; она еще несколько минут назад была с ними, опьяненная мечтами об этой жизни, в которой ему не было места. Она даже не заметила его ухода, а кто знает, какими долгими показались ему эти минуты одинокого горя...

Эти мысли прошли в голове молодой девушки, пока она ходила рядом с Петром по аллее. Никогда еще не было так трудно заговорить с ним, овладеть его настроением. Однако она чувствовала, что ее присутствие понемногу смягчает его мрачное раздумье.

Действительно, его походка стала тише, лицо спокойнее. Он слышал рядом ее шаги, и понемногу острая душевная боль стихала, уступая место другому чувству. Он не отдавал себе отчета в этом чувстве, но оно было ему

знакомо, и он легко подчинился его благотворному влиянию.

– Что с тобой? – повторила она свой вопрос.

– Ничего особенного, – ответил он с горечью. – Мне только кажется, что я совсем лишний на свете.

Песня около дома на время смолкла, и через минуту послышалась другая. Она доносилась чуть слышно; теперь студент пел старую „думу“, подражая тихому напеву бандуристов. Иногда голос, казалось, совсем смолкал, воображением овладевала смутная мечта, и затем тихая мелодия опять пробивалась сквозь шорох листьев...

Петр невольно остановился, прислушиваясь.

– Знаешь, – заговорил он грустно, – мне кажется иногда, что старики правы, когда говорят, что на свете становится с годами все хуже. В старые годы было лучше даже слепым. Вместо фортепиано тогда бы я выучился играть на бандуре и ходил бы по городам и селам... Ко мне собирались бы толпы людей, и я пел бы им о делах их отцов, о подвигах и сла-

ве. Тогда и я был бы чем-нибудь в жизни. А теперь? Даже этот кадетик с таким резким голосом, и тот – ты слышала? – говорит: жениться и командовать частью. Над ним смеялись, а я... а мне даже и это недоступно.

Голубые глаза девушки широко открылись от испуга, и в них сверкнула слеза.

– Это ты наслушался речей молодого Ставрученка, – сказала она в смущении, стараясь придать голосу тон беззаботной шутки.

– Да, – задумчиво ответил Петр и прибавил: – У него очень приятный голос. Красив он?

– Да, он хороший, – задумчиво подтвердила Эвелина, но вдруг, как-то гневно спохватившись, прибавила резко: – Нет, он мне вообще не нравится! Он слишком самоуверен, и голос у него неприятный и резкий.

Петр выслушал с удивлением эту гневную вспышку. Девушка топнула ногой и продолжала:

– И все это глупости! Это все, я знаю, подстраивает Максим. О, как я ненавижу теперь этого Максима!

– Что ты это, Веля? – спросил удивленно

слепой. – Что подстраивает?

– Ненавижу, ненавижу Максима! – упрямо повторяла девушка. – Он со своими расчетами истребил в себе всякие признаки сердца... Не говори, не говори мне о них... И откуда они присвоили себе право распоряжаться чужою судьбой?

Она вдруг порывисто остановилась, сжала свои тонкие руки, так что на них хрустнули пальцы, и как-то по-детски заплакала.

Слепой взял ее за руки с удивлением и участием. Эта вспышка со стороны его спокойной и всегда выдержанной подруги была так неожиданна и необъяснима! Он прислушивался одновременно к ее плачу и к тому странному отголоску, каким отзывался этот плач в его собственном сердце. Ему вспомнились давние годы. Он сидел на холме с такою же грустью, а она плакала над ним так же, как и теперь...

Но вдруг она высвободила руку, и слепой опять удивился: девушка смеялась.

– Какая я, однако, глупая! И о чем это я плачу?

Она вытерла глаза и потом заговорила рас-

троганным и добрым голосом:

– Нет, будем справедливы: оба они хорошие!.. И то, что он говорил сейчас, – хорошо. Но ведь это же не для всех.

– Для всех, кто может, – сказал слепой.

– Какие пустяки! – ответила она ясно, хотя в ее голосе вместе с улыбкой слышались еще недавние слезы. – Ведь вот и Максим воевал, пока мог, а теперь живет, как может. Ну, и мы...

– Не говори: *мы!* Ты – совсем другое дело...

– Нет, не другое.

– Почему?

– Потому что... Ну да потому, что ведь ты на мне женишься, и, значит, наша жизнь будет одинакова.

Петр остановился в изумлении.

– Я?... На тебе?... Значит, ты за меня... замуж?

– Ну да, ну да, конечно! – ответила она с торопливым волнением. – Какой ты глупый! Неужели тебе никогда не приходило это в голову? Ведь это же так просто! На ком же тебе и жениться, как не на мне?

– Конечно, – согласился он с каким-то

странным эгоизмом, но тотчас спохватился. – Послушай, Веля, – заговорил он, взяв ее за руку. – Там сейчас говорили: в больших городах девушки учатся всему, перед тобой тоже могла бы открыться широкая дорога... А я...

– Что же ты?

– А я... слепой! – закончил он совершенно нелогично.

И опять ему вспомнилось детство, тихий плеск реки, первое знакомство с Эвелиной и ее горькие слезы при слове „слепой“... Инстинктивно почувствовал он, что теперь опять причиняет ей такую же рану, и остановился. Несколько секунд стояла тишина, только вода тихо и ласково звенела в шлюзах. Эвелины совсем не было слышно, как будто она исчезла. По ее лицу, действительно, пробежала судорога, но девушка овладела собой, и, когда она заговорила, голос ее звучал бесшумно и шутливо.

– Так что же, что слепой? – сказала она, – но ведь если девушка полюбит слепого, так и выходить надо за слепого... Это уж всегда так бывает, что же нам делать?

– Полюбит... – сосредоточенно повторил

он, и брови его сдвинулись, – он вслушивался в новые для него звуки знакомого слова... – Полюбит? – переспросил он с возрастающим волнением...

– Ну да! Ты и я, мы оба любим друг друга... Какой ты глупый! Ну, подумай сам: мог ли бы ты остаться здесь один, без меня?...

Лицо его сразу побледнело, и незрячие глаза остановились, большие и неподвижные.

Было тихо; только вода все говорила о чем-то, журча и звеня. Временами казалось, что этот говор ослабевает и вот-вот стихнет; но тотчас же он опять повышался и опять звенел без конца и перерыва. Густая черемуха шептала темною листвою; песня около дома смолкла, но зато над прудом соловей заводил свою...

– Я бы умер, – сказал он глухо.

Ее губы задрожали, как в тот день их первого знакомства, и она сказала с трудом слабым, детским голосом:

– И я тоже... Без тебя, одна... в далеком свете...

Он сжал ее маленькую руку в своей. Ему казалось странным, что ее тихое ответное по-

жатию так непохоже на прежние: слабое движение ее маленьких пальцев отражалось теперь в глубине его сердца. Вообще, кроме прежней Эвелины, друга его детства, теперь он чувствовал в ней еще какую-то другую, новую девушку. Сам он показался себе могучим и сильным, а она представилась плачущей и слабой. Тогда, под влиянием глубокой нежности, он привлек ее одною рукой, а другою стал гладить ее шелковистые волосы.

И ему казалось, что все горе смолкло в глубине сердца и что у него нет никаких порывов и желаний, а есть только настоящая минута.

Соловей, некоторое время пробовавший свой голос, защелкал и рассыпался по молчаливому саду неистовою трелью. Девушка встрепенулась и застенчиво отвела руку Петра.

Он не противился и, отпустив ее, вздохнул полною грудью. Он слышал, как она оправляет свои волосы. Его сердце билось сильно, но ровно и приятно: он чувствовал, как горячая кровь разносит по всему телу какую-то новую сосредоточенную силу. Когда через минуту



она сказала ему обычным тоном: „Ну, теперь вернемся к гостям“, он с удивлением вслушивался в этот милый голос, в котором звучали совершенно новые ноты.

IX

Гости и хозяева собрались в маленькой гостиной; недоставало только Петра и Эвелины. Максим разговаривал со своим старым товарищем, молодые люди сидели молча у открытых окон; в небольшом обществе господствовало то особенное тихое настроение, в глубине которого ощущается какая-то не для всех ясная, но всеми сознаваемая драма. Отсутствие Эвелины и Петра было как-то особенно заметно. Максим среди разговора кидал короткие выжидающие взгляды по направлению к дверям. Анна Михайловна с грустным и как будто виноватым лицом явно старалась быть внимательною и любезною хозяйкой, и только один пан Попельский, значительно округлевший и как всегда благодушный, дремал на своем стуле в ожидании ужина.

Когда на террасе, которая вела из сада в гостиную, раздались шаги, все глаза повернулись туда. В темном четырехугольнике широ-

ких дверей показалась фигура Эвелины, а за нею тихо подымался по ступенькам слепой.

Молодая девушка почувствовала на себе эти сосредоточенные, внимательные взгляды, однако это ее не смутило. Она прошла через комнату своею обычною ровною поступью, и только на одно мгновение, встретив короткий из-под бровей взгляд Максима, она чуть-чуть улыбнулась, и ее глаза сверкнули вызовом и усмешкой. Пани Попельская вглядывалась в своего сына.

Молодой человек, казалось, шел вслед за девушкой, не сознавая хорошо, куда она ведет его. Когда в дверях показалось его бледное лицо и тонкая фигура, он вдруг приостановился на пороге этой освещенной комнаты. Но затем он перешагнул через порог и быстро, хотя с тем же полурассеянным, полусосредоточенным видом подошел к фортепиано.

Хотя музыка была обычным элементом в жизни тихой усадьбы, но вместе с тем это был элемент интимный, так сказать, чисто домашний. В те дни, когда усадьба наполнялась говором и пением приезжей молодежи, Петр ни разу не подходил к фортепиано, на

котором играл лишь старший из сыновей Ставрученка, музыкант по профессии. Это воздержание делало слепого еще более незаметным в оживленном обществе, и мать с сердечной болью следила за темной фигурой сына, терявшегося среди общего блеска и оживления. Теперь, в первый еще раз, Петр смело и как будто даже не вполне сознательно подходил к своему обычному месту... Казалось, он забыл о присутствии чужих. Впрочем, при входе молодых людей в гостиную стояла такая тишина, что слепой мог считать комнату пустою...

Открыв крышку, он слегка тронул клавиши и пробежал по ним несколькими быстрыми легкими аккордами. Казалось, он о чем-то спрашивал не то у инструмента, не то у собственного настроения.

Потом, вытянув на клавишах руки, он глубоко задумался, и тишина в маленькой гостиной стала еще глубже.

Ночь глядела в черные отверстия окон; кое-где из сада заглядывали с любопытством зеленые группы листьев, освещенных светом лампы. Гости, подготовленные только что

смолкшим смутным рокотом пианино, отчасти охваченные веянием странного вдохновения, витавшего над бледным лицом слепого, сидели в молчаливом ожидании.

А Петр все молчал, приподняв кверху слепые глаза, и все будто прислушивался к чему-то. В его душе подымались, как расколыхавшиеся волны, самые разнообразные ощущения. Прилив неведомой жизни подхватывал его, как подхватывает волна на морском берегу долго и мирно стоявшую на песке лодку... На лице виднелось удивление, вопрос, и еще какое-то особенное возбуждение проходило по нем быстрыми тенями. Слепые глаза казались глубокими и темными.

Одну минуту можно было подумать, что он не находит в своей душе того, к чему прислушивается с таким жадным вниманием. Но потом, хотя все с тем же удивленным видом и все как будто не дождавшись чего-то, он дрогнул, тронул клавиши и, подхваченный новой волной нахлынувшего чувства, отдался весь плавным, звонким и певучим аккордам...

Х

Пользоваться нотами слепому вообще

трудно. Они отдавливаются, как и буквы, рельефом, причем тоны обозначаются отдельными знаками и ставятся в один ряд, как строчки книги. Чтобы обозначить тоны, соединенные в аккорд, между ними ставятся восклицательные знаки. Понятно, что слепому приходится заучивать их наизусть, притом отдельно для каждой руки. Таким образом, это – очень сложная и трудная работа; однако Петру и в этом случае помогала любовь к отдельным составным частям этой работы. Заучив на память по несколько аккордов для каждой руки, он садился за фортепиано, и когда из соединения этих выпуклых иероглифов вдруг неожиданно для него самого складывались стройные созвучия, это доставляло ему такое наслаждение и представляло столько живого интереса, что этим сухая работа скрашивалась и даже завлекала.

Тем не менее между изображенной на бумаге пьесой и ее исполнением ложилось в этом случае слишком много промежуточных процессов. Пока знак воплощался в мелодию, он должен был пройти через руки, закрепиться в памяти и затем совершить обратный

путь к концам играющих пальцев. Притом сильно развитое музыкальное воображение слепого вмешивалось в сложную работу заучивания и налагало на чужую пьесу заметный личный отпечаток. Формы, в какие удалось отлиться музыкальное чувство Петра, были именно те, в каких ему впервые явилась мелодия, в каких отливалась затем игра его матери. Это были формы народной музыки, которые звучали постоянно в его душе, которыми говорила этой душе родная природа.

И теперь, когда он играл какую-то итальянскую пьесу с трепещущим сердцем и переполненной душой, в его игре с первых же аккордов сказалось что-то до такой степени своеобразное, что на лицах посторонних слушателей появилось удивление. Однако через несколько минут очарование овладело всеми безраздельно, и только старший из сыновей Ставрученка, музыкант по профессии, долго еще вслушивался в игру, стараясь уловить знакомую пьесу и анализируя своеобразную манеру пианиста.

Струны звенели и рокотали, наполняя го-
стиную и разносясь по смолкшему саду... Гла-

за молодежи сверкали оживлением и любопытством. Ставрученко-отец сидел, свесив голову, и молчаливо слушал, но потом стал воодушевляться все больше и больше, поталкивал Максима локтем и шептал:

– Вот этот играет, так уж играет. Что? Неправду я говорю?

По мере того как звуки росли, старый спорщик стал вспоминать что-то, должно быть свою молодость, потому что глаза его заискрились, лицо покраснело, весь он выпрямился и, приподняв руку, хотел даже ударить кулаком по столу, но удержался и опустил кулак без всякого звука. Оглядев своих молодцов быстрым взглядом, он погладил усы и, наклонившись к Максиму, прошептал:

– Хотят стариков в архив... Брешут!.. В свое время и мы с тобой, братику, тоже... Да и теперь еще... Правду я говорю или нет?

Максим, довольно равнодушный к музыке, на этот раз чувствовал что-то новое в игре своего питомца и, окружив себя клубами дыма, слушал, качал головой и переводил глаза с Петра на Эвелину. Еще раз какой-то порыв непосредственной жизненной силы врывался

в его систему совсем не так, как он думал... Анна Михайловна тоже кидала на девушку вопросительные взгляды, спрашивая себя: что это, – счастье или горе звучит в игре ее сына... Эвелина сидела в тени от абажура, и только ее глаза, большие и потемневшие, выделялись в полумраке. Она одна понимала эти звуки по-своему: ей слышался в них звон воды в старых шлюзах и шепот черемухи в потемневшей аллее.

XI

Мотив давно уже изменился. Оставив итальянскую пьесу, Петр отдался своему воображению. Тут было все, что теснилось в его воспоминании, когда он, за минуту перед тем, молча и опустив голову прислушивался к впечатлениям из пережитого прошлого. Тут были голоса природы, шум ветра, шепот леса, плеск реки и смутный говор, смолкающий в неизвестной дали. Все это сплеталось и звенело на фоне того особенного глубокого и расширяющего сердце ощущения, которое вызывается в душе таинственным говором природы и которому так трудно подыскать настоящее определение... Тоска?... Но отчего же она так

приятна?... Радость? Но зачем же она так глубоко, так бесконечно грустна?

По временам звуки усиливались, вырастали, крепили. Лицо музыканта делалось странно суровым. Он как будто сам удивлялся новой и для него силе этих неожиданных мелодий и ждал еще чего-то... Казалось, вот-вот несколькими ударами все это сольется в стройный поток могучей и прекрасной гармонии, и в такие минуты слушатели замирали от ожидания. Но, не успев подняться, мелодия вдруг падала с каким-то жалобным ропотом, точно волна, рассыпавшаяся в пену и брызги, и еще долго звучали, замирая, ноты горького недоумения и вопроса.

Слепой смолкал на минуту, и опять в гостиной стояла тишина, нарушаемая только шепотом листьев в саду. Обаяние, овладевавшее слушателями и уносившее их далеко за эти скромные стены, разрушалось, и маленькая комната сдвигалась вокруг них, и ночь глядела к ним в темные окна, пока, собравшись с силами, музыкант не ударял вновь по клавишам.

И опять звуки крепили и искали чего-то,

подымаясь в своей полноте выше, сильнее. В неопределенный перезвон и говор аккордов вплетались мелодии народной песни, звучащей то любовью и грустью, то воспоминанием о минувших страданиях и славе, то молодой удалью разгула и надежды. Это слепой пробовал вылить свое чувство в готовые и хорошо знакомые формы.

Но и песня смолкала, дрожа в тишине маленькой гостиной тою же жалобною нотой неразрешенного вопроса.

XII

Когда последние ноты дрогнули смутным недовольством и жалобой, Анна Михайловна, взглянув в лицо сына, увидала на нем выражение, которое показалось ей знакомым: в ее памяти встал солнечный день давней весны, когда ее ребенок лежал на берегу реки, подавленный слишком яркими впечатлениями от возбуждающей весенней природы.

Но это выражение заметила только она. В гостиной поднялся шумный говор. Ставрченко-отец что-то громко кричал Максиму, молодые люди, еще взволнованные и возбужденные, пожимали руки музыканта, предсказы-

вали ему широкую известность артиста.

– Да, это верно! – подтвердил старший брат. – Вам удалось удивительно усвоить самый характер народной мелодии. Вы сжились с нею и овладели ею в совершенстве. Но скажите, пожалуйста, какую это пьесу играли вы вначале?

Петр назвал итальянскую пьесу.

– Я так и думал, – ответил молодой человек. – Мне она несколько знакома... У вас удивительно своеобразная манера... Многие играют лучше вашего, но так, как вы, ее не исполнял еще никто... Это... как будто перевод с итальянского музыкального языка на мало-русский. Вам нужна серьезная школа, и тогда...

Слепой слушал внимательно. Впервые еще он стал центром оживленных разговоров, и в его душе зарождалось гордое сознание своей силы. Неужели эти звуки, доставившие ему на этот раз столько неудовлетворенности и страдания, как еще никогда в жизни, могут производить на других такое действие? Итак, он может тоже что-нибудь сделать в жизни. Он сидел на своем стуле, с рукой, еще вытяну-

той на клавиатуре, и под шум разговоров внезапно почувствовал на этой руке чье-то горячее прикосновение. Это Эвелина подошла к нему и, незаметно сжимая его пальцы, прошептала с радостным возбуждением:

– Ты слышал? У тебя тоже будет своя работа. Если бы ты видел, если бы знал, что ты можешь сделать со всеми нами...

Слепой вздрогнул и выпрямился.

Никто не заметил этой короткой сцены, кроме матери. Ее лицо вспыхнуло, как будто это ей был дан первый поцелуй молодой любви.

Слепой все сидел на том же месте. Он боролся с нахлынувшими на него впечатлениями нового счастья, а может быть, ощущал также приближение грозы, которая вставала уже бесформенною и тяжелою тучей откуда-то из глубины мозга.

Глава шестая

I

На другой день Петр проснулся рано. В комнате было тихо, в доме тоже не началось еще движение дня. В окно, которое оставалось открытым на ночь, вливалась из сада

свежесть раннего утра. Несмотря на свою слепоту, Петр отлично чувствовал природу. Он знал, что еще рано, что его окно открыто – шорох ветвей раздавался отчетливо и близко, ничем не отдаленный и не прикрытый. Сегодня Петр чувствовал все это особенно ясно: он знал даже, что в комнату смотрит солнце и что если он протянет руку в окно, то с кустов посыплется роса. Кроме того, он чувствовал еще, что все его существо переполнено каким-то новым, неизведанным ощущением.

Несколько минут он лежал в постели, прислушиваясь к тихому щебетанью какой-то птички в саду и к странному чувству, нараставшему в его сердце.

„Что это было со мной?“ – подумал он, и в то же мгновение в его памяти прозвучали слова, которые она сказала вчера, в сумерки, у старой мельницы: „Неужели ты никогда не думал об этом?... Какой ты глупый!..“

Да, он никогда об этом не думал. Ее близость доставляла ему наслаждение, но до вчерашнего дня он не сознавал этого, как мы не ощущаем воздуха, которым дышим. Эти простые слова упали вчера в его душу, как падает

с высоты камень на зеркальную поверхность воды: еще за минуту она была ровна и спокойно отражала свет солнца и синее небо... один удар – и она всколебалась до самого дна.

Теперь он проснулся с обновленной душой, и она, его давняя подруга, являлась ему в новом свете. Вспоминая все, что произошло вчера, до малейших подробностей, он прислушивался с удивлением к тону ее „нового“ голоса, который восстановило в его памяти воображение. „Полюбила“... „Какой ты глупый!..“

Он быстро вскочил, оделся и по росистым дорожкам сада побежал к старой мельнице. Вода журчала, как вчера, и так же шептались кусты черемухи, только вчера было темно, а теперь стояло яркое солнечное утро. И никогда еще он не „чувствовал“ света так ясно. Кажалось, вместе с душистой сыростью, с ощущением утренней свежести в него проникли эти смеющиеся лучи веселого дня, щекотавшие его нервы.

II

Во всей усадьбе стало как-то светлее и радостнее, Анна Михайловна как будто помоло-

дела сама, Максим чаще шутил, хотя все же по временам из облаков дыма, точно раскаты проходящей стороною грозы, раздавалось его ворчание. Он говорил о том, что многие, по-видимому, считают жизнь чем-то вроде плохого романа, кончающегося свадьбой, и что есть на свете много такого, о чем иным людям не мешало бы подумать. Пан Попельский, ставший очень интересным круглым человеком, с ровно и красиво седеющими волосами и румяным лицом, всегда в этих случаях соглашался с Максимом, вероятно принимая эти слова на свой счет, и тотчас же отправлялся по хозяйству, которое у него, впрочем, шло отлично. Молодые люди усмехались и строили какие-то планы. Петру предстояло доканчивать серьезно свое музыкальное образование.

Однажды осенью, когда жнива были уже закончены и над полями, сверкая золотыми нитками на солнце, лениво и томно носилось „бабье лето“, Попельские всей семьей отправились к Ставрученкам. Имение Ставруково лежало верстах в семидесяти от Попельских, но местность на этом расстоянии сильно ме-

нялась: последние отроги Карпат, еще видные на Волыни и в Прибужье, исчезли, и местность переходила в степную Украину. На этих равнинах, перерезанных кое-где оврагами, лежали, утопая в садах и левадах[57], села, и кое-где по горизонту, давно запаханные и охваченные желтыми жнивами, рисовались высокие могилы.

Такие далекие путешествия были вообще не в обычае семьи. За пределами знакомого села и ближайших полей, которые он изучил в совершенстве, Петр терялся, больше чувствовал свою слепоту и становился раздражителен и беспокоен. Теперь, впрочем, он охотно принял приглашение. После памятного вечера, когда он сознал сразу свое чувство и просыпающуюся силу таланта, он как-то смелее относился к темной и неопределенной дали, которою охватывал его внешний мир. Она начинала тянуть его, все расширяясь в его воображении.

Несколько дней промелькнули очень живо. Петр чувствовал себя теперь гораздо свободнее в молодом обществе. Он с жадным вниманием слушал умелую игру старшего

Ставрученка и рассказы о консерватории, о столичных концертах. Его лицо вспыхивало каждый раз, когда молодой хозяин переходил к восторженным похвалам его собственному, необработанному, но сильному музыкальному чувству. Теперь он уже не стушевывался в дальних углах, а, как равный, хотя и несколько сдержанно, вмешивался в общие разговоры. Недавняя еще холодная сдержанность и как бы настороженность Эвелины тоже исчезла. Она держала себя весело и непринужденно, восхищая всех небывалыми прежде вспышками неожиданного и яркого веселья.

Верстах в десяти от имения находился старый N-ский монастырь, очень известный в том крае. Когда-то он играл значительную роль в местной истории; не раз его осаждали, как саранча, загоны татар, посылавших через стены тучи своих стрел, порой пестрые отряды поляков отчаянно лезли на стены или, наоборот, казаки бурно кидались на приступ, чтобы отбить твердыню у завладевших ею королевских жолнеров...[58] Теперь старые башни осыпались, стены кое-где заменились простым частоколом, защищавшим лишь мона-

стырские огороды от нашествия предприимчивой мужицкой скотины, а в глубине широких рвов росло просо.

Однажды, в ясный день ласковой и поздней осени, хозяева и гости отправились в этот монастырь. Максим и женщины ехали в широкой старинной коляске, качавшейся, точно большая ладья, на своих высоких рессорах. Молодые люди – и Петр в том числе – отправились верхами.

Слепой ездил ловко и свободно, привыкнув прислушиваться к топоту других коней и к шуршанию колес едущего впереди экипажа. Глядя на его свободную, смелую посадку, трудно было бы угадать, что этот всадник не видит дороги и лишь привык так смело отдаваться инстинкту лошади. Анна Михайловна сначала робко оглядывалась, боясь чужой лошади и незнакомых дорог, Максим посматривал искоса с гордостью ментора[59] и с насмешкой мужчины над бабьими страхами.

– Знаете ли... – сказал, подъезжая к коляске, студент. – Мне вот сейчас вспомнилась очень интересная могила, историю которой мы узнали, роясь в монастырском архиве. Ес-

ли хотите, мы свернем туда. Это недалеко, на краю села.

– Отчего же это вам приходят в нашем обществе такие грустные воспоминания? – весело засмеялась Эвелина.

– На этот вопрос отвечу после! Сворачивай к Колодне, к леваде Остапа; тут у перелаза остановишься! – крикнул он кучеру и, повернув лошадь, поскакал к своим отставшим товарищам.

Через минуту, когда рыдван, шурша колесами в мягкой пыли и колыхаясь, ехал узким проселком, молодые люди пронесли мимо него и спешили впереди, привязав лошадей у плетня. Двое из них пошли навстречу, чтобы помочь дамам, а Петр стоял, опершись на луку седла, и, по обыкновению склонив голову, прислушивался, стараясь по возможности определить свое положение в незнакомом месте.

Для него этот светлый осенний день был темною ночью, только оживленной яркими звуками дня. Он слышал на дороге шуршание приближающейся кареты и веселые шутки встречавшей ее молодежи. Около него лоша-

ди, звеня стальными наборами уздечек, тянули головы за плетень, к высокому бурьяну огорода... Где-то недалеко, вероятно над грядами, слышалась тихая песня, лениво и задумчиво веявшая по легкому ветру. Шелестели листья сада, где-то скрипел аист, слышалось хлопанье крыльев и крик как будто внезапно о чем-то вспомнившего петуха, легкий визг „журавля“ над колодцем, – во всем этом сказывалась близость деревенского рабочего дня.

И действительно, они остановились у плетня крайнего сада... Из более отдаленных звуков господствующим был размеренный звон монастырского колокола, высокий и тонкий. По звуку ли этого колокола, по тому ли, как тянул ветер, или еще по каким-то, может быть, и ему самому неизвестным, признакам, Петр чувствовал, что где-то в той стороне, за монастырем, местность внезапно обрывается, быть может над берегом речки, за которой далеко раскинулась равнина с неопределенными, трудно уловимыми звуками тихой жизни. Звуки эти долетали до него отрывочно и слабо, давая ему слуховое ощу-

щение дали, в которой мелькает что-то затянутое, неясное, как для нас мелькают очертания далее в вечернем тумане...

Ветер шевелил прядь волос, свесившуюся из-под его шляпы, и тянулся мимо его уха, как протяжный звон золотой арфы[60]. Какие-то смутные воспоминания бродили в его памяти; минуты из далекого детства, которые воображение выхватывало из забвения прошлого, оживали в виде веяний, прикосновений и звуков... Ему казалось, что этот ветер, смешанный с дальним звоном и обрывками песни, говорит ему какую-то грустную старую сказку о прошлом этой земли, или о его собственном прошлом, или о его будущем, неопределенном и темном.

Через минуту подъехала коляска, все вышли и, переступив через перелаз в плетне, пошли в леваду. Здесь, в углу, заросшая травой и бурьяном, лежала широкая, почти вросшая в землю каменная плита. Зеленые листья репейника с пламенно-розовыми головками цветов, широкий лопух, высокий куколь на тонких стеблях выделялись из травы и тихо качались от ветра, и Петру был слышен их

смутный шепот над заросшею могилой.

– Мы только недавно узнали о существовании этого памятника, – сказал молодой Ставрученко, – а между тем знаете ли, кто лежит под ним? Славный когда-то „лицарь“, старый ватажко[61] Игнат Карый...

– Так вот ты где успокоился, старый разбойник? – сказал Максим задумчиво. – Как он попал сюда, в Колодню?

– В 17... году казаки с татарами осаждали этот монастырь, занятый польскими войсками... Вы знаете, татары были всегда опасными союзниками... Вероятно, осажденным удалось как-нибудь подкупить мирзу, и ночью татары кинулись на казаков одновременно с поляками. Здесь, около Колодни, произошла в темноте жестокая сеча. Кажется, что татары были разбиты и монастырь все-таки взят, но казаки потеряли в ночном бою своего атамана.

– В этой истории, – продолжал молодой человек задумчиво, – есть еще другое лицо, хоть мы напрасно искали здесь другой плиты. Судя по старой записи, которую мы нашли в монастыре, рядом с Карым похоронен молодой

бандурист... слепой, сопровождавший атаман в походах...

– Слепой? в походах? – испуганно произнесла Анна Михайловна, которой сейчас же представился ее мальчик в страшной ночной сече.

– Да, слепой. По-видимому, это был славный на Запорожье певец... так, по крайней мере, говорит о нем запись, излагающая на своеобразном польско-малорусско-церковном языке всю эту историю. Позвольте, я, кажется, помню ее на память: „А с ним славетный поэта Казацкий Юрко нигды не оставлявший Караго и от щирого сердца оным любимый. Которого убивши сила поганьская и того Юрка посекала нечестно, обычаем своей поганьской веры не маючи зваги на калецтво и великий талант до складу песенного и до gry струнной, од якої даже и волцы на степу размягчиться могли б, но поганьцы не пошановали в ночном нападе. И тут положены рядом певец и рыцарь, коим по честным конце не заводная и вечная слава во веки аминь...“

– Плита довольно широкая, – сказал кто-то. – Может быть, они лежат здесь оба...

– Да, в самом деле, но надписи съедены мхами... Посмотрите, вот вверху булава и бунчук[62]. А дальше все зелено от лишаяев.

– Пойдите, – сказал Петр, слушавший весь рассказ с захватывающим волнением.

Он подошел к плите, нагнулся над нею, и его тонкие пальцы впились в зеленый слой лишайников на поверхности плиты. Сквозь него он прощупывал твердые выступы камня.

Так он сидел с минуту, с поднятым лицом и сдвинутыми бровями. Потом он начал читать:

– „Игнатий прозванием Карий... року Божого... пострелен из сайдака стрелою татарскою...“

– Это и мы могли еще разобрать, – сказал студент.

Пальцы слепого, нервно напряженные и изогнутые в суставах, спускались все ниже.

– „Которого убивши...“

– „Сила поганьская...“ – живо подхватил студент, – эти слова стояли в описании смерти Юрка... значит, правда: и он тут же под одной плитой.

– Да, – „сила поганьская“, – прочитал Петр, – дальше все исчезло... Постоите, вот еще: „порубан шаблями татарскими“... кажется, еще какое-то слово... но нет, больше ничего не сохранилось.

Действительно, дальше всякая память о бандуристе терялась в широкой язве полустолетней плиты...

Несколько секунд стояло глубокое молчание, нарушаемое только шорохом листьев. Оно было прервано протяжным благоговейным вздохом. Это Остап, хозяин левады и собственник по праву давности последнего жилища старого атамана, подошел к господам и с великим удивлением смотрел, как молодой человек с неподвижными глазами, устремленными кверху, разбирал оцупью слова, скрытые от зрячих сотнями годов, дождями и непогодами.

– Сыла Господня, – сказал он, глядя на Петра с благоговением. – Сыла Божая открываемое слипенькому, чего зрячий не бачуть очима.

– Понимаете ли теперь, панночка, почему мне вспомнился этот Юрко-бандурист? –

спросил студент, когда старая коляска опять тихо двигалась по пыльной дороге, направляясь к монастырю. – Мы с братом удивлялись, как мог слепой сопровождать Карого с его летучими отрядами. Допустим, что в то время он был уже не кошевой, а просто ватажко. Известно, однако, что он всегда начальствовал отрядом конных казаков-охотников, а не простыми гайдамаками. Обыкновенно бандуристы были старцы нищие, ходившие от села к селу с сумой и песней... Только сегодня, при взгляде на вашего Петра, в моем воображении как-то сразу встала фигура слепого Юрка, с бандурой, вместо рушницы[63], за спиной и верхом на лошади...

– И, может быть, он участвовал в битвах... В походах во всяком случае и в опасностях также... – продолжал молодой человек задумчиво. – Какие бывали времена на нашей Украине!

– Как это ужасно, – вздохнула Анна Михайловна.

– Как это было хорошо, – возразил молодой человек...

– Теперь ничего подобного не бывает, –

резко сказал Петр, подъехавший тоже к экипажу. Подняв брови и насторожившись к топоту соседних лошадей, он заставил свою лошадь идти рядом с коляской... Его лицо было бледнее обыкновенного, выдавая глубокое внутреннее волнение... – Теперь все это уже исчезло, – повторил он.

– Что должно было исчезнуть – исчезло, – сказал Максим как-то холодно... – Они жили по-своему, вы ищете своего...

– Вам хорошо говорить, – ответил студент, – вы взяли свое у жизни...

– Ну, и жизнь взяла у меня мое, – усмехнулся старый гарибальдиец, глядя на свои костыли.

Потом, помолчав, он прибавил:

– Вздыхал и я когда-то о сечи, об ее бурной поэзии и воле... Был даже у Садыка в Турции [64].

– И что же? – спросили молодые люди живо.

– Вылечился, когда увидел ваше „вольное казачество“ на службе у турецкого деспотизма... Исторический маскарад и шарлатанство!.. Я понял, что история выкинула уже

всю эту ветошь на задворки и что главное не в этих красивых формах, а в целях... Тогда-то я отправился в Италию. Даже не зная языка этих людей, я был готов умереть за их стремления.

Максим говорил серьезно и с какою-то искренней важностью. В бурных спорах, которые происходили у отца Ставрученка с сыновьями, он обыкновенно не принимал участия и только посмеивался, благодушно улыбаясь на апелляции к нему молодежи, считавшей его своим союзником. Теперь, сам затронутый отголосками этой трогательной драмы, так внезапно ожившей для всех над старым мшистым камнем, он чувствовал, кроме того, что этот эпизод из прошлого странным образом коснулся в лице Петра близкого им всем настоящего.

На этот раз молодые люди не возражали, – может быть, под влиянием живого ощущения, пережитого за несколько минут в леваде Остапа, – могильная плита так ясно говорила о смерти прошлого, – а быть может, под влиянием импонирующей искренности старого ветерана...

– Что же остается нам? – спросил студент после минутного молчания.

– Та же вечная борьба.

– Где? В каких формах?

– Ищите, – ответил Максим кратко.

Раз оставив свой обычный, слегка насмешливый тон, Максим, очевидно, был расположен говорить серьезно. А для серьезного разговора на эту тему теперь уже не оставалось времени... Коляска подъехала к воротам монастыря, и студент, наклонясь, придержал за повод лошадь Петра, на лице которого, как в открытой книге, виднелось глубокое волнение.

III

В монастыре обыкновенно смотрели старинную церковь и взбирались на колокольню, откуда открывался далекий вид. В ясную погоду старались увидеть белые пятнышки губернского города и излучины Днепра на горизонте.

Солнце уже склонялось, когда маленькое общество подошло к запертой двери колокольни, оставив Максима на крыльце одной из монашеских келий. Молодой тонкий по-

слушник, в рясе и остроконечной шапке, стоял под сводом, держась одной рукой за замок запертой двери... Невдалеке, точно распуганная стая птиц, стояла кучка детей; было видно, что между молодым послушником и этой стайкой резвых ребят происходило недавно какое-то столкновение. По его несколько воинственной позе и по тому, как он держался за замок, можно было заключить, что дети хотели проникнуть на колокольню вслед за господами, а послушник отгонял их. Его лицо было сердито и бледно, только на щеках пятнами выделялся румянец.

Глаза молодого послушника были как-то странно неподвижны... Анна Михайловна первая заметила выражение этого лица и глаз и нервно схватила за руку Эвелину.

– Слепой, – прошептала девушка с легким испугом.

– Тише, – ответила мать, – и еще... Ты замечаешь?

– Да...

Трудно было не заметить в лице послушника странного сходства с Петром. Та же нервная бледность, те же чистые, но непо-

движные зрачки, то же беспокойное движение бровей, настораживавшихся при каждом новом звуке и бегавших над глазами, точно щупальцы у испуганного насекомого... Его черты были грубее, вся фигура угловатее, – но тем резче выступало сходство. Когда он глухо закашлялся, схватившись руками за впалую грудь, Анна Михайловна смотрела на него широко раскрытыми глазами, точно перед ней вдруг появился призрак...

Перестав кашлять, он отпер дверь и, остановясь на пороге, спросил несколько надтреснутым голосом:

– Ребят нет? Кышь, проклятые! – мотнулся он в их сторону всем телом и потом, пропуская вперед молодых людей, сказал голосом, в котором слышалась какая-то вкрадчивость и жадность: – Звонарю пожертвуете сколько-нибудь?... Идите осторожно, – темно...

Все общество стало подыматься по ступеням. Анна Михайловна, которая прежде колебалась перед неудобным и крутым подъемом, теперь с какою-то покорностью пошла за другими.

Слепой звонарь запер дверь... Свет исчез, и

лишь через некоторое время Анна Михайловна, робко стоявшая внизу, пока молодежь, толкаясь, подымалась по извилинам лестницы, – могла разглядеть тусклую струйку сумеречного света, лившуюся из какого-то косого пролета в толстой каменной кладке. Против этого луча слабо светилось несколько пыльных, неправильной формы камней.

– Дядько, дядюшка, пустить, – раздались из-за двери тонкие голоса детей. – Пустить, дядюшка, хороший!

Звонарь сердито кинулся к двери и неистово застучал кулаками по железной обшивке.

– Пошли, пошли, проклятые... Чтоб вас громом убило! – кричал он, хрипя и как-то захлебываясь от злости...

– Слепой черт, – ответили вдруг несколько звонких голосов, и за дверью раздался быстрый топот десятка босых ног...

Звонарь прислушался и перевел дух.

– Погибели на вас нет... на проклятых... чтоб вас всех передушила хвороба... Ох, Господи! Господи ты Боже мой! Вскую мя оставил еси... – сказал он вдруг совершенно другим голосом, в котором слышалось отчаяние

исстрадавшегося и глубоко измученного человека.

– Кто здесь?... Зачем остался? – резко спросил он, наткнувшись на Анну Михайловну, застывшую у первых ступенек.

– Идите, идите. Ничего, – прибавил он мягче. – Пойдите, держитесь за меня... Пожертвование с вашей стороны звонарю будет? – опять спросил он прежним неприятно вкрадчивым тоном.

Анна Михайловна вынула из кошелька и в темноте подала ему бумажку. Слепой быстро выхватил ее из протянутой к нему руки, и под тусклым лучом, к которому они уже успели подняться, она видела, как он приложил бумажку к щеке и стал водить по ней пальцем. Странно освещенное и бледное лицо, так похожее на лицо ее сына, исказилось вдруг выражением наивной и жадной радости.

– Вот за это спасибо, вот спасибо. Столбовка[65] настоящая... Я думал – вы на смех... посмеяться над слепеньким... Другие, бывают, смеются...

Все лицо бедной женщины было залито слезами. Она быстро отерла их и пошла квер-

ху, где, точно падение воды за стеной, слышались гулкие шаги и смешанные голоса опередившей ее компании.

На одном из поворотов молодые люди остановились. Они поднялись уже довольно высоко, и в узкое окно, вместе с более свежим воздухом, проникла более чистая, хотя и рассеянная струйка света. Под ней на стене, довольно гладкой в этом месте, роились какие-то надписи. Это были по большей части имена посетителей.

Обмениваясь веселыми замечаниями, молодые люди находили фамилии своих знакомых.

– А вот и сентенция, – заметил студент и прочитал с некоторым трудом: – „Мнози суть начинающии, кончающии же вмале...“ Очевидно, дело идет об этом восхождении, – прибавил он шутливо.

– Понимай как хочешь, – грубо ответил звонарь, поворачиваясь к нему ухом, и его брови заходили быстро и тревожно. – Тут еще стих есть, пониже. Вот бы тебе прочитать...

– Где стих? Нет никакого стиха.

– Ты вот знаешь, что нет, а я тебе говорю,

что есть. От вас, зрячих, тоже сокрыто многое...

Он спустился на две ступеньки вниз и, пошарив рукой в темноте, где уже терялись последние слабые отблески дневного луча, сказал:

– Вот тут. Хороший стих, да без фонаря не прочитаете...

Петр поднялся к нему и, проведя рукой по стене, легко разыскал суровый афоризм, врезаемый в стену каким-то, может быть более столетия уже умершим, человеком:

*Помни смертный час,
Помни трубный глас,
Помни с жизнью разлуку,
Помни вечную муку...*

– Тоже сентенция, – попробовал пошутить студент Ставрученко, но шутка как-то не вышла.

– Не нравится, – ехидно сказал звонарь. – Конечно, ты еще человек молодой, а тоже... кто знает. Смертный час приходит, яко тать в нощи[66]... Хороший стих, – прибавил он опять как-то по-другому... – „Помни смертный час, помни трубный глас...“ Да, что-то вот там

будет, – закончил он опять довольно злобно.

Еще несколько ступеней, и они все вышли на первую площадку колокольни. Здесь было уже довольно высоко, но отверстие в стене вело еще более неудобным проходом выше. С последней площадки вид открылся широкий и восхитительный. Солнце склонилось на запад к горизонту, по низине легла длинная тень, на востоке лежала тяжелая туча, даль терялась в вечерней дымке, и только кое-где косые лучи выхватывали у синих теней то белую стену мазаной хатки, то загоревшееся рубином оконце, то живую искорку на кресте дальней колокольни.

Все притихли. Высокий ветер, чистый и свободный от испарений земли, тянулся в пролеты, шевеля веревки, и, заходя в самые колокола, вызывал по временам протяжные отголоски. Они тихо шумели глубоким металлическим шумом, за которым ухо ловило что-то еще, точно отдаленную невнятную музыку или глубокие вздохи меди. От всей расстилавшейся внизу картины веяло тихим спокойствием и глубоким миром.

Но тишина, водворившаяся среди неболь-

шого общества, имела еще другую причину. По какому-то общему побуждению, вероятно вытекавшему из ощущения высоты и своей беспомощности, оба слепые подошли к углам пролетов и стали, опершись на них обеими руками, повернув лица навстречу тихому вечернему ветру.

Теперь ни от кого уже не ускользнуло странное сходство. Звонарь был несколько старше; широкая ряса висела складками на тощем теле, черты лица были грубее и резче. При внимательном взгляде в них проступали и различия: звонарь был блондин, нос у него был несколько горбатый, губы тоньше, чем у Петра. Над губами пробивались усы, и кудрявая бородка окаймляла подбородок. Но в жестах, в нервных складках губ, в постоянном движении бровей было то удивительное, как бы родственное сходство, вследствие которого многие горбуны тоже напоминают друг друга лицом, как братья.

Лицо Петра было несколько спокойнее. В нем виднелась привычная грусть, которая у звонаря усиливалась острою желчностью и порой озлоблением. Впрочем, теперь и он, ви-

димо, успокаивался. Ровное веяние ветра как бы разглаживало на его лице все морщины, разливая по нем тихий мир, лежавший на всей скрытой от незрячих взоров картине... Брови шевелились все тише и тише...

Но вот они опять дрогнули одновременно у обоих, как будто оба слышали внизу какой-то звук из долины, не слышный никому другому.

– Звонят, – сказал Петр.

– Это у Егорья за пятнадцать верст, – пояснил звонарь. – У них всегда на полчаса раньше нашего вечера... А ты слышишь? Я тоже слышу, – другие не слышат...

– Хорошо тут, – продолжал он мечтательно. – Особливо в праздник. Слышали вы, как я звоню?

В вопросе звучало наивное тщеславие.

– Приезжайте послушать. Отец Памфилий... Вы не знаете отца Памфилия? Он для меня нарочито эти два подголоска выписал.

Он отделился от стены и любовно погладил рукой два небольших колокола, еще не успевших потемнеть, как другие.

– Славные подголоски... Так тебе и поют,

так и поют... Особливо под Пасху.

Он взял в руки веревки и быстрыми движениями пальцев заставил задрожать оба колокола мелкою мелодическою дробью; прикосновения языков были так слабы и вместе так отчетливы, что перезвон был слышен всем, но звук, наверное, не распространялся дальше площадки колокольни.

– А тут тебе вот этот – бу-ух, бу-ух, бу-ух...

Теперь его лицо осветилось детской радостью, в которой, однако, было что-то жалкое и больное.

– Колокола-то вот выписал, – сказал он со вздохом, – а шубу новую не сошьет. Скупой! Простыл я на колокольне... Осенью всего хуже... Холодно...

Он остановился и, прислушавшись, сказал:

– Хромой вас кличет снизу. Ступайте, пора вам.

– Пойдем, – первая поднялась Эвелина, до тех пор неподвижно глядевшая на звонаря, точно замороженная.

Молодые люди двинулись к выходу, звонарь остался наверху. Петр, шагнувший было вслед за матерью, круто остановился.

– Идите, – сказал он ей повелительно. – Я сейчас.

Шаги стихли, только Эвелина, пропустившая вперед Анну Михайловну, осталась, прижавшись к стене и затаив дыхание.

Слепые считали себя одинокими на вышке. Несколько секунд они стояли, одинокие и неподвижные, к чему-то прислушиваясь.

– Кто здесь? – спросил затем звонарь.

– Я...

– Ты тоже слепой?

– Слепой. А ты давно ослеп? – спросил Петр.

– Родился таким, – ответил звонарь. – Вот другой есть у нас, Роман, – тот семи лет ослеп... А ты ночь ото дня отличить можешь ли?

– Могу.

– И я могу. Чувствую, брезжит. Роман не может, а ему все-таки легче.

– Почему легче? – живо спросил Петр.

– Почему? Не знаешь почему? Он свет видал, свою матку помнит. Понял ты: заснет ночью, она к нему во сне и приходит... Только она старая теперь, а снится ему все молодая...

А тебе снится ли?

– Нет, – глухо ответил Петр.

– То-то нет. Это дело бывает, когда кто ослеп. А кто уж так родился!..

Петр стоял сумрачный и потемневший, точно на лицо его надвинулась туча. Брови звонаря тоже вдруг поднялись высоко над глазами, в которых виднелось так знакомое Эвелине выражение слепого страдания...

– И то согрешаешь не однажды... Господи, Создателю, Божья Матерь, Пречистая!.. Дайте вы мне хоть во сне один раз свет-радость увидеть...

Лицо его передернулось судорогой, и он сказал с прежним желчным выражением:

– Так нет, не дают... Приснится что-то, забрезжит, а встанешь, не помнишь...

Он вдруг остановился и прислушался. Лицо его побледнело, и какое-то судорожное выражение исказило все черты.

– Чертенят впустили, – сказал он со злостью в голосе.

Действительно, снизу из узкого прохода, точно шум наводнения, неслись шаги и крики детей. На одно мгновение все стихло, веро-

ятно, толпа выбежала на среднюю площадку, и шум выливался наружу. Но затем темный проход загудел, как труба, и мимо Эвелины, перегоняя друг друга, пронеслась веселая гурьба детей. У верхней ступеньки они остановились на мгновение, но затем один за другим стали шмыгать мимо слепого звонаря, который с искаженным от злобы лицом совал наудачу сжатыми кулаками, стараясь попасть в кого-нибудь из бежавших.

В проходе вынырнуло вдруг из темноты новое лицо. Это был, очевидно, Роман. Лицо его было широко, изрыто оспой и чрезвычайно добродушно. Закрытые веки скрывали впадины глаз, на губах играла добродушная улыбка. Пройдя мимо прижавшейся к стене девушки, он поднялся на площадку. Размахнувшаяся рука его товарища попала ему сбоку в шею.

– Брат! – окликнул он приятным, грудным голосом. – Егорий, опять воюешь?

Они столкнулись и ощупали друг друга.

– Зачем бисенят впустил? – спросил Егорий по-малорусски, все еще со злостью в голосе.

– Нехай соби, – благодушно ответил Ро-

ман. – Пташки Божии. Ось як ты их налякав. Де вы тут, бисенята?...

Дети сидели по углам у решеток, притаившись, и их глаза сверкали лукавством, а отчасти страхом.

Эвелина, неслышно ступая в темноте, сошла уже до половины первого прохода, когда за ней раздались уверенные шаги обоих слепых, а сверху донесся радостный визг и крики ребят, кинувшихся целою стаей на оставшегося с ними Романа.

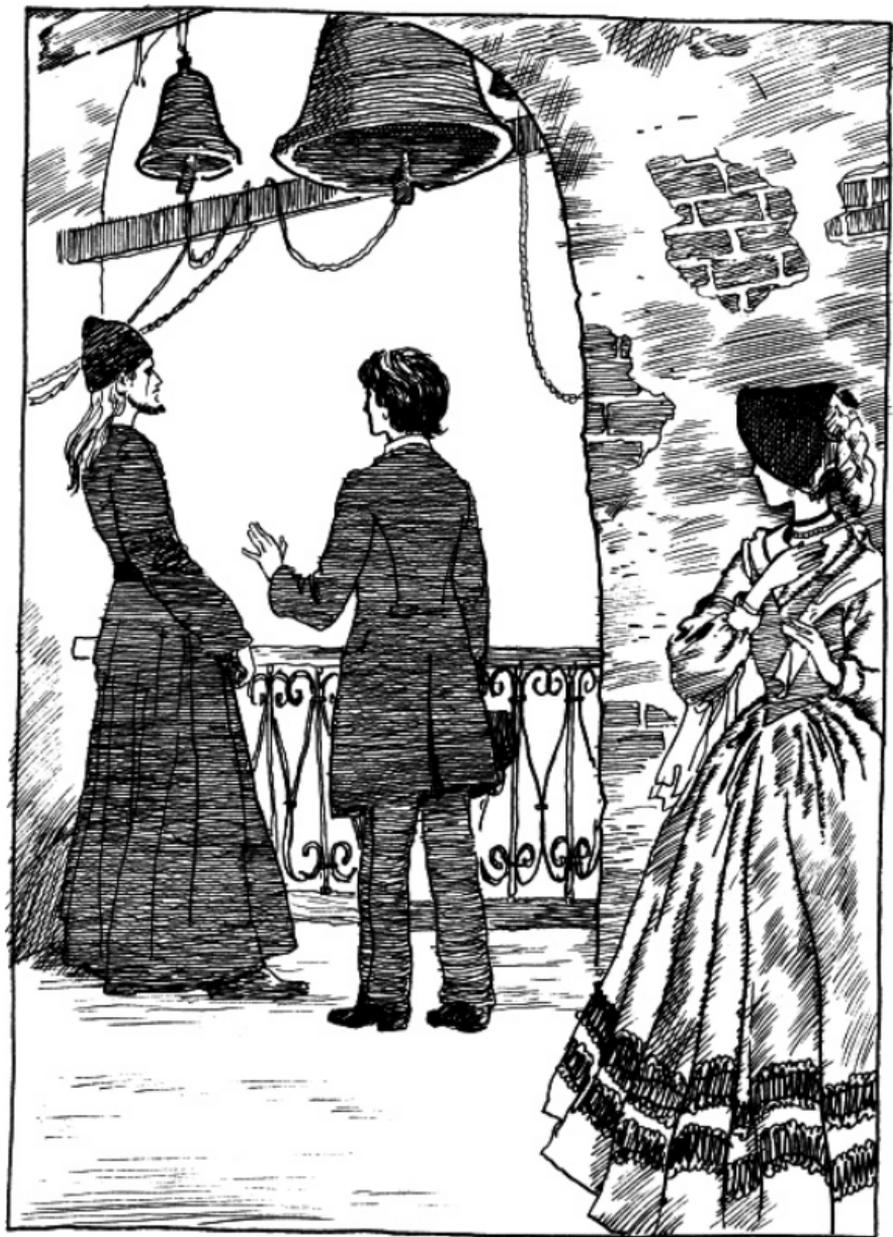
Компания тихо выезжала из монастырских ворот, когда с колокольни раздался первый удар. Это Роман зазвонил к вечерне.

Солнце село, коляска катилась по потемневшим полям, провожаемая ровными меланхолическими ударами, замиравшими в синих сумерках вечера.

Все молчали всю дорогу до самого дома. Вечером долго не было видно Петра. Он сидел где-то в темном углу сада, не откликаясь на призывы даже Эвелины, и прошел ощупью в комнату, когда все легли...

IV

Попельские прожили еще несколько дней



у Ставрученков. К Петру по временам возвращалось его недавнее настроение, он бывал оживлен и по-своему весел, пробовал играть на новых для него инструментах, коллекция которых у старшего из сыновей Ставрученка была довольно обширна и которые очень занимали Петра – каждый со своим особенным голосом, способным выражать особенные оттенки чувства. Но все же в нем была заметна какая-то омраченность, и минуты обычного состояния духа казались вспышками на общем все более темнеющем фоне.

Точно по безмолвному уговору, никто не возвращался к эпизоду в монастыре, и вся эта поездка как будто выпала у всех из памяти и забылась. Однако было заметно, что она запала глубоко в сердце слепого. Всякий раз, оставшись наедине или в минуты общего молчания, когда его не развлекали разговоры окружающих, Петр глубоко задумывался, и на лице его ложилось выражение какой-то горечи. Это было знакомое всем выражение, но теперь оно казалось более резким и... сильно напоминало слепого звонаря...

За фортепиано, в минуты наибольшей

непосредственности, в его игру часто вплелся теперь мелкий перезвон колоколов и протяжные вздохи меди на высокой колокольне... И то, о чем никто не решался заговорить, ясно вставало у всех в воображении: мрачные переходы, тонкая фигура звонаря с чахоточным румянцем, его злые окрики и желчный ропот на судьбу... А затем оба слепца в одинаковых позах на вышке, с одинаковым выражением лиц, с одинаковыми движениями чутких бровей... То, что близкие до сих пор считали личной особенностью Петра, теперь являлось общей печатью темной стихии, простиравшей свою таинственную власть одинаково на всех своих жертв.

– Послушай, Аня, – спросил Максим у сестры по возвращении домой. – Не знаешь ли ты, что случилось во время нашей поездки? Я вижу, что мальчик изменился именно с этого дня.

– Ах, это все из-за встречи со слепым, – ответила Анна Михайловна со вздохом.

Она недавно еще отослала в монастырь две теплых бараньи шубы и деньги с письмом к отцу Памфилию, прося его облегчить

по возможности участь обоих слепцов. У нее вообще было доброе сердце, но сначала она забыла о Романе, и только Эвелина напомнила ей, что следовало позаботиться об обоих. „Ах, да, да, конечно“, – ответила Анна Михайловна, но было видно, что ее мысли заняты одним. К ее жгучей жалости примешивалось отчасти суеверное чувство: ей казалось, что этой жертвой она умилюстит какую-то темную силу, уже надвигающуюся мрачною тенью над головой ее ребенка.

– С каким слепым? – переспросил Максим с удивлением.

– Да с этим... на колокольне...

Максим сердито стукнул костылем.

– Какое проклятье – быть безногим чурбаном! Ты забываешь, что я не лазаю по колокольням, а от баб, видно, не добьешься толку. Эвелина, попробуй хоть ты сказать разумно, что же такое было на колокольне?

– Там, – тихо ответила тоже побледневшая за эти дни девушка, – есть слепой звонарь... И он...

Она остановилась. Анна Михайловна закрыла ладонями пылающее лицо, по которо-

му текли слезы.

– И он очень похож на Петра.

– И вы мне ничего не сказали! Ну, что же дальше? Это еще недостаточная причина для трагедий, Аня, – прибавил он с мягким укором.

– Ах, это так ужасно, – ответила Анна Михайловна тихо.

– Что же ужасно? Что он похож на твоего сына?

Эвелина многозначительно посмотрела на старика, и он смолк. Через несколько минут Анна Михайловна вышла, а Эвелина осталась со своей всегдашней работой в руках.

– Ты сказала не все? – спросил Максим после минутного молчания.

– Да. Когда все сошли вниз, Петр остался. Он велел тете Ане (она так называла Попельскую с детства) уйти за всеми, а сам остался со слепым. И я... тоже осталась.

– Подслушивать? – сказал старый педагог почти машинально.

– Я не могла... уйти... – ответила Эвелина тихо. – Они разговаривали друг с другом, как...

– Как товарищи по несчастью?

– Да, как слепые... Потом Егор спросил у Петра, видит ли он во сне мать? Петр говорит: „Не вижу“. И тот тоже не видит. А другой слепец, Роман, видит во сне свою мать молодой, хотя она уже старая...

– Так! Что же дальше?

Эвелина задумалась и потом, поднимая на старика свои синие глаза, в которых теперь виднелась борьба и страдание, сказала:

– Тот, Роман, добрый и спокойный. Лицо у него грустное, но не злое... Он родился зрячим... А другой... Он очень страдает, – вдруг свернула она.

– Говори, пожалуйста, прямо, – нетерпеливо перебил Максим, – другой озлоблен?

– Да. Он хотел прибить детей и проклинал их. А Романа дети любят...

– Зол и похож на Петра... понимаю, – задумчиво сказал Максим.

Эвелина еще помолчала и затем, как будто эти слова стоили ей тяжелой внутренней борьбы, проговорила совсем тихо:

– Лицом оба не похожи... черты другие. Но в выражении... Мне казалось, что прежде у

Петра бывало выражение немножко как у Романа, а теперь все чаще виден тот, другой... и еще... Я боюсь, я думаю...

– Чего ты боишься? Поди сюда, моя умная крошка, – сказал Максим с необычной нежностью. И, когда она, ослабевая от этой ласки, подошла к нему со слезами на глазах, он погладил ее шелковистые волосы своей большой рукой и сказал: – Что же ты думаешь? Скажи. Ты, я вижу, умеешь думать.

– Я думаю, что... он считает теперь, что... все слепорожденные злые... И он уверил себя, что он тоже... непременно.

– Да, вот что... – проговорил Максим, вдруг отнимая руку... – Дай мне мою трубку, голубушка... Вон она там, на окне.

Через несколько минут над его головой взвилось синее облако дыма.

– Гм... да... плохо, – ворчал он про себя... – Я ошибся, Аня была права: можно грустить и страдать о том, чего не испытал ни разу. А теперь к инстинкту присоединилось сознание, и оба пойдут в одном направлении. Проклятый случай... А впрочем, шила, как говорится, в мешке не спрячешь... Все где-нибудь выста-

ВИТСЯ...

Он совсем потонул в сизых облаках... В квадратной голове старика кипели какие-то мысли и новые решения.

V

Пришла зима. Выпал глубокий снег и покрыл дороги, поля, деревни. Усадьба стояла вся белая, на деревьях лежали пушистые хлопья, точно сад опять распустился белыми листьями... В большом камине потрескивал огонь, каждый входящий со двора вносил с собою свежесть и запах мягкого снега...

Поэзия первого зимнего дня была по-своему доступна слепому. Просыпаясь утром, он ощущал всегда особенную бодрость и узнавал приход зимы по топанию людей, входящих в кухню, по скрипу дверей, по острым, едва уловимым струйкам, разбегавшимся по всему дому, по скрипу шагов на дворе, по особенной „холодности“ всех наружных звуков. И когда он выезжал с Иохимом по первопутку в поле, то слушал с наслаждением звонкий скрип саней и какие-то гулкие щелканья, которыми лес из-за речки обменивался с дорогой и полем.

На этот раз первый белый день повеял на него только большею грустью. Надев с утра высокие сапоги, он пошел, прокладывая рыхлый след по девственным еще дорожкам, к мельнице.

В саду было совершенно тихо. Смерзшаяся земля, покрытая пушистым, мягким слоем, совершенно смолкла, не отдавая звуков; зато воздух стал как-то особенно чуток, отчетливо и полно переноса на далекие расстояния и крик вороны, и удар топора, и легкий треск обломавшейся ветки... По временам слышался странный звон, точно от стекла, переходивший на самые высокие ноты и замиравший как будто в огромном удалении. Это мальчишки кидали камни на деревенском пруду, покрывшемся к утру тонкой пленкой первого льда.

В усадьбе пруд тоже замерз, но речка у мельницы, отяжелевшая и темная, все еще сочилась в своих пушистых берегах и шумела на шлюзах.

Петр подошел к плотине и остановился, прислушиваясь. Звон воды был другой – тяжелее и без мелодии. В нем как будто чув-



ствовался холод помертвевших окрестностей...

В душе Петра тоже было холодно и сумрачно. Темное чувство, которое еще в тот счастливый вечер поднималось из глубины души каким-то опасением, неудовлетворенностью и вопросом, теперь разрослось и заняло в душе место, принадлежавшее ощущениям радости и счастья.

Эвелины в усадьбе не было. Яскульские собрались с осени к „благодетельнице“, старой графине Потоцкой, которая непременно требовала, чтобы старики привезли также дочь. Эвелина сначала противилась, но потом уступила настояниям отца, к которым очень энергично присоединился и Максим.

Теперь Петр, стоя у мельницы, вспоминал свои прежние ощущения, старался восстановить их прежнюю полноту и цельность и спрашивал себя, чувствует ли он ее отсутствие. Он его чувствовал, но сознавал также, что и присутствие ее не дает ему счастья, а приносит особенное страдание, которое без нее несколько притупилось.

Еще так недавно в его ушах звучали ее сло-

ва, вставляли все подробности первого объяснения, он чувствовал под руками ее шелковистые волосы, слышал у своей груди удары ее сердца. И из всего этого складывался какой-то образ, наполнявший его радостью. Теперь что-то бесформенное, как те призраки, которые населяли его темное воображение, ударило в этот образ мертвящим дуновением, и он разлетелся. Он уже не мог соединить свои воспоминания в ту гармоничную цельность чувства, которая переполняла его в первое время. Уж с самого начала на дне этого чувства лежало зернышко чего-то другого, и теперь это „другое“ расстилалось над ним, как стелется грозовая туча по горизонту.

Звуки ее голоса угасли, и на месте ярких впечатлений счастливого вечера зияла пустота. А навстречу этой пустоте из самой глубины души слепого подымалось что-то с тяжелым усилием, чтобы ее заполнить.

Он хотел ее видеть!

Прежде он только чувствовал тупое душевное страдание, но оно откладывалось в душе неясно, тревожило смутно, как ноющая зубная боль, на которую мы еще не обращаем

внимания.

Встреча с слепым звонарем придала этой боли остроту сознанного страдания...

Он ее полюбил и хотел ее видеть!

Так шли дни за днями в притихшей и занесенной снегом усадьбе.

По временам, когда мгновения счастья вставали перед ним, живые и яркие, Петр несколько оживлялся и лицо его прояснялось. Но это бывало ненадолго, а со временем даже эти светлые минуты приняли какой-то беспокойный характер: казалось, слепой боялся, что они улетят и никогда уже не вернуться. Это делало его обращение неровным: минуты порывистой нежности и сильного нервного возбуждения сменялись днями подавленной беспросветной печали. В темной гостиной по вечерам рояль плакала и надрывалась глубокою и болезненною грустью, и каждый ее звук отзывался болью в сердце Анны Михайловны. Наконец худшие ее опасения сбылись: к юноше вернулись тревожные сны его детства.

Одним утром Анна Михайловна вошла в комнату сына. Он еще спал, но его сон был

как-то странно тревожен: глаза полуоткрылись и тускло глядели из-под приподнятых век, лицо было бледно, и на нем виднелось выражение беспокойства.

Мать остановилась, окидывая сына внимательным взглядом, стараясь открыть причину странной тревоги. Но она видела только, что эта тревога все вырастает, и на лице спящего обозначается все яснее выражение напряженного усилия.

Вдруг ей почудилось над постелью какое-то едва уловимое движение. Яркий луч ослепительного зимнего солнца, ударявший в стену над самым изголовьем, будто дрогнул и слегка скользнул вниз. Еще и еще... светлая полоска тихо прокрадывалась к полуоткрытым глазам, и по мере ее приближения беспокойство спящего все возрастало.

Анна Михайловна стояла неподвижно, в состоянии, близком к кошмару, и не могла оторвать испуганного взгляда от огненной полосы, которая, казалось ей, легкими, но все же заметными толчками все ближе надвигается к лицу ее сына. И это лицо все больше бледнело, вытягивалось, застывало в выраже-

нии тяжелого усилия. Вот желтоватый отблеск заиграл в волосах, затеплился на лбу юноши. Мать вся подалась вперед, в инстинктивном стремлении защитить его, но ноги ее не двигались, точно в настоящем кошмаре.

Между тем веки спящего совсем приподнялись, в неподвижных зрачках заискрились лучи, и голова заметно отделилась от подушки навстречу свету. Что-то вроде улыбки или плача пробежало судорожною вспышкой по губам, и все лицо опять застыло в неподвижном порыве.

Наконец мать победила оковавшую ее члены неподвижность и, подойдя к постели, положила руку на голову сына. Он вздрогнул и проснулся.

– Ты, мама? – спросил он.

– Да, это я.

Он приподнялся. Казалось, тяжелый туман застилал его сознание. Но через минуту он сказал:

– Я опять видел сон... Я теперь часто вижу сны, но... ничего не помню...

VI

Беспросветная грусть сменялась в настро-

ении юноши раздражительною нервностью, и вместе с тем возрастала замечательная тонкость его ощущений. Слух его чрезвычайно обострился; свет он ощущал всем своим организмом, и это было заметно даже ночью: он мог отличать лунные ночи от темных и нередко долго ходил по двору, когда все в доме спали, молчаливый и грустный, отдаваясь странному действию мечтательного и фантастического лунного света. При этом его бледное лицо всегда поворачивалось за плывшим по синему небу огненным шаром, и глаза отражали искристый отблеск холодных лучей.

Когда же этот шар, все выраставший по мере приближения к земле, подергивался тяжелым красным туманом и тихо скрывался за снежным горизонтом, лицо слепого становилось спокойнее и мягче, и он уходил в свою комнату.

О чем он думал в эти долгие ночи, трудно сказать. В известном возрасте каждый, кто только изведал радости и муки вполне сознательного существования, переживает в большей или меньшей степени состояние душевного кризиса. Останавливаясь на рубеже де-

ательной жизни, человек старается определить свое место в природе, свое значение, свои отношения к окружающему миру. Это своего рода „мертвая точка“, и благо тому, кого размах жизненной силы проведет через нее без крупной ломки. У Петра этот душевный кризис еще осложнялся; к вопросу: „зачем жить на свете?“ – он прибавлял: „зачем жить именно слепому?“ Наконец, в самую эту работу нерадостной мысли вдвигалось еще что-то постороннее, какое-то почти физическое давление неутоленной потребности, и это отражалось на складе его характера.

Перед Рождеством Яскульские вернулись, и Эвелина, живая и радостная, со снегом в волосах и вся обвеянная свежестью и холодом, прибежала из посessorского хутора в усадьбу и кинулась обнимать Анну Михайловну, Петра и Максима. В первые минуты лицо Петра осветилось неожиданною радостью, но затем на нем появилось опять выражение какой-то упрямой грусти.

– Ты думаешь, я люблю тебя? – резко спросил он в тот же день, оставшись наедине с Эвелиной.

– Я в этом уверена, – ответила девушка.

– Ну, я не знаю, – угрюмо возразил слепой. – Да, я не знаю. Прежде и я был уверен, что люблю тебя больше всего на свете, но теперь не знаю. Оставьте меня, послушайся тех, кто зовет тебя к жизни, пока не поздно.

– Зачем ты мучишь меня? – вырвалась у нее тихая жалоба.

– Мучу? – переспросил юноша, и опять на его лице появилось выражение упрямого эгоизма. – Ну да, мучу. И буду мучить таким образом всю жизнь, и не могу не мучить. Я сам не знал этого, а теперь знаю. И я не виноват. Та самая рука, которая лишила меня зрения, когда я еще не родился, вложила в меня эту злобу... Мы все такие, рожденные слепыми. Оставьте меня... бросьте меня все, потому что я могу дать одно страдание взамен любви... Я хочу видеть – понимаешь? хочу видеть и не могу освободиться от этого желания. Если бы я мог увидеть таким образом мать, отца, тебя и Максима, я был бы доволен... Я запомнил бы, унес бы это воспоминание в темноту всей остальной жизни...

И он с замечательным упорством возвра-

щался к этой идее. Оставаясь наедине, он брал в руки различные предметы, ощупывал их с небывалой внимательностью и потом, отложив их в сторону, старался вдуматься в изучение формы. Точно так же вдумывался он в те различия ярких цветных поверхностей, которые, при напряженной чуткости нервной системы, он смутно улавливал посредством осязания. Но все это проникало в его сознание именно только как различия, в своих взаимных отношениях, но без определенного чувственного содержания. Теперь даже солнечный день он отличал от ночной темноты лишь потому, что действие яркого света, проникавшего к мозгу недоступными сознанию путями, только сильнее раздражало его мучительные порывы.

VII

Однажды, войдя в гостиную, Максим застал там Эвелину и Петра. Девушка казалась смущенной. Лицо юноши было мрачно. Казалось, разыскивать новые причины страдания и мучить ими себя и других стало для него чем-то вроде потребности.

– Вот он спрашивает, – сказала Эвелина

Максиму, – что может означать выражение „красный звон“? Я не могу ему объяснить.

– В чем дело? – спросил Максим коротко, обращаясь к Петру.

Тот пожал плечами.

– Ничего особенного. Но если у звуков есть цвета, и я их не вижу, то, значит, даже звуки недоступны мне во всей полноте.

– Пустяки и ребячество, – ответил Максим резко. – И ты сам хорошо знаешь, что это неправда. Звуки доступны тебе в большей полноте, чем нам.

– Но что же значит это выражение?... Ведь должно же оно обозначать что-нибудь?

Максим задумался.

– Это простое сравнение, – сказал он. – Так как и звук, и свет, в сущности, сводятся к движению, то у них должно быть много общих свойств.

– Какие же тут разумеются свойства? – продолжал упрямо допрашивать слепой. – „Красный“ звон... какой он именно?

Максим задумался.

Ему пришло в голову объяснение, сводящееся к относительным цифрам колебаний,

но он знал, что юноше нужно не это. Притом же тот, кто первый употребил световой эпитет в применении к звуку, наверное, не знал физики, а между тем уловил какое-то сходство. В чем же оно заключается?

В уме старика зародилось некоторое представление.

– погоди, – сказал он. – Не знаю, впрочем, удастся ли мне объяснить тебе, как следует... Что такое красный звон, ты можешь узнать не хуже меня: ты слышал его не раз в городах, в большие праздники, только в нашем краю не принято это выражение...

– Да, да, погоди, – сказал Петр, быстро открывая пианино.

Он ударил своею умелою рукой по клавишам, подражая праздничному колокольному трезвону. Иллюзия была полная. Аккорд из нескольких невысоких тонов составлял как бы фон поглубже, а на нем выделялись, прыгая и колеблясь, высшие ноты, более подвижные и яркие. В общем, это был именно тот высокий и возбужденно-радостный гул, который заполняет собою праздничный воздух.

– Да, – сказал Максим, – это очень похоже,

и мы, с открытыми глазами, не сумели бы усвоить это лучше тебя. Вот, видишь ли... когда я смотрю на большую красную поверхность, она производит на мой глаз такое же беспокойное впечатление чего-то упруго-волнующегося. Кажется, будто эта краснота меняется: оставляя под собой более глубокий, темный фон, она кое-где выделяется более светлыми, быстро всплывающими и так же быстро упадающими взмахами, волнами, которые очень сильно действуют на глаз, – по крайней мере на мой глаз.

– Это верно, верно! – живо сказала Эвелина. – Я чувствую то же самое и не могу долго смотреть на красную суконную скатерть...

– Так же, как иные не выносят праздничного трезвона. Пожалуй, что мое сравнение и верно, и мне даже приходит в голову дальнейшее сопоставление: существует также „малиновый“ звон, как и малиновый цвет. Оба они очень близки к красному, но только глубже, ровнее и мягче. Когда колокольчик долго был в употреблении, то он, как говорят любители, вызванивается. В его звуке исчезают неровности, режущие ухо, и тогда-то звон

этот зовут малиновым. Того же эффекта достигают умелым подбором нескольких подголосков.

Под руками Петра пианино зазвенело взмахами почтовых колокольчиков.

– Нет, – сказал Максим. – Я бы сказал, что это слишком красно...

– А, помню!

И инструмент зазвенел ровнее. Начавшись высоко, оживленно и ярко, звуки становились все глубже и мягче. Так звонит набор колокольцев под дугой русской тройки, удаляющейся по пыльной дороге в вечернюю неизвестную даль, тихо, ровно, без громких взмахов, все тише и тише, пока последние ноты не замрут в молчании спокойных полей.

– Вот-вот! – сказал Максим. – Ты понял разницу. Когда-то, – ты был еще ребенком, – мать пыталась объяснить тебе звуками краски.

– Да, я помню... Зачем ты запретил нам тогда продолжать? Может быть, мне удалось бы понять.

– Нет, – задумчиво ответил старик, – ничего бы не вышло. Впрочем, я думаю, что вообще на известной душевной глубине впечатле-

ния от цветов и от звуков откладываются уже как однородные. Мы говорим: он видит все в розовом свете. Это значит, что человек настроен радостно. То же настроение может быть вызвано известным сочетанием звуков. Вообще звуки и цвета являются символами одинаковых душевных движений.

Старик закурил свою трубку и внимательно посмотрел на Петра. Слепой сидел неподвижно и, очевидно, жадно ловил слова Максима. „Продолжать ли?“ – подумал старик, но через минуту начал как-то задумчиво, будто невольно отдаваясь странному направлению своих мыслей:

– Да, да! Станные мысли приходят мне в голову... Случайность это или нет, что кровь у нас красная. Видишь ли... когда в голове твоей рождается мысль, когда ты видишь свои сны, от которых, проснувшись, дрожишь и плачешь, когда человек весь вспыхивает от страсти, – это значит, что кровь бьет из сердца сильнее и приливает алыми ручьями к мозгу. Ну, и она у нас красная...

– Красная... горячая... – сказал юноша вдумчиво...

– Именно – красная и горячая. И вот, красный цвет, как и „красные“ звуки, оставляют в нашей душе свет, возбуждение и представление о страсти, которую так и называют „горячею“, кипучею, жаркою. Замечательно, что и художники считают красноватые тоны „горячими“.

Затянувшись и окружив себя клубами дыма, Максим продолжал:

– Если ты взмахнешь рукой над своею головою, ты очертишь над ней полукруг. Теперь представь себе, что рука у тебя бесконечно длинна. Если бы ты мог тогда взмахнуть ею, то очертил бы полукруг в бесконечном отдалении... Так же далеко видим мы над собою полушаровой свод неба; оно ровно, бесконечно и сине... Когда мы видим его таким, в душе является ощущение спокойствия и ясности. Когда же небо закроют тучи взволнованными и мутными очертаниями, тогда и наша душевная ясность возмущается неопределенным волнением. Ты ведь чувствуешь, когда приближается грозная туча...

– Да, я чувствую, как будто что-то смущает душу...

– Это верно. Мы ждем, когда из-за туч проглянет опять эта глубокая синева. Гроза пройдет, а небо над нею останется все то же; мы это знаем и потому спокойно переживаем грозу. Так вот, небо сине... Море тоже сине, когда спокойно. У твоей матери синие глаза. У Эвелины тоже.

– Как небо... – сказал слепой с внезапно проснувшейся нежностью.

– Да. Голубые глаза считаются признаком ясной души. Теперь я скажу тебе о зеленом цвете. Земля сама по себе черна, черны или серы стволы деревьев весной; но как только теплые и светлые лучи разогреют темные поверхности, из них ползут кверху зеленая трава, зеленые листья. Для зелени нужны свет и тепло, но только не слишком много тепла и света. Оттого зелень так приятна для глаза. Зелень – это как будто тепло в смешении с сырою прохладой: она возбуждает представление о спокойном довольстве, здоровье, но не о страсти и не о том, что люди называют счастьем... Понял ли ты?

– Н-нет... не ясно... но все же, пожалуйста, говори дальше.

– Ну, что же делать!.. Слушай дальше. Когда лето разгорается все жарче, зелень как будто изнемогает от избытка жизненной силы, листья в истоме опускаются книзу и, если солнечный зной не умеряется сырою прохладой дождя, зелень может совсем поблекнуть. Зато к осени среди усталой листвы наливаются и алеет плод. Плод краснее на той стороне, где больше света; в нем как будто сосредоточена вся сила жизни, вся страсть растительной природы. Ты видишь, что красный цвет и здесь – цвет страсти, и он служит ее символом. Это цвет упоения, греха, ярости, гнева и мести. Народные массы во времена мятежей ищут выражения общего чувства в красном знамени, которое развевается над ними, как пламя... Но ведь ты опять не понимаешь?...

– Все равно продолжай!

– Наступает поздняя осень. Плод отяжелел; он срывается и падает на землю... Он умирает, но в нем живет семя, а в этом семени живет в „возможности“ и все будущее растение, с его будущею роскошной листвой и с его новым плодом. Семя падает на землю; а над землей низко подымается уже холодное солнце,

бежит холодный ветер, несутся холодные тучи... Не только страсть, но и самая жизнь замирают тихо, незаметно... Земля все больше проступает из-под зелени своей чернотой, в небе господствуют холодные тоны... И вот наступает день, когда на эту смирившуюся и притихшую, будто овдовевшую землю падают миллионы снежинок, и вся она становится ровна, одноцветна и бела... Белый цвет – цвет холодного снега, цвет высочайших облаков, которые плывут в недостижимом холоде поднебесных высот, – цвет величавых и бесплодных горных вершин... Это – эмблема бесстрастия и холодной, высокой святости, эмблема будущей бесплотной жизни. Что же касается черного цвета...

– Знаю, – перебил слепой. – Это – нет звуков, нет движений... ночь...

– Да, и потому это – эмблема печали и смерти...

Петр вздрогнул и сказал глухо:

– Ты сам сказал: смерти. А ведь для меня все черно... всегда и всюду черно!

– Неправда, – резко ответил Максим, – для тебя существуют звуки, тепло, движение... ты

окружен любовью... Многие отдали бы свет очей за то, чем ты пренебрегаешь, как безумец... Но ты слишком эгоистично носишься со своим горем...

– Да! – воскликнул Петр страстно, – я ношусь с ним поневоле: куда же мне уйти от него, когда оно всюду со мной?

– Если бы ты мог понять, что на свете есть горе во сто раз больше твоего, такое горе, в сравнении с которым твоя жизнь, обеспеченная и окруженная участием, может быть названа блаженством, – тогда...

– Неправда, неправда! – гневно перебил слепой тем же тоном страстного возбуждения. – Я поменялся бы с последним нищим, потому что он счастливее меня. Да и слепых вовсе не нужно окружать заботой: это большая ошибка... Слепых нужно выводить на дорогу и оставлять там, – пусть просят милостыню. Если б я был просто нищим, я был бы менее несчастен. С утра я думал бы о том, чтобы достать обед, считал бы подаваемые копейки и боялся бы, что их мало. Потом радовался бы удачному сбору, потом старался бы собрать на ночлег. А если б это не удалось, я страдал

бы от голода и холода... и все это не оставляло бы мне ни минуты и... и... от лишений я страдал бы менее, чем страдаю теперь...

– Ты думаешь? – спросил Максим холодно и посмотрел в сторону Эвелины. Во взгляде старика мелькнуло сожаление и участие. Девушка сидела серьезная и бледная.

– Уверен, – ответил Петр упрямо и жестко. – Я теперь часто завидую Егору, тому, что на колокольне. Часто, просыпаясь под утро, особенно когда на дворе метель и вьюга, я вспоминаю Егора: вот он подымается на свою вышку...

– Ему холодно, – подсказал Максим.

– Да, ему холодно, он дрожит и кашляет. И он проклинает Памфилия, который не заведет ему шубы. Потом он берет избыбшими руками веревки и звонит к заутрене. И забывает, что он слепой... Потому что тут было бы холодно и не слепому... А я не забываю, и мне...

– И тебе не за что проклинать!..

– Да! мне не за что проклинать! Моя жизнь наполнена одной слепотой. Никто не виноват, но я несчастнее всякого нищего...

– Не стану спорить, – холодно сказал старик. – Может быть, это и правда. Во всяком случае, если тебе и было бы хуже, то, может быть, сам ты был бы лучше.

Он еще раз бросил взгляд сожаления в сторону девушки и вышел из комнаты, стуча костылями.

Душевное состояние Петра после этого разговора еще обострилось, и он еще более погрузился в свою мучительную работу.

Иногда ему удавалось: он находил на мгновение те ощущения, о которых говорил Максим, и они присоединялись к его пространственным представлениям. Темная и грустная земля уходила куда-то вдаль: он мерил ее и не находил ей конца. А над нею было что-то другое... В воспоминании прокатывался гулкий гром, вставало представление о шири и небесном просторе. Потом гром смолкал, но что-то там, вверху, оставалось – что-то, рождавшее в душе ощущение величия и ясности. Порой это ощущение определялось: к нему присоединялся голос Эвелины и матери, „у которых глаза, как небо“; тогда возникающий образ, выплывший из далекой глубины вооб-

ражения и слишком определившийся, вдруг исчезал, переходя в другую область.

Все эти темные представления мучили и не удовлетворяли. Они стоили больших усилий и были так неясны, что в общем он чувствовал лишь неудовлетворенность и тупую душевную боль, которая сопровождала все потуги больной души, тщетно стремившейся восстановить полноту своих ощущений.

VIII

Подошла весна.

Верстах в шестидесяти от усадьбы Попельских в сторону, противоположную от Ставрученков, в небольшом городишке, была чудотворная католическая икона. Знатоки дела определили с полной точностью ее чудодейственную силу: всякий, кто приходил к иконе в день ее праздника пешком, пользовался „двадцатью днями отпущения“, то есть все его беззакония, совершенные в течение двадцати дней, должны были идти на том свете насмарку. Поэтому каждый год, ранней весной, в известный день небольшой городок оживлялся и становился неузнаваемым. Старая церковка принаряжалась к своему празд-

нику первую зеленью и первыми весенними цветами, над городом стоял радостный звон колокола, грохотали „брички“ панов, и богомольцы располагались густыми толпами по улицам, на площадях и даже далеко в поле. Тут были не одни католики. Слава N-ской иконы гремела далеко, и к ней приходили также негодующие и огорченные православные, преимущественно из городского класса.

В самый день праздника по обе стороны „каплицы“ народ вытянулся по дороге несметною пестрою вереницей. Тому, кто посмотрел бы на это зрелище с вершины одного из холмов, окружавших местечко, могло бы показаться, что это гигантский зверь растянулся по дороге около часовни и лежит тут неподвижно, по временам только пошевеливая матовою чешуей разных цветов. По обеим сторонам занятой народом дороги в два ряда вытянулось целое полчище нищих, протягивавших руки за подаванием.

Максим на своих костылях и рядом с ним Петр об руку с Иохимом тихо двигались вдоль улицы, которая вела к выходу в поле.

Говор многоголосой толпы, выкрикивание

евреев-факторов[67], стук экипажей, – весь этот грохот, катившийся какою-то гигантскою волной, остался сзади, сливаясь в одно непрерывное, колыхавшееся, подобно волне, рокотание. Но и здесь, хотя толпа была реже, все же то и дело слышался топот пешеходов, шуршание колес, людской говор. Целый обоз чумаков[68] выезжал со стороны поля и, поскрипывая, грузно сворачивал в ближайший переулок.

Петр рассеянно прислушивался к этому живому шуму, послушно следуя за Максимом; он то и дело запахивал пальто, так как было холодно, и продолжал на ходу ворочать в голове свои тяжелые мысли.

Но вдруг, среди этой эгоистической сосредоточенности, что-то поразило его внимание так сильно, что он вздрогнул и внезапно остановился.

Последние ряды городских зданий кончились здесь, и широкая трактовая дорога входила в город среди заборов и пустырей. У самого выхода в поле благочестивые руки воздвигли когда-то каменный столб с иконой и фонарем, который, впрочем, скрипел только

вверху от ветра, но никогда не зажигался. У самого подножия этого столба расположились кучкой слепые нищие, оттертые своими зрячими конкурентами с более выгодных мест. Они сидели с деревянными чашками в руках, и по временам кто-нибудь затягивал жалобную песню: – Под-дайте слипеньким... ра-а-ди Христа...

День был холодный, нищие сидели здесь с утра, открытые свежему ветру, налетавшему с поля. Они не могли двигаться среди этой толпы, чтобы согреться, и в их голосах, тянувших по очереди унылую песню, слышалась безотчетная жалоба физического страдания и полной беспомощности. Первые ноты слышались еще довольно отчетливо, но затем из сдавленных грудей вырывался только жалобный ропот, замиравший тихой дрожью озноба. Тем не менее даже последние, самые тихие звуки песни, почти терявшиеся среди уличного шума, достигая человеческого уха, поражали всякого громадностью заключенного в них непосредственного страдания.

Петр остановился, и его лицо исказилось, точно какой-то слуховой призрак явился пе-

ред ним в виде этого страдальческого вопля.

– Чего же ты испугался? – спросил Максим. – Это те самые счастливицы, которым ты недавно завидовал, – слепые нищие, которые просят здесь милостыню... Им немного холодно, конечно. Но ведь от этого, по-твоему, им только лучше.

– Уйдем! – сказал Петр, хватая его за руку.

– А, ты хочешь уйти! У тебя в душе не найдется другого побуждения при виде чужих страданий! Постой, я хочу поговорить с тобой серьезно и рад, что это будет именно здесь. Ты вот сердисься, что времена изменились, что теперь слепых не рубят в ночных сечах, как Юрка-бандуриста; ты досадуешь, что тебе некого проклинать, как Егору, а сам проклинаешь в душе своих близких за то, что они отняли у тебя счастливую долю этих слепых. Клянусь честью, ты, может быть, прав! Да, клянусь честью старого солдата, всякий человек имеет право располагать своей судьбой, а ты уже человек. Слушай же теперь, что я скажу тебе: если ты захочешь исправить нашу ошибку, если ты швырнешь судьбе в глаза все преимущества, которыми жизнь окружа-

ла тебя с колыбели, и захочешь испытать участь вот этих несчастных... я, Максим Яценко, обещаю тебе свое уважение, помощь и содействие... Слышишь ты меня, Петр Яценко? Я был немногим старше тебя, когда понес свою голову в огонь и сечу... Обо мне тоже плакала мать, как будет плакать о тебе. Но, черт возьми! я полагаю, что был в своем праве, как и ты теперь в своем!.. Раз в жизни к каждому человеку приходит судьба и говорит: выбирай! Итак, тебе стоит захотеть... Хведор Кандыба, ты здесь? – крикнул он по направлению к слепым.

Один голос отделился от скрипучего хора и ответил:

– Тут я... Это вы кличете, Максим Михайлович?

– Я! Приходи через неделю, куда я сказал.

– Приду, паночку. – И голос слепца опять примкнул к хору.

– Вот, ты увидишь человека, – сказал, сверкая глазами, Максим, – который вправе роптать на судьбу и на людей. Поучись у него переносить свою долю... А ты...

– Пойдем, паничу, – сказал Иохим, кидая

на старика сердитый взгляд.

– Нет, постой! – гневно крикнул Максим. – Никто еще не прошел мимо слепых, не кинув им хоть пятака. Неужели ты убежишь, не сделав даже этого? Ты умеешь только кощунствовать со своей сытой завистью к чужому голоду!..

Петр поднял голову, точно от удара кнутом. Вынув из кармана свой кошелек, он пошел по направлению к слепым. Нащупав палкою переднего, он разыскал рукой деревянную чашку с медью и бережно положил туда свои деньги. Несколько прохожих остановились и смотрели с удивлением на богато одетого и красивого панича, который ощупью подавал милостыню слепому, принимавшему ее также ощупью.

Между тем Максим круто повернулся и заковылял по улице. Его лицо было красно, глаза горели... С ним была, очевидно, одна из тех вспышек, которые были хорошо известны всем, знавшим его в молодости. И теперь это был уже не педагог, взвешивающий каждое слово, а страстный человек, давший волю гневному чувству. Только кинув искоса

взгляд на Петра, старик как будто смягчился. Петр был бледен, как бумага, но брови его были сжаты, а лицо глубоко взволновано.

Холодный ветер взметал за ними пыль на улицах местечка. Сзади среди слепых поднялся говор и ссоры из-за данных Петром денег...

IX

Было ли это следствием простуды, или разрешением долгого душевного кризиса, или, наконец, то и другое соединилось вместе, но только на другой день Петр лежал в своей комнате в нервной горячке. Он метался в постели с искаженным лицом, по временам к чему-то прислушиваясь, и куда-то порывался бежать. Старый доктор из местечка щупал пульс и говорил о холодном весеннем ветре; Максим хмурил брови и не глядел на сестру.

Болезнь была упорна. Когда наступил кризис, больной лежал несколько дней почти без движения. Наконец молодой организм победил.

Раз, светлым весенним утром, яркий луч прорвался в окно и упал к изголовью больного. Заметив это, Анна Михайловна обратилась к Эвелине:

– Задерни занавеску... Я так боюсь этого света...

Девушка поднялась, чтоб исполнить приказание, но неожиданно раздавшийся, в первый раз, голос больного остановил ее:

– Нет, ничего. Пожалуйста... оставьте так...

Обе женщины радостно склонились над ним.

– Ты слышишь?... Я здесь!.. – сказала мать.

– Да! – ответил он и потом смолк, будто стараясь что-то припомнить. – Ах, да!.. – заговорил он тихо и вдруг попытался подняться. – Тот... Федор приходил уже? – спросил он.

Эвелина переглянулась с Анной Михайловной, и та закрыла ему рот рукой.

– Тише, тише! Не говори; тебе вредно.

Он прижал руку матери к губам и покрыл ее поцелуями. На его глазах стояли слезы. Он долго плакал, и это его облегчило.

Несколько дней он был как-то кротко задумчив, и на лице его появлялось выражение тревоги всякий раз, когда мимо комнаты проходил Максим. Женщины заметили это и просили Максима держаться подальше.

Но однажды Петр сам попросил позвать

его и оставить их вдвоем.

Войдя в комнату, Максим взял его за руку и ласково погладил ее.

– Ну-ну, мой мальчик, – сказал он. – Я, кажется, должен просить у тебя прощения...

– Я понимаю, – тихо сказал Петр, отвечая на пожатие. – Ты дал мне урок, и я тебе за него благодарен.

– К черту уроки! – ответил Максим с гримасой нетерпения. – Слишком долго оставаться педагогом – это ужасно оглушает. Нет, этот раз я не думал ни о каких уроках, а просто очень рассердился на тебя и на себя...

– Значит, ты действительно хотел, чтобы?...

– Хотел, хотел!.. Кто знает, чего хочет человек, когда взбесится... Я хотел, чтобы ты почувствовал чужое горе и перестал так носиться со своим...

Оба замолчали...

– Эта песня, – через минуту сказал Петр, – я помнил ее даже во время бреда... А кто этот Федор, которого ты звал?

– Федор Кандыба, мой старый знакомый.

– Он тоже... родился слепым?

– Хуже: ему выжгло глаза на войне.

– И он ходит по свету и поет эту песню?

– Да, и кормит ею целый выводок сирот племянников. И еще находит для каждого веселое слово и шутку...

– Да? – задумчиво переспросил Петр. – Как хочешь, в этом есть какая-то тайна. И я хотел бы...

– Что ты хотел бы, мой мальчик?...

Через несколько минут послышались шаги, и Анна Михайловна вошла в комнату, тревожно вглядываясь в их лица, видимо взволнованные разговором, который оборвался с ее приходом.

Молодой организм, раз победив болезнь, быстро справлялся с ее остатками. Недели через две Петр был уже на ногах.

Он сильно изменился, изменились даже черты лица, – в них не было заметно прежних припадков острого внутреннего страдания. Резкое нравственное потрясение перешло теперь в тихую задумчивость и спокойную грусть.

Максим боялся, что это только временная перемена, вызванная тем, что нервная напря-

женность ослаблена болезнью. Однажды в сумерках, подойдя в первый раз после болезни к фортепиано, Петр стал по обыкновению фантазировать. Мелодии звучали грустные и ровные, как его настроение. Но вот, внезапно, среди звуков, полных тихой печали, прорвались первые ноты песни слепых. Мелодия сразу распалась... Петр быстро поднялся, его лицо было искажено, и на глазах стояли слезы. Видимо, он не мог еще справиться с сильным впечатлением жизненного диссонанса, явившегося ему в форме этой скрипучей и тяжелой жалобы.

В этот вечер Максим опять долго говорил с Петром наедине. После этого проходили недели, и настроение слепого оставалось все тем же. Казалось, слишком острое и эгоистическое сознание личного горя, вносящее в душу пассивность и угнетающее врожденную энергию, теперь дрогнуло и уступило место чему-то другому. Он опять ставил себе цели, строил планы; жизнь зарождалась в нем, надломленная душа давала побег, как захиревшее деревцо, на которое весна пахнула живительным дыханием... Было, между прочим,

решено, что еще этим летом Петр поедет в Киев, чтобы с осени начать уроки у известного пианиста. При этом оба они с Максимом настояли, что они поедут только вдвоем.

Х

Теплою июльской ночью бричка, запряженная парой лошадей, остановилась на ночлег в поле, у опушки леса. Утром, на самой заре, двое слепых прошли шляхом. Один вертел рукоятку примитивного инструмента: деревянный валик кружился в отверстии пустого ящика и терся о туго натянутые струны, издававшие однотонное и печальное жужжание. Несколько гнусавый, но приятный старческий голос пел утреннюю молитву.

Проезжавшие дорогой хохлы с таранью видели, как слепцов подзвали к бричке, около которой, на разостланном ковре, сидели ночевавшие в степи господа. Когда через некоторое время обозчики остановились на водопой у криницы, то мимо них опять прошли слепцы, но на этот раз их уж было трое.

Впереди, постукивая перед собою длинной палкой, шел старик с развевающимися седыми волосами и длинными белыми усами. Лоб



его был покрыт старыми язвами, как будто от обжога; вместо глаз были только впадины. Через плечо у него была надета широкая тесьма, привязанная к поясу следующего. Второй был рослый детина, с желчным лицом, сильно изрытым оспой. Оба они шли привычным шагом, подняв незрячие лица кверху, как будто разыскивая там свою дорогу. Третий был совсем юноша, в новой крестьянской одежде, с бледным и как будто слегка испуганным лицом; его шаги были неуверенны, и по временам он останавливался, как будто прислушиваясь к чему-то назади и мешая движению товарищей.

Часам к десяти они ушли далеко. Лес остался синей полосой на горизонте. Крутом была степь, и впереди слышался звон разогреваемой солнцем проволоки на шоссе, пересекавшем пыльный шлях. Слепцы вышли на него и повернули вправо, когда сзади слышался топот лошадей и сухой стук кованых колес по щебню. Слепцы выстроились у края дороги. Опять зажужжало деревянное колесо по струнам, и старческий голос затянул:

– Под-дайте сли-пеньким... – К жужжанию колеса присоединился тихий перебор струн под пальцами юноши.

Монета зазвенела у самых ног старого Кандыбы. Стук колес смолк, видимо, проезжающие остановились, чтобы посмотреть, найдут ли слепые монету. Кандыба сразу нашел ее, и на лице появилось довольное выражение.

– Бог спасет, – сказал он по направлению к бричке, в сиденье которой виднелась квадратная фигура седого господина, и два костыля торчали сбоку.

Старик внимательно смотрел на юношу-слепца... Тот стоял бледный, но уже успокоившийся. При первых же звуках песни его руки нервно забегали по струнам, как будто покрывая их звоном ее резкие ноты... Бричка опять тронулась, но старик долго оглядывался назад.

Вскоре стук колес замолк в отдалении. Слепцы опять вытянулись в линию и пошли по шоссе...

– У тебя, Юрий, легкая рука, – сказал старик. – И играешь славно...

Через несколько минут средний слепец

спросил:

– По обещанию идешь в Почаев?... Для Бога?

– Да, – тихо ответил юноша.

– Думаешь, прозришь?... – спросил тот опять с горькой улыбкой...

– Бывает, – мягко сказал старик.

– Давно хожу, а не встречал, – угрюмо возразил рябой, и они опять пошли молча. Солнце подымалось все выше, виднелась только белая линия шоссе, прямого как стрела, темные фигуры слепых и впереди черная точка проехавшего экипажа. Затем дорога разделилась. Бричка направилась к Киеву, слепцы опять свернули проселками на Почаев.

Вскоре из Киева пришло в усадьбу письмо от Максима. Он писал, что оба они здоровы и что все устраивается хорошо.

А в это время трое слепых двигались все дальше. Теперь все шли уже согласно. Впереди, все так же постукивая палкой, шел Кандыба, отлично знавший дороги и поспевавший в большие села к праздникам и базарам. Народ собирался на стройные звуки маленького оркестра, и в шапке Кандыбы то и дело звякали

монеты.

Волнение и испуг на лице юноши давно исчезли, уступая место другому выражению. С каждым новым шагом навстречу ему лились новые звуки неведомого, широкого, необъятного мира, сменившего теперь ленивый и убаюкивающий шорох тихой усадьбы... Незрячие глаза расширились, ширилась грудь, слух еще обострялся; он узнавал своих спутников, добродушного Кандыбу и желчного Кузьму, долго брел за скрипучими возами чумаков, ночевал в степи у огней, слушал гомон ярмарок и базаров, узнавал горе, слепое и зрячее, от которого не раз больно сжималось его сердце... И странное дело – теперь он находил в своей душе место для всех этих ощущений. Он совершенно одолел песню слепых, и день за днем под гул этого великого моря все более стихали на дне души личные порывания к невозможному... Чуткая память ловила всякую новую песню и мелодию, а когда дорогой он начинал перебирать свои струны, то даже на лице желчного Кузьмы появлялось спокойное умиление. По мере приближения к Почаеву банда слепых все

росла.

Поздней осенью, по дороге, занесенной снегами, к великому удивлению всех в усадьбе, панич неожиданно вернулся с двумя слепцами в нищенской одежде. Кругом говорили, что он ходил в Почаев по обету, чтобы вымолить у Почаевской Богоматери исцеление.

Впрочем, глаза его оставались по-прежнему чистыми и по-прежнему незрячими. Но душа, несомненно, исцелилась. Как будто страшный кошмар навсегда исчез из усадьбы... Когда Максим, продолжавший писать из Киева, наконец вернулся тоже, Анна Михайловна встретила его фразой: „Я никогда, никогда не прощу тебе этого“. Но лицо ее противоречило суровым словам...

Долгими вечерами Петр рассказывал о своих странствиях, и в сумерки фортепиано звучало новыми мелодиями, каких никто не слышал у него раньше... Поездка в Киев была отложена на год, вся семья жила надеждами и планами Петра...

Глава седьмая

В ту же осень Эвелина объявила старикам Яскульским свое неизменное решение выйти за слепого „из усадьбы“. Старушка мать заплакала, а отец, помолившись перед иконами, объявил, что, по его мнению, именно такова воля Божия относительно данного случая.

Сыграли свадьбу. Для Петра началось молодое тихое счастье, но сквозь это счастье все же пробивалась какая-то тревога: в самые светлые минуты он улыбался так, что сквозь эту улыбку виднелось грустное сомнение, как будто он не считал этого счастья законным и прочным. Когда же ему сообщили, что, быть может, он станет отцом, он встретил это сообщение с выражением испуга.

Тем не менее настоящая его жизнь, проходившая в серьезной работе над собой, в тревожных думах о жене и будущем ребенке, не позволяла ему сосредоточиваться на прежних бесплодных потугах. По временам также, среди этих забот, в его душе поднимались воспоминания о жалобном вопле слепых. Тогда он отправлялся в село, где на краю стояла теперь новая изба Федора Кандыбы и его ря-

бого племянника. Федор брал свою кобзу, или они долго разговаривали, и мысли Петра принимали спокойное направление, а его планы опять крепили.

Теперь он стал менее чувствителен к внешним световым побуждениям, а прежняя внутренняя работа улеглась. Тревожные органические силы уснули: он не будил их сознательным стремлением воли – слить в одно целое разнородные ощущения. На месте этих бесплодных потуг стояли живые воспоминания и надежды. Но, кто знает, – быть может, душевное затишье только способствовало бессознательной органической работе, и эти смутные, разрозненные ощущения тем успешнее прокладывали в его мозгу пути по направлению друг к другу. Так, во сне мозг часто свободно творит идеи и образы, которых ему никогда бы не создать при участии воли.

II

В той самой комнате, где некогда родился Петр, стояла тишина, среди которой раздавался только всхлипывающий плач ребенка. Со времени его рождения прошло уже несколько

дней, и Эвелина быстро поправлялась. Но зато Петр все эти дни казался подавленным сознанием какого-то близкого несчастья.

Приехал доктор. Взяв ребенка на руки, он перенес и уложил его поближе к окну. Быстро отдернув занавеску, он пропустил в комнату луч яркого света и наклонился над мальчиком с своими инструментами. Петр сидел тут же с опущенной головой, все такой же подавленный и безучастный. Казалось, он не придавал действиям доктора ни малейшего значения, предвидя впереди результаты.

– Он, наверное, слеп, – твердил он. – Ему не следовало бы родиться.

Молодой доктор не отвечал и молча продолжал свои наблюдения. Наконец он положил офтальмоскоп, и в комнате раздался его уверенный, спокойный голос:

– Зрачок сокращается. Ребенок видит несомненно.

Петр вздрогнул и быстро стал на ноги. Это движение показывало, что он слышал слова доктора, но, судя по выражению его лица, он как будто не понял их значения. Опершись дрожащею рукой на подоконник, он застыл

на месте с бледным, приподнятым кверху лицом и неподвижными чертами.

До этой минуты он находился в состоянии странного возбуждения. Он будто не чувствовал себя, но вместе с тем все фибры в нем жили и трепетали от ожидания.

Он сознавал темноту, которая его окружала. Он ее выделил, чувствовал ее вне себя, во всей ее необъятности. Она надвигалась на него, он охватывал ее воображением, как будто меряясь с нею. Он вставал ей навстречу, желая защитить своего ребенка от этого необъятного, колеблющегося океана непроницаемой тьмы.

И пока доктор в молчании делал свои приготовления, он все находился в этом состоянии. Он боялся и прежде, но прежде в его душе жили еще признаки надежды. Теперь страх, томительный и ужасный, достиг крайнего напряжения, овладев возбужденными до последней степени нервами, а надежда замерла, скрывшись где-то в глубоких тайниках его сердца. И вдруг эти два слова: „ребенок видит!“ – перевернули его настроение. Страх мгновенно схлынул, надежда также

мгновенно превратилась в уверенность, осветив чутко приподнятый душевный строй слепого. Это был внезапный переворот, настоящий удар, ворвавшийся в темную душу поражающим, ярким, как молния, лучом. Два слова доктора будто прожгли в его мозгу огненную дорогу... Будто искра вспыхнула где-то внутри и осветила последние тайники его организма... Все в нем дрогнуло, и сам он задрожал, как дрожит туго натянутая струна под внезапным ударом.

И вслед за этой молнией перед его потухшими еще до рождения глазами вдруг зажглись странные призраки. Были ли это лучи или звуки, он не отдавал себе отчета. Это были звуки, которые оживали, принимали формы и двигались лучами. Они сияли, как купол небесного свода, они катились, как яркое солнце по небу, они волновались, как волнуется шепот и шелест зеленой степи, они качались, как ветви задумчивых буков.

Это было только первое мгновение, и только смешанные ощущения этого мгновения остались у него в памяти. Все остальное он впоследствии забыл. Он только упорно утвер-

ждал, что в эти несколько мгновений он видел.

Что именно он видел, и как видел, и видел ли действительно, – оставалось совершенно неизвестным. Многие говорили ему, что это невозможно, но он стоял на своем, уверяя, что видел небо и землю, мать, жену и Максима.

В течение нескольких секунд он стоял с приподнятым кверху и просветлевшим лицом. Он был так странен, что все невольно обратились к нему, и кругом все смолкло. Всем казалось, что человек, стоявший среди комнаты, был не тот, которого они так хорошо знали, а какой-то другой, незнакомый. А тот, прежний, исчез, окруженный внезапно опустившеюся на него тайной.

И он был с этою тайною наедине несколько кратких мгновений... Впоследствии от них осталось только чувство какого-то удовлетворения и странная уверенность, что тогда он видел.

Могло ли это быть на самом деле?

Могло ли быть, чтобы смутные и неясные световые ощущения, пробивавшиеся к темно-му мозгу неизвестными путями в те минуты,

когда слепой весь трепетал и напрягался навстречу солнечному дню, – теперь, в минуту внезапного экстаза, всплыли в мозгу, как проявляющийся туманный негатив?...

И перед незрячими глазами встало синее небо, и яркое солнце, и прозрачная река с холмиком, на котором он пережил так много и так часто плакал еще ребенком... И потом и мельница, и звездные ночи, в которые он так мучился, и молчаливая, грустная луна... И пыльный шлях, и линия шоссе, и обозы с сверкающими шинами колес, и пестрая толпа, среди которой он сам пел песню слепых...

Или в его мозгу зароились фантастическими призраками неведомые горы, и легли вдаль неведомые равнины, и чудные призрачные деревья качались над гладью неведомых рек, и прозрачное солнце заливало эту картину ярким светом, – солнце, на которое смотрели бесчисленные поколения его предков?

Или все это роилось бесформенными ощущениями в той глубине темного мозга, о которой говорил Максим, и где лучи и звуки откладываются одинаково весельем или гру-

стью, радостью или тоской?...

И он только вспоминал впоследствии стройный аккорд, прозвучавший на мгновение в его душе, – аккорд, в котором сплелись в одно целое все впечатления его жизни, ощущения природы и живая любовь.

Кто знает?

Он помнил только, как на него спустилась эта тайна и как она его оставила. В это последнее мгновение образы-звуки сплелись и смешались, звеня и колеблясь, дрожа и смолкая, как дрожит и смолкает упругая струна: сначала выше и громче, потом все тише, чуть слышно... Казалось, что-то скатывается по гигантскому радиусу в беспросветную тьму...

Вот оно скатилось и смолкло.

Тьма и молчание... Какие-то смутные призраки пытаются еще возродиться из глубокого мрака, но они не имеют уже ни формы, ни тона, ни цвета... Только где-то далеко внизу зазвенели переливы гаммы, пестрыми рядами прорезали тьму и тоже скатились в пространство.

Тогда вдруг внешние звуки достигли его слуха в своей обычной форме. Он будто

проснулся, но все еще стоял, озаренный и радостный, сжимая руки матери и Максима.

– Что это с тобой? – спросила мать встревоженным голосом.

– Ничего... мне кажется, что я... видел вас всех. Я ведь... не сплю?

– А теперь? – взволнованно спросила она. – Помнишь ли ты, будешь ли помнить?

Слепой глубоко вздохнул.

– Нет, – ответил он с усилием. – Но это ничего, потому что... Я отдал все это... ему... ребенку и... и всем...

Он пошатнулся и потерял сознание. Его лицо побледнело, но на нем все еще блуждал отблеск радостного удовлетворения.

Эпилог

Прошло три года.

Многочисленная публика собралась в Киеве, во время „Контрактов“ [69], слушать оригинального музыканта. Он был слеп, но молва передавала чудеса о его музыкальном таланте и о его личной судьбе. Говорили, будто в детстве он был похищен из зажиточной семьи бандой слепцов, с которыми бродил, пока известный профессор не обратил внима-

ние на его замечательный музыкальный талант. Другие передавали, что он сам ушел из семьи к нищим из каких-то романтических побуждений. Как бы то ни было, контрактная зала была набита битком, и сбор (имевший неизвестное публике благотворительное назначение) был полный.

В зале настала глубокая тишина, когда на эстраде появился молодой человек с красивыми большими глазами и бледным лицом. Никто не признал бы его слепым, если б эти глаза не были так неподвижны и если б его не вела молодая белокурая дама, как говорили, жена музыканта.

– Немудрено, что он производит такое потрясающее впечатление, – говорил в толпе какой-то зоил[70] своему соседу. – У него замечательно драматическая наружность.

Действительно, и это бледное лицо с выражением вдумчивого внимания, и неподвижные глаза, и вся его фигура предрасполагали к чему-то особенному, непривычному.

Южнорусская публика вообще любит и ценит свои родные мелодии, но здесь даже разношерстная „контрактная“ толпа была сразу



захвачена глубокой искренностью выражения. Живое чувство родной природы, чуткая оригинальная связь с непосредственными источниками народной мелодии сказывались в импровизации, которая лилась из-под рук слепого музыканта. Богатая красками, гибкая и певучая, она бежала звонкою струей, то поднимаясь торжественным гимном, то разливаясь задушевым грустным напевом. Казалось по временам: то буря гулко гремит в небесах, раскатываясь в бесконечном просторе, то лишь степной ветер звенит в траве, на кургане, навевая смутные грезы о минувшем.

Когда он смолк, гром рукоплесканий охваченной восторгом толпы наполнил громадную залу. Слепой сидел с опущенною головой, удивленно прислушиваясь к этому грохоту. Но вот он опять поднял руки и ударил по клавишам. Многолюдная зала мгновенно притихла.

В эту минуту вошел Максим. Он внимательно оглядел эту толпу, охваченную одним чувством, направившую на слепого жадные, горящие взгляды.

Старик слушал и ждал. Он больше, чем

кто-нибудь другой в этой толпе, понимал живую драму этих звуков. Ему казалось, что эта могучая импровизация, так свободно льющаяся из души музыканта, вдруг оборвется, как прежде, тревожным, болезненным вопросом, который откроет новую рану в душе его слепого питомца. Но звуки росли, крепили, полнели, становились все более и более властными, захватывали сердце объединенной и замиравшей толпы.

И чем больше прислушивался Максим, тем яснее звучал для него в игре слепого знакомый мотив.

Да, это она, шумная улица. Светлая, гремучая, полная жизни волна катится, дробясь, сверкая и рассыпаясь тысячью звуков. Она то поднимается, возрастает, то падает опять к отдаленному, но неумолчному рокоту, оставаясь все время спокойной, красиво-бесстрастной, холодной и безучастной.

И вдруг сердце Максима упало. Из-под рук музыканта опять, как и некогда, вырвался стон.

Вырвался, прозвенел и замер. И опять живой рокот, все ярче и сильнее, сверкающий и

подвижный, счастливый и светлый.

Это уже не одни стоны личного горя, не одно слепое страдание. На глазах старика появились слезы. Слезы были и на глазах его соседей.

„Он прозрел, да, это правда – он прозрел“, – думал Максим.

Среди яркой и оживленной мелодии, счастливой и свободной, как степной ветер, и, как он, беззаботной, среди пестрого и широкого гула жизни, среди то грустного, то величавого напева народной песни все чаще, все настойчивее и сильнее прорывалась какая-то за душу хватающая нота.

„Так, так, мой мальчик, – мысленно ободрял Максим, – настигай их среди веселья и счастья...“

Через минуту над заколдованной толпой в огромном зале, властная и захватывающая, стояла уже одна только песня слепых...

– Подайте слипеньким... р-ради Христа.

Но это уже была не просьба о милостыне и не жалкий вопль, заглушаемый шумом улицы. В ней было все то, что было и прежде, когда, под его влиянием, лицо Петра искажа-

лось и он бежал от фортепиано, не в силах бороться с ее разъедающей болью. Теперь он одолел ее в своей душе и побеждал души этой толпы глубиной и ужасом жизненной правды... Это была тьма на фоне яркого света, напоминание о горе среди полноты счастливой жизни...

Казалось, будто удар разразился над толпой, и каждое сердце дрожало, как будто он касался его своими быстро бегущими руками. Он давно уже смолк, но толпа хранила гробовое молчание.

Максим опустил голову и думал: „Да, он прозрел... На место слепого и неуголимого эгоистического страдания он носит в душе ощущение жизни, он чувствует и людское горе, и людскую радость, он прозрел и сумеет напомнить счастливым о несчастных...“

И старый солдат все ниже опускал голову. Вот и он сделал свое дело, и он не даром прожил на свете, ему говорили об этом полные силы властные звуки, стоявшие в зале, царившие над толпой...

Так дебютировал слепой музыкант.

1886-1898

Рассказы и очерки





Чудная

Очерк из 80-х годов



I

— Скоро ли станция, ямщик?
— Не скоро еще, — до метели вряд ли доехать, — вишь, закуржавело [71] как, сивера [72] идет.

Да, видно, до метели не доехать. К вечеру становится все холоднее. Слышно, как снег под полозьями поскрипывает, зимний ветер — сивера — гудит в темном бору, ветви елей протягиваются к узкой лесной дороге и угрюмо

качаются в опускающемся сумраке раннего вечера.

Холодно и неудобно. Кибитка узка, под бок давит, да еще некстати шашки и револьверы провожатых болтаются. Колокольчик выводит какую-то длинную, однообразную песню, в тон запевающей метели.

К счастью – вот и одинокий огонек станции на опушке гудящего бора.

Мои провожатые, два жандарма, бряцая целым арсеналом вооружения, стряхивают снег в жарко натопленной, темной, закопченной избе. Бедно и неприветно. Хозяйка укрепляет в светильне дымящую лучину.

– Нет ли чего поесть у тебя, хозяйка?

– Ничего нет-то у нас...

– А рыбы? Река тут у вас недалече.

– Была рыба, да выдра все позобала[73].

– Ну, картошки...

– И-и, батюшки! Померзла картошка-то у нас ноне, вся померзла.

Делать нечего; самовар, к удивлению, нашелся. Погрелись чаем, хлеба и луковиц принесла хозяйка в лукошке. А вьюга на дворе разыгрывалась, мелким снегом в окна сыпа-

ло, и по временам даже свет лучины вздрагивал и колебался.

– Нельзя вам ехать-то будет – ночуйте! – говорит старуха.

– Что ж, ночуем. Вам ведь, господин, торопиться-то некуда тоже. Видите – тут сторона-то какая!.. Ну, а там еще хуже – верьте слову, – говорит один из провожатых.

В избе все смолкло. Даже хозяйка сложила свою прясницу[74] с пряжей и улеглась, перестав светить лучину. Водворился мрак и молчание, нарушаемое только порывистыми ударами налетавшего ветра.

Я не спал. В голове, под шум бури, поднимались и летели одна за другой тяжелые мысли.

– Не спится, видно, господин? – произносит тот же провожатый – "старшой", человек довольно симпатичный, с приятным, даже как будто интеллигентным лицом, расторопный, знающий свое дело и поэтому не педант. В пути он не прибегает к ненужным стеснениям и формальностям.

– Да, не спится.

Некоторое время проходит в молчании, но

я слышу, что и мой сосед не спит, – чуется, что и ему не до сна, что и в его голове бродят какие-то мысли. Другой провожатый, молодой "подручный", спит сном здорового, но крепко утомленного человека. Временами он что-то невнятно бормочет.

– Удивляюсь я вам, – слышится опять ровный грудной голос унтера, – народ молодой, люди благородные, образованные, можно сказать, – а как свою жизнь проводите...

– Как?

– Эх, господин! Неужто мы не можем понимать!.. Довольно понимаем, не в эдакой, может, жизни были и не к этому сызмалетства-то привыкли.

– Ну, это вы пустое говорите... Было время и отвыкнуть...

– Неужто весело вам? – произносит он тоном сомнения.

– А вам весело?...

Молчание. Гаврилов (будем так звать моего собеседника), по-видимому, о чем-то думает.

– Нет, господин, невесело нам. Верьте слову: иной раз бывает – просто, кажется, на свет

не глядел бы... С чего уж это, не знаю, – только иной раз так подступит – нож острый, да и только.

– Служба, что ли, тяжелая?

– Служба службой... Конечно, не гулянье, да и начальство, надо сказать, строгое, а только все же не с этого...

– Так отчего же?

– Кто знает?...

Опять молчание.

– Служба что. Сам себя веди аккуратно, только и всего. Мне, тем более, домой скоро. Из сдаточных[75] я, так срок выходит. Начальник и то говорит: «Оставайся, Гаврилов, что тебе делать в деревне? На счету ты хорошему...»

– Останетесь?

– Нет. Оно, правда, и дома-то... От крестьянской работы отвык... Пицца тоже. Ну и, само собой, обхождение... Грубость эта...

– Так в чем же дело?

Он подумал и потом сказал:

– Вот я вам, господин, ежели не поскучаете, случай один расскажу... Со мной был...

– Расскажите...

Поступил я на службу в 1874 году, в эскадрон, прямо из сдаточных. Служил хорошо, можно сказать, с полным усердием, все больше по нарядам: в парад куда, к театру, – сами знаете. Грамоте хорошо был обучен, ну, и начальство не оставляло. Майор у нас земляк мне был и, как видя мое старание, призывает раз меня к себе и говорит: «Я тебя, Гаврилов, в унтер-офицеры представляю... Ты в командировках бывал ли?» – Никак нет, говорю, ваше высокоблагородие. – «Ну, говорит, в следующий раз назначу тебя в подручные, присмотришься – дело нехитрое». – Слушаю, говорю, ваше высокоблагородие, рад стараться.

А в командировках я точно что не бывал ни разу, – вот с вашим братом, значит. Оно, хоть, скажем, дело-то нехитрое, а все же, знаете, инструкции надо усвоить, да и расторопность нужна. Ну, хорошо...

Через неделю этак места зовет меня дневальный к начальнику и унтер-офицера одного вызывает. Пришли. "Вам, говорит, в командировку ехать. Вот тебе, – говорит унтер-офицеру, – подручный. Он еще не бывал.

Смотрите, не зевать, справьтесь, говорит, ребята, молодцами, – барышню вам везти из замка, политичку, Морозову. Вот вам инструкция, завтра деньги получай – и с Богом!.."

Иванов, унтер-офицер, в старших со мною ехал, а я в подручных, – вот как у меня теперь другой-то жандарм. Старшему сумка казенная дается, деньги он на руки получает, бумаги; он расписывается, счета эти ведет, ну, а рядовой в помощь ему: послать куда, за вещами присмотреть, то, другое.

Ну, хорошо. Утром, чуть свет еще, – от начальника вышли, – гляжу: Иванов мой уж выпить где-то успел. А человек был, надо прямо говорить, неподходящий – разжалован теперь... На глазах у начальства – как следует быть унтер-офицеру, и даже так, что на других кляузы наводил, выслуживался. А чуть с глаз долой, сейчас и завертится, и первым делом – выпить!

Пришли мы в замок, как следует, бумагу подали – ждем, стоим. Любопытно мне – какую барышню везти-то придется, а везти назначено нам по маршруту далеко. По самой

этой дороге ехали, только в город уездный она назначена была, не в волость. Вот мне и любопытно в первый-то раз: что, мол, за политичка такая?

Только прождали мы этак с час места, пока ее вещи собирали, – а и вещей-то с ней узелок маленький – юбочка там, ну, то, другое, – сами знаете. Книжки тоже были, а больше ничего с ней не было; небогатых, видно, родителей, думаю. Только выводят ее – смотрю: молодая еще, как есть ребенком мне показалась. Волосы русые, в одну косу собраны, на щеках румянец. Ну, потом увидел я – бледная совсем, белая во всю дорогу была. И сразу мне ее жалко стало... Конечно, думаю... Начальство, извините... зря не накажет... Значит, сделала какое-нибудь качество по этой, по политической части... Ну, а все-таки... жалко, так жалко – просто, ну!

Стала она одеваться: пальто, калоши... Вещи нам ее показали, – правило, значит: по инструкции мы вещи смотреть обязаны. "Деньги, спрашиваем, с вами какие будут?" Рубль двадцать копеек денег оказалось, – старшой к себе взял. "Вас, барышня, говорит

ей, я обыскать должен".

Как она тут вспыхнет. Глаза загорелись, румянец еще гуще выступил. Губы тонкие, сердитые... Как посмотрела на нас, – верите: оробел я и подступить не смею. Ну, а старшой, известно, выпивши: лезет к ней прямо. "Я, говорит, обязан; у меня, говорит, инструкция!.."

Как тут она крикнет, – даже Иванов и тот от нее попятился. Гляжу я на нее – лицо побледнело, ни кровинки, а глаза потемнели, и злая-презлая... Ногой топает, говорит шибко, – только я, признаться, хорошо и не слушал, что она говорила... Смотритель тоже испугался, воды ей принес в стакане. "Успокойтесь, – просит ее, – пожалуйста, говорит, сами себя пожалейте!" Ну, она и ему не уважила. "Варвары вы, говорит, холопы!" И прочие тому подобные дерзкие слова выражает. Как хотите: супротив начальства это ведь нехорошо. Ишь, думаю, змееныш... Дворянское отродье!

Так мы ее и не обыскивали. Увел ее смотритель в другую комнату, да с надзирательницей тотчас же и вышли они. "Ничего, говорит, при них нет". А она на него глядит и точ-

но вот смеется в лицо ему, и глаза злые всё. А Иванов, – известно, море по колена, – смотрит да все свое бормочет: "Не по закону; у меня, говорит, инструкция!.." Только смотритель внимания не взял. Конечно, как он пьяный. Пьяному какая вера!

Поехали. По городу проезжали, – все она в окна кареты глядит, точно прощается либо знакомых увидеть хочет. А Иванов взял да занавески опустил – окна и закрыл. Забилась она в угол, прижалась и не глядит на нас. А я, признаться, не утерпел-таки: взял за край одну занавеску, будто сам поглядеть хочу, – и открыл так, чтобы ей видно было... Только она и не посмотрела – в уголку сердитая сидит, губы закусила... В кровь, так я себе думал, искушает.

Поехали по железной дороге. Погода ясная этот день стояла – осенью дело это было, в сентябре месяце. Солнце-то светит, да ветер свежий, осенний, а она в вагоне окно откроет, сама высунется на ветер, так и сидит. По инструкции-то оно не полагается, знаете, окна открывать, да Иванов мой, как в вагон ввалился, так и захрапел; а я не смею ей сказать.

Потом осмелился, подошел к ней и говорю:

– Барышня, говорю, закройте окно. – Молчит, будто не ей и говорят. Постоял я тут, постоял, а потом опять говорю:

– Простудитесь, барышня, – холодно ведь.

Обернулась она ко мне и уставилась глазами, точно удивилась чему... Поглядела да и говорит: "Оставьте!" И опять в окно высунулась. Махнул я рукой, отошел в сторону.

Стала она спокойнее будто. Закроет окно, в пальтишко закутается вся, греется. Ветер, говорю, свежий был, студено! А потом опять к окну сядет, и опять на ветру вся, – после тюрьмы-то, видно, не наглядится. Повеселела даже, глядит себе, улыбается. И так на нее в те поры хорошо смотреть было!.. Верите совети...

Рассказчик замолчал и задумался. Потом продолжал, как будто слегка конфузясь:

– Конечно, не с привычки это... Потом много возил, привык. А тот раз чудно мне показалось: куда, думаю, мы ее везем, дите этакое... И потом... признаться вам, господин, уж вы не осудите: что, думаю, ежели бы у начальства попросить да в жены ее взять... Ведь уж я

бы из нее дурь-то эту выкурил. Человек я, тем более, служащий... Конечно, молодой разум... глупый... Теперь могу понимать... Попу тогда на духу рассказал, он говорит: "Вот от этой самой мысли порча у тебя и пошла. Потому что она, верно, и в Бога-то не верит..."

От Костромы на тройке ехать пришлось; Иванов у меня пьян-пьянешенек: проспится и опять заливаает. Вышел из вагона, шатается. Ну, думаю, плохо, как бы денег казенных не растерял. Ввалился в почтовую телегу, лег и разом захрапел. Села она рядом, – неловко. Посмотрела на него – ну, точно вот на гадину на какую. Подобралась так, чтобы не тронуть его как-нибудь, – вся в уголку и прижалась, а я-то уж на облучке[76] уселся. Как поехали – ветер сиверный, – я и то продрог. Закашляла крепко и платок к губам поднесла, а на платке, гляжу, кровь. Так меня будто кто в сердце кольнул булавкой. – Эх, говорю, барышня, – как можно! Больны вы, а в такую дорогу поехали, – осень, холодно!.. Нешто, говорю, можно этак!

Вскинула она на меня глазами, посмотрела, и точно опять внутри у нее закипать ста-

ло.

– Что вы, говорит, глупы, что ли? Не понимаете, что я не по своей воле еду? Хорош, говорит: сам везет, да туда же еще с жалостью суется!

– Вы бы, говорю, начальству заявили, – в больницу хоть слегли бы, чем в этакой холод ехать. Дорога-то ведь не близкая!

– А куда? – спрашивает.

А нам, знаете, строго запрещено объяснять преступникам, куда их везти приказано. Видит она, что я позамялся, и отвернулась. "Не надо, говорит, это я так... Не говорите ничего, да уж и сами не лезьте".

Не утерпел я. – Вот, говорю, куда вам ехать. Не близко! – Сжала она губы, брови сдвинула, да ничего и не сказала. Покачал я головой... – Вот то-то, говорю, барышня. Молоды вы, не знаете еще, что это значит!

Крепко мне досадно было... Рассердился... А она опять посмотрела на меня и говорит:

– Напрасно, говорит, вы так думаете. Знаю я хорошо, что это значит, а в больницу все-таки не слегла. Спасибо! Лучше уж, коли помирать, так на воле, у своих. А то, может, еще

и поправлюсь, так опять же на воле, а не в больнице вашей тюремной. Вы думаете, говорит, от ветру я, что ли, заболела, от простуды? Как бы не так! – "Там у вас, спрашиваю, сродственники, что ли, находятся?" Это я потому, как она мне выразила, что у *своих* поправляться хочет.

– Нет, говорит, у меня там ни родни, ни знакомых. Город-то мне чужой, да, верно, такие же, как и я, ссыльные есть, товарищи. – Подивился я – как это она чужих людей своими называет, – неужто, думаю, кто ее без денег там поить-кормить станет, да еще незнакомую?... Только не стал ее спрашивать, потому вижу я: брови она поднимает, недовольна, зачем я спрашиваю.

Ладно, думаю... Пущай! Нужды еще не видала. Хлебнет горя, узнает, небось, что значит чужая сторона...

К вечеру тучи надвинулись, ветер подул холодный, – а там и дождь пошел. Грязь и прежде была не высохши, а тут до того развезло – просто кисель, не дорога! Спину-то мне как есть грязью всю забрызгало, да и ей порядочно попадать стало. Одним словом ска-

зять, что погода, на ее несчастье, пошла самая скверная: дождиком прямо в лицо сечет; оно хоть, положим, кибитка-то крытая, и рогожей я ее закрыл, да куда тут! Течет всюду; продрогла, гляжу: вся дрожит и глаза закрыла. По лицу капли дождевые потекли, а щеки бледные, и не двинется, точно в бесчувствии. Испугался я даже. Вижу: дело-то, выходит, неподходящее, плохое... Иванов пьян – храпит себе, горюшка мало... Что тут делать, тем более я в первый раз.

В Ярославль город самым вечером приехали. Растволкал я Иванова, на станцию вышли, велел я самовар согреть. А из городу из этого пароходы ходят, только по инструкции нам на пароходах возить строго воспрещается. Оно хоть нашему брату выгоднее, – экономию загнать можно, да боязно. На пристани, знаете, полицейские стоят, а то и наш же брат, жандарм местный, кляuzu подвести завсегда может. Вот барышня-то и говорит нам: "Я, говорит, далее на почтовых не поеду. Как знаете, говорит, пароходом везите". А Иванов еле глаза продрал с похмелья – сердитый. "Вам об этом, говорит, рассуждать не полагается. Куда

повезут, туда и поедете!" Ничего она ему не сказала, а мне говорит:

– Слышали, говорит, что я сказала: не еду.

Отозвал я тут Иванова в сторону. "Надо, говорю, на пароходе везти. Вам же лучше: экономия останется". Он на это пошел, только трусит. "Здесь, говорит, полковник, так как бы чего не вышло. Ступай, говорит, спросись, – мне, говорит, нездоровится что-то". А полковник неподалеку жил. "Пойдем, говорю, вместе и барышню с собой возьмем". Боялся я: Иванов-то, думаю, спать завалится спьяну, так как бы чего не вышло. Чего доброго – уйдет она или над собой что сделает, – в ответ попадешь. Ну, пошли мы к полковнику. Вышел он к нам. "Что надо?" – спрашивает. Вот она ему и объясняет, да тоже и с ним неладно заговорила. Ей бы попросить смирененько: так и так, мол, сделайте божескую милость, – а она тут по-своему: "По какому праву", говорит, ну и прочее; все, знаете, дерзкие слова выражает, которые вы вопче, политики, любите. Ну, сами понимаете, начальству это не нравится. Начальство любит покорность. Однако выслушал он ее и ничего – вежливо от-

вечает: "Не могу-с, говорит, ничего я тут не могу. По закону-с... нельзя!" Гляжу, барышня-то моя опять раскраснелась, глаза – точно угли. "Закон!" – говорит, и засмеялась по-своему, сердито да громко. "Так точно, – полковник ей, – закон-с!"

Признаться, я тут позабылся немного, да и говорю: "Точно что, вашескородие, закон, да они, ваше высокоблагородие, больны". Посмотрел он на меня строго. "Как твоя фамилия?" – спрашивает. "А вам, барышня, говорит, если больны вы, – в больницу тюремную не угодно ли-с?" Отвернулась она и пошла вон, слова не сказала. Мы за ней. Не захотела в больницу; да и то надо сказать: уж если на месте не осталась, а тут без денег, да на чужой стороне, точно что не приходится.

Ну, делать нечего, Иванов на меня же накинулся: "Что, мол, теперь будет; непременно из-за тебя, дурака, оба в ответе будем". Велел лошадей запрягать и ночь переждать не согласился, так к ночи и выезжать пришлось. Подошли мы к ней: "Пожалуйте, говорим, барышня, – лошади поданы". А она на диван прилегла – только согреться стала. Вспрыг-

нула на ноги, встала перед нами, – выпрямилась вся, – прямо на нас смотрит в упор, даже, скажу вам, жутко на нее глядеть стало. "Проклятые вы", говорит, – и опять по-своему заговорила, непонятно. Ровно бы и по-русски, а ничего понять невозможно. Только сердито да жалко: "Ну, говорит, теперь ваша воля, вы меня замучить можете, – что хотите делаете. Еду!" А самовар-то все на столе стоит, она еще и не пила. Мы с Ивановым свой чай заварили, и ей я налил. Хлеб с нами белый был, я тоже ей отрезал. "Выкушайте, говорю, на дорогу-то. Ничего, хоть согреться немного". Она калоши надевала, бросила надевать, повернулась ко мне, смотрела, смотрела, потом плечами повела и говорит:

– Что это за человек такой! Совсем вы, кажется, сумасшедший. Стану я, говорит, ваш чай пить! – Вот до чего мне тогда обидно стало: и посейчас вспомню, кровь в лицо бросается. Вот вы не брезгаете же с нами хлеб-соль есть. Рубанова господина везли, – штаб-офицерский сын, а тоже не брезгал. А она побрезгала. Велела потом на другом столе себе самовар особо согреть, и уж известно: за чай за са-

хар вдвое заплатила. А всего-то и денег – рубль двадцать!

III

Рассказчик смолк, и на некоторое время в избе водворилась тишина, нарушаемая только ровным дыханием младшего жандарма и шипением метели за окном.

– Вы не спите? – спросил у меня Гаврилов.

– Нет, продолжайте, пожалуйста, – я слушаю.

– ... Много я от нее, – продолжал рассказчик, помолчав, – много муки тогда принял. Дорогой-то, знаете, ночью, все дождик, погода злая... Лесом поедешь, лес стоном стонет. Ее-то мне и не видно, потому ночь темная, ненастная, зги не видать, а поверите, – так она у меня перед глазами стоит, то есть даже до того, что вот, точно днем, ее вижу: и глаза ее, и лицо сердитое, и как она иззябла вся, а сама все глядит куда-то, точно всё мысли свои про себя в голове ворочает. Как со станции поехали, стал я ее тулупом одевать. "Наденьте, говорю, тулуп-то, – всё, знаете, теплее". Кинула тулуп с себя. "Ваш, говорит, тулуп, – вы и надевайте". Тулуп, точно, что мой был, да до-

гадался я и говорю ей: "Не мой, говорю, тулуп, казенный, по закону арестованным полагается". Ну, оделась...

Только и тулуп не помог: как рассвело, – глянул я на нее, а на ней лица нет. Со станции опять поехали, приказала она Иванову на облучок сесть. Поворчал он, да не посмел слушаться, тем более – хмель-то у него прошел немного. Я с ней рядом сел.

Трои сутки мы ехали и нигде не ночевали. Первое дело, по инструкции сказано: не останавливаться на ночлег, а "в случае сильной усталости" – не иначе, как в городах, где есть караулы. Ну, а тут, сами знаете, какие города!

Приехали-таки на место. Точно гора у меня с плеч долой, как город мы завидели. И надо вам сказать: в конце она почитай что на руках у меня и ехала. Вижу – лежит в повозке без чувств; тряхнет на ухабе телегу, так она головой о переплет и ударится. Поднял я ее на руку на правую, так и вез; все легче. Сначала оттолкнула было меня: "Прочь, говорит, не прикасайтесь!" А потом ничего. Может, оттого, что в беспамятстве была... Глаза-то закрыты, веки совсем потемнели, и лицо лучше ста-

ло, не такое сердитое. И даже так было, что засмеется сквозь сон и просветлеет, прижимается ко мне, к теплому-то. Верно, ей, бедной, хорошее во сне грезилось. Как к городу подъезжать стали, очнулась, поднялась... Погода-то прошла, солнце выглянуло, – повеселе-ла...

Только из губернии ее далее отправили, в городе в губернском не оставили, и нам же ее дальше везти привелось – тамошние жандармы в разъездах были. Как уезжать нам, – гляжу, в полицию народу набирается: барышни молодые да господа студенты, видно, из ссыльных... И все, точно знакомые, с ней говорят, за руку здороваются, расспрашивают. Денег ей сколько-то принесли, платок пуховый на дорогу, хороший... Проводили...

Ехала веселая, только кашляла часто. А на нас и не смотрела.

Приехали в уездный город, где ей жительство назначено; сдали ее под расписку. Сейчас она фамилию какую-то называет. "Здесь, говорит, такой-то?" – "Здесь", отвечают. Исправник приехал. "Где, говорит, жить станете?" – "Не знаю, говорит, а пока к Рязанцеву

пойду". Покачал он головой, а она собралась и ушла. С нами и не попрощалась...

IV

Рассказчик смолк и прислушался, не сплю ли я.

– Так вы ее больше и не видели?

– Видал, да лучше бы уж не видать было...

... И скоро даже я опять ее увидел. Как приехали мы из командировки, – сейчас нас опять нарядили, и опять в ту же сторону. Студента одного возили, Загряжского. Веселый такой, песни хорошо пел и выпить был не дурак. Его еще дальше послали. Вот поехали мы через город тот самый, где ее оставили, и стало мне любопытно про житее ее узнать. "Тут, спрашиваю, барышня-то наша?" Тут, говорят, только чудная она какая-то: как приехала, так прямо к ссыльному пошла, и никто ее после не видал, – у него и живет. Кто говорит: больна она, а то бают: вроде она у него за любовницу живет. Известно, народ болтает... А мне вспомнилось, что она говорила: "Помереть мне у *своих* хочется". И так мне любопытно стало... и не то, что любопытно, а, попросту сказать, потянуло. Схожу, думаю, по-

видаю ее. От меня она зла не видала, а я на ней зла не помню. Сем[77] схожу...

Пошел, – добрые люди дорогу показали; а жила она в конце города. Домик маленький, дверца низенькая. Вошел я к ссыльному-то к этому, гляжу: чисто у него, комната светлая, в углу кровать стоит, и занавеской угол отгорожен. Книг много, на столе, на полках... А рядом мастерская махонькая, там на скамейке другая постель положена.

Как вошел я, – она на постели сидела, шалью обернута и ноги под себя подобрала, – шьет что-то. А ссыльный... Рязанцев господин по фамилии... рядом на скамейке сидит, в книжке ей что-то вычитывает. В очках, человек, видно, сурьезный. Шьет она, а сама слушает. Стукнул я дверью, она, как увидела, приподнялась, за руку его схватила, да так и замерла. Глаза большие, темные да страшные... ну, все, как и прежде бывало, только еще бледнее с лица мне показалась. За руку его крепко стиснула, – он испугался, к ней кинулся: "Что, говорит, с вами? Успокойтесь!" А сам меня не видит. Потом отпустила она руку его, – с постели встать хочет. "Прощайте, – го-

ворит ему, – видно, им для меня и смерти хорошей жалко". Тут и он обернулся, увидал меня, – как вскочит на ноги. Думал я – кинется... убьет, пожалуй. Человек тем более рослый, здоровый...

Они, знаете, подумали так, что опять это за нею приехали... Только видит он – стою я и сам ни жив ни мертв, да и один. Повернулся к ней, взял за руку. "Успокойтесь, говорит. – А вам, спрашивает, кавалер, что здесь, собственно, понадобилось?... Зачем пожаловали?"

Я объяснил, что, мол, ничего мне не нужно, а так пришел, сам по себе. Как вез, мол, барышню, и были они нездоровы, так узнать пришел... Ну, он обмяк. А она все такая же сердитая, кипит вся. И за что бы, кажется? Иванов, конечно, человек необходимый. Так я же за нее заступался...

Разобрал он, в чем дело, засмеялся к ней: "Ну вот видите, говорит, я же вам говорил". Я так понял, что уж у них был разговор обо мне... Про дорогу она, видно, рассказывала.

– Извините, говорю, ежели напугал вас... Не вовремя или что... Так я и уйду. Прощайте,

мол, не поминайте лихом, добром, видно, не помянете.

Встал он, в лицо мне посмотрел и руку подает.

– Вот что, говорит, поедете назад, свободно будет, – заходите, пожалуйста. – А она смотрит на нас да усмехается по-своему, нехорошо.

– Не понимаю я, говорит, зачем ему заходить? И для чего зовете? – А он ей: – Ничего, ничего! Пусть зайдет, если сам опять захочет... Заходите, заходите, ничего!

Не все я, признаться, понял, что они тут еще говорили. Вы ведь, господа, мудроно иной раз промеж себя разговариваете... А любопытно. Ежели бы так остаться, послушать... ну, мне неловко, – как бы чего не подумали. Ушел.

Ну, только свезли мы господина Загрязского на место, едем назад. Призывает исправник старшего и говорит: "Вам тут остаться вперед до распоряжения; телеграмму получил. Бумаг вам ждать по почте". Ну, мы, конечно, остались.

Вот я опять к ним: дай, думаю, зайду – хоть у хозяев про нее спрошу. Зашел. Говорит хозя-

ин домовый: "Плохо, говорит, как бы не померла. Боюсь, в ответ не попасть бы, – потому собственно, что попа звать не станут". Только стоим мы, разговариваем, а в это самое время Рязанцев вышел. Увидел меня, поздоровался, да и говорит: "Опять пришел? Что ж, войди, пожалуй". Я и вошел тихонько, а он за мной вошел. Поглядела она, да и спрашивает: "Опять этот странный человек!.. Вы, что ли, его позвали?" – "Нет, говорит, не звал я, – сам он пришел". Я не утерпел и говорю ей:

– Что это, говорю, барышня, – за что вы сердце против меня имеете? Или я враг вам какой?

– Враг и есть, говорит, – а вы разве не знаете? Конечно, враг! – Голос у нее слабый стал, тихий, на щеках румянец так и горит, и столь лицо у нее приятное... кажется, не нагледелся бы. Эх, думаю, – не жилица она на свете, – стал прощения просить, – как бы, думаю, без прощения не померла. "Простите меня, говорю, коли вам зло какое сделал". Известно, как по-нашему, по-христиански полагается... А она опять, гляжу, закипает... "Простить! вот еще! Никогда не прощу, и не думайте, нико-

гда! Помру скоро... так и знайте: не простила!"

Рассказчик опять смолк и задумался. Потом продолжал тише и сосредоточеннее:

– Опять у них промежду себя разговор пошел. Вы вот человек образованный, по-ихнему понимать должны, так я вам скажу, какие слова я упомянул. Слова-то запали, и посеичас помню, а смыслу не знаю. Он говорит:

– Видите, не жандарм к вам пришел сейчас... Жандарм вас вез, другого повезет, так это он все по инструкции. А сюда-то его разве инструкция привела? Вы вот что, говорит, господин кавалер, не знаю, как звать вас...

– Степан, – говорю.

– А по батюшке как?

– Петровичем звали.

– Так вот, мол, Степан Петрович. Вы ведь сюда почему пришли? По человечеству? Правда?

– Конечно, говорю, по человечеству. Это, говорю, вы верно объясняете. Ежели по инструкции, так это нам вовсе даже не полагается, что к вам заходить без надобности. Начальство узнает – не похвалит.

– Ну, вот видите, – он ей говорит и за руку

ее взял. Она руку выдернула.

– Ничего, говорит, не вижу. Это вы видите, чего и нет. А мы с ним вот (это значит со мной) люди простые. Враги так враги, и нечего тут антимионии разводить. Ихнее дело – смотри, наше дело – не зевай. Он, вот видите: стоит, слушает. Жалко, не понимает, а то бы в донесении все написал...

Повернулся он в мою сторону, смотрит прямо на меня, в очки. Глаза у него острые, а добрые: "Слышите? – мне говорит. – Что же вы скажете?... Впрочем, не объясняйте ничего: я так считаю, что вам это обидно".

Оно, скажем, конечно... по инструкции так полагается, что ежели что супротив интересу, то обязан я, по присяжной должности, на отца родного донести... Ну, только как я не затем, значит, пришел, то верно, что обидно мне показалось, просто за сердце взяло. Повернулся к дверям, да Рязанцев удержал.

– Погоди, говорит, Степан Петрович, – не уходи еще. – А ей говорит: "Нехорошо это... Ну, не прощайте, и не миритесь. Об этом что говорить. Он и сам, может, не простил бы, ежели бы как следует все понял... Да ведь и

враг тоже человек бывает... А вы этого-то вот и не признаете. Сек-тан-тка вы, говорит, вот что!"

– Пусть, – она ему, – а вы равнодушный человек... Вам бы, говорит, только книжки читать...

Как она ему это слово сказала, – он, чудное дело, даже на ноги вскочил. Точно ударила его. Она, вижу, испугалась даже.

– Равнодушный? – он говорит. – Ну, вы сами знаете, что неправду сказали.

– Пожалуй, – она ему отвечает... – А вы мне – правду?...

– А я, – говорит, – правду: настоящая вы борыня Морозова[78]...

Задумалась она, руку ему протянула; он руку-то взял, а она в лицо ему посмотрела-посмотрела, да и говорит: "Да, вы, пожалуй, и правы!" А я стою, как дурак, смотрю, а у самого так и сосет что-то у сердца, так и подступает. Потом обернулась ко мне, посмотрела и на меня без гнева и руку подала. "Вот, говорит, что я вам скажу: враги мы до смерти... Ну, да Бог с вами, руку вам подаю, – желаю вам когда-нибудь человеком стать – вполне, не по

инструкции... Устала я", – говорит ему.

Я и вышел. Рязанцев тоже за мной вышел. Стали мы во дворе, и вижу я: на глазах у него будто слеза поблескивает.

– Вот что, говорит, Степан Петрович. Долго вы еще тут пробудете?

– Не знаю, говорю, может, и еще дня три, до почты.

– Ежели, говорит, еще зайти захотите, так ничего, зайдите. Вы, кажется, говорит, человек, по своему делу, ничего...

– Извините, говорю, напугал...

– То-то, говорит, уж вы лучше хозяйке сначала скажите.

– А что я хочу спросить, говорю: вы вот про боярыню говорили, про Морозову. Они, значит, боярского роду?

– Боярского, говорит, или не боярского, а уж порода такая: сломать ее, говорит, можно... Вы и то уж сломали... Ну, а согнуть, – сам, чай, видел: не гнутся такие.

На том и попрощались.

V

... Померла она скоро. Как хоронили ее, я и не видал – у исправника был. Только на дру-

гой день ссыльного этого встретил; подошел к нему – гляжу: на нем лица нет...

Росту был он высокого, с лица сурьезный, да ранее приветливо смотрел, а тут зверем на меня, как есть, глянул. Подал было руку, а потом вдруг руку мою бросил и сам отвернулся. "Не могу, говорит, я тебя видеть теперь. Уйди, братец, Бога ради, уйди!.." Опустил голову, да и пошел, а я на фатеру пришел, и так меня засосало, – просто, пищи дни два не принимал. С этих самых пор тоска и увязалась ко мне. Точно порченный.

На другой день исправник призвал нас и говорит: "Можете, говорит, теперь отправляться: пришла бумага, да поздно". Видно, опять нам ее везти пришлось бы, да уж Бог ее пожалел: сам убрал.

... Только что еще со мной после случилось, – не конец ведь еще. Назад едучи, приехали мы на станцию одну... Входим в комнату, а там на столе самовар стоит, закуска всякая, и старушка какая-то сидит, хозяйку чаем угощает. Чистенькая старушка, маленькая, да веселая такая и говорливая. Все хозяйке про свои дела рассказывает: "Вот, говорит, собра-

ла я пожитки, дом-то, по наследству который достался, продала и поехала к моей голубке. То-то обрадуется! Уж и побранит, рассердится, знаю, что рассердится, – а все же рада будет. Писала мне, не велела приезжать. Чтобы даже ни в каком случае не смела я к ней ехать. Ну, да ничего это!"

Так тут меня ровно кто под левый бок толкнул. Вышел я в кухню. "Что за старушка?" – спрашиваю у девки-прислуги. "А это, говорит, самой той барышни, что вы тот раз везли, матушка родная будет". Тут меня шатнуло даже. Видит девка, как я в лице расстроился, спрашивает: "Что, говорит, служивый, с тобой?"

– Тише, говорю, что орешь... барышня-то померла.

Тут она, девка эта, – и девка-то, надо сказать, гулящая была, с проезжающими баловала, – как всплеснет руками да как заплачет, и из избы вон. Взял и я шапку, да и сам вышел, – слышал только, как старуха в зале с хозяйкой все болтают, и так мне этой старухи страшно стало, так страшно, что и выразить невозможно. Побрел я прямо по дороге, – по-

сле уж Иванов меня догнал с телегой, я и сел.

VI

... Вот какое дело!.. А исправник донес, видно, начальству, что я к ссыльным ходил, да и полковник костромской тоже донес, как я за нее заступался, – одно к одному и подошло. Не хотел меня начальник и в унтер-офицеры представлять. «Какой ты, говорит, унтер-офицер, – баба ты! В карцер бы тебя, дурака!» Только я в это время в равнодушии находился и даже нисколько не жалел ничего.

И все я эту барышню сердитую забыть не мог, да и теперь то же самое: так и стоит, бывает, перед глазами.

Что бы это значило? Кто бы мне объяснил! Да вы, господин, не спите?

Я не спал... Глубокий мрак закинутой в лесу избушки томил мою душу, и скорбный образ умершей девушки вставал в темноте под глухие рыдания бури...

Сон Макара

Святочный рассказ



I

Этот сон видел бедный Макар, который загнал своих телят в далекие, угрюмые страны, – тот самый Макар, на которого, как известно, валятся все шишки.

Его родина – глухая слободка Чалган – затерялась в далекой якутской тайге. Отцы и деды Макара отвоевали у тайги кусок промерзшей

землицы, и хотя угрюмая чаща все еще стояла кругом враждебной стеной, они не унывали. По расчищенному месту побежали изгороди, стали скирды и стога, разрастались маленькие дымные юртенки; наконец, точно победное знамя, на холмике из середины поселка выстрелила к небу колокольня. Стал Чалган большою слободой.

Но пока отцы и деды Макара воевали с тайгой, жгли ее огнем, рубили железом, сами они незаметно дичали. Женясь на якутках, они перенимали якутский язык и якутские нравы. Характеристические черты великого русского племени стирались и исчезали.

Как бы то ни было, все же мой Макар твердо помнил, что он коренной чалганский крестьянин. Он здесь родился, здесь жил, здесь же предполагал умереть. Он очень гордился своим званием и иногда ругал других "погаными якутами", хотя, правду сказать, сам не отличался от якутов ни привычками, ни образом жизни. По-русски он говорил мало и довольно плохо, одевался в звериные шкуры, носил на ногах торбаса[79], питался в обычное время одною лепешкой с настоящим кир-

пичного чая, а в праздники и в других экстренных случаях съедал топленого масла именно столько, сколько стояло перед ним на столе. Он ездил очень искусно верхом на быках, а в случае болезни призывал шамана, который, беснуясь, со скрежетом кидался на него, стараясь испугать и выгнать из Макара засевшую хворь.

Работал он страшно, жил бедно, терпел голод и холод. Были ли у него какие-нибудь мысли, кроме непрерывных забот о лепешке и чае?

Да, были.

Когда он бывал пьян, он плакал. "Какая наша жизнь, – говорил он, – Господи Боже!" Кроме того, он говорил иногда, что желал бы все бросить и уйти на "гору". Там он не будет ни пахать, ни сеять, не будет рубить и возить дрова, не будет даже молотить зерно на ручном жернове. Он будет только спасаться. Какая это гора, где она, он точно не знал; знал только, что гора эта есть, во-первых, а во-вторых, что она где-то далеко, – так далеко, что оттуда его нельзя будет добыть самому тойону-исправнику... Податей платить, понятно, он

также не будет...

Трезвый он оставлял эти мысли, быть может сознавая невозможность найти такую чудную гору; но пьяный становился отважнее. Он допускал, что может не найти настоящую гору и попасть на другую. "Тогда пропадать буду", говорил он, но все-таки собирался; если же не приводил этого намерения в исполнение, то, вероятно, потому, что поселенцы-татары продавали ему всегда скверную водку, настоящую, для крепости, на махорке, от которой он вскоре впадал в бессилие и становился болен.

II

Дело было в канун Рождества, и Макару было известно, что завтра большой праздник. По этому случаю его томило желание выпить, но выпить было не на что: хлеб был в исходе; Макар уже задолжал у местных купцов и у татар. Между тем завтра большой праздник, работать нельзя, – что же он будет делать, если не напьется? Эта мысль делала его несчастным. Какая его жизнь! Даже в большой зимний праздник он не выпьет одну бутылку водки!

Ему пришла в голову счастливая мысль. Он встал и надел свою рваную сону (шубу). Его жена, крепкая, жилистая, замечательно сильная и столь же замечательно безобразная женщина, знавшая насквозь все его нехитрые помышления, угадала и на этот раз его намерение.

– Куда, дьявол? Опять один водку кушать хочешь?

– Молчи! Куплю одну бутылку. Завтра вместе выпьем. – Он хлопнул ее по плечу так сильно, что она покачнулась, и лукаво подмигнул. Таково женское сердце: она знала, что Макар непременно ее надует, но поддавалась обаянию супружеской ласки.

Он вышел, поймал в *аласе*[80] старого лысанку, привел его за гриву к саням и стал запрягать. Вскоре лысанка вынес своего хозяина за ворота. Тут он остановился и, повернув голову, вопросительно поглядел на погруженного в задумчивость Макара. Тогда Макар дернул левою вожжей и направил коня на край слободы.

На самом краю слободы стояла небольшая юртенка. Из нее, как и из других юрт, подни-

мался высоко-высоко дым камелька, застилая белую, волнующуюся массой холодные звезды и яркий месяц. Огонь весело переливался, отсвечивая сквозь матовые льдины. На дворе было тихо.

Здесь жили чужие, дальние люди. Как попали они сюда, какая непогода кинула их в далекие дебри, Макар не знал и не интересовался, но он любил вести с ними дела, так как они его не прижимали и не очень стояли за плату.

Войдя в юрту, Макар тотчас же подошел к камельку и протянул к огню свои иззябшие руки.

– Ча! – сказал он, выражая тем ощущение холода.

Чужие люди были дома. На столе горела свеча, хотя они ничего не работали. Один лежал на постели и, пуская кольца дыма, задумчиво следил за его завитками, видимо связывая с ними длинные нити собственных дум. Другой сидел против камелька и тоже вдумчиво следил, как перебегали огни по нагоревшему дереву.

– Здорово! – сказал Макар, чтобы прервать

тяготившее его молчание.

Конечно, он не знал, какое горе лежало на сердце чужих людей, какие воспоминания теснились в их головах в этот вечер, какие образы чудились им в фантастических переливах огня и дыма. К тому же у него была своя забота.

Молодой человек, сидевший у камелька, поднял голову и посмотрел на Макара смутным взглядом, как будто не узнавая его. Потом он тряхнул головой и быстро поднялся со стула.

– А, здорово, здорово, Макар! Вот и отлично! Напьешься с нами чаю?

Макару предложение понравилось.

– Чаю? – переспросил он. – Это хорошо!.. Вот, брат, хорошо... Отлично!

Он стал живо разоблачаться. Сняв шубу и шапку, он почувствовал себя развязнее, а увидав, что в самоваре запылали уже горячие угли, обратился к молодому человеку с излиянием:

– Я вас люблю, верно!.. Так люблю, так люблю... Ночи не сплю...

Чужой человек повернулся, и на лице его

появилась горькая улыбка.

– А, любишь? – сказал он. – Что же тебе надо?

Макар замялся.

– Есть дело, – ответил он. – Да ты почему узнал?... Ладно. Ужо, чай выпью, скажу.

Так как чай был предложен Макару самими хозяевами, то он счел уместным пойти далее.

– Нет ли жареного? Я люблю, – сказал он.

– Нет.

– Ну, ничего, – сказал Макар успокоительным тоном, – съем в другой раз... Верно? – переспросил он, – в другой раз?

– Ладно.

Теперь Макар считал за чужими людьми в долгу кусок жареного мяса, а у него подобные долги никогда не пропадали.

Через час он опять сел в свои дровни. Он добыл целый рубль, продав вперед пять возов дров на сходных сравнительно условиях. Правда, он клялся и божился, что не пропьет этих денег сегодня, а сам намеревался это сделать немедленно. Но что за дело? Предстоящее удовольствие заглушало укоры совести.

Он не думал даже о том, что, пьяному, ему предстоит жестокая трепка от обманутой верной супруги.

– Куда же ты, Макар? – крикнул, смеясь, чужой человек, видя, что лошадь Макара, вместо того чтобы ехать прямо, свернула влево, по направлению к татарам.

– Тпру-у!.. Тпру-у!.. Видишь, конь проклятый какой... куда едет! – оправдывался Макар, все-таки крепко натягивая левую вожжу и незаметно подхлестывая лысанку правой.

Умный конек, помахивая укоризненно хвостом, тихо поковылял в требуемом направлении, и вскоре скрип Макаровых полозьев затих у татарских ворот.

III

У татарских ворот стояли на привязи несколько коней с высокими якутскими седлами.

В тесной избе было душно. Резкий дым махорки стоял целой тучей, медленно вытягиваемый камельком. За столами и на скамейках сидели приезжие якуты; на столах стояли чашки с водкой; кое-где помещались кучки играющих в карты. Лица были потны и крас-

ны. Глаза игроков дико следили за картами. Деньги вынимались и тотчас же прятались по карманам. В углу, на соломе, пьяный якут покачивался сидя и тянул бесконечную песню. Он выводил горлом дикие скрипучие звуки, повторяя на разные лады, что завтра большой праздник, а сегодня он пьян.

Макар отдал деньги, и ему дали бутылку. Он сунул ее за пазуху и незаметно для других отошел в темный угол. Там он наливал чашку за чашкой и тянул их одна за другой. Водка была горькая, разведенная, по случаю праздника, водой более чем на три четверти. Зато махорки, видимо, не жалели. У Макара каждый раз захватывало на минуту дыхание, и в глазах ходили какие-то багровые круги.

Вскоре он опьянел. Он тоже опустился на солому и, обхватив руками колени, положил на них отяжелевшую голову. Из его горла сами собой полились те же нелепые скрипучие звуки. Он пел, что завтра праздник и что он выпил пять возов дров.

Между тем, в избе становилось все теснее и теснее. Входили новые посетители – якуты, приехавшие молиться и пить татарскую вод-

ку. Хозяин увидел, что скоро не хватит всем места. Он встал из-за стола и окинул взглядом собрание. Взгляд этот проник в темный угол и увидел там якута и Макара.

Он подошел к якуту и, взяв его за шиворот, вышвырнул вон из избы. Потом подошел к Макару. Ему, как местному жителю, татарин оказал больше почета: широко отворив двери, он поддал бедняге сзади ногой такого леща, что Макар вылетел из избы и ткнулся носом прямо в сугроб снега.

Трудно сказать, был ли он оскорблен подобным обращением. Он чувствовал, что в рукавах у него снег, снег на лице. Кое-как выбравшись из сугроба, он поплелся к своему лысанке.

Луна поднялась уже высоко. Большая Медведица стала опускать хвост книзу. Мороз крепчал. По временам на севере, из-за темного полукруглого облака, вставали, слабо играя, огненные столбы начинавшегося северного сияния.

Лысанка, видимо, понимавший положение хозяина, осторожно и разумно поплелся к дому. Макар сидел на дровнях, покачиваясь, и

продолжал свою песню. Он пел, что выпил пять возов дров и что старуха будет его колотить. Звуки, вырывавшиеся из его горла, скрипели и стонали в вечернем воздухе так уныло и жалобно, что у чужого человека, который в это время взобрался на юрту, чтобы закрыть трубу камелька, стало от Макаровой песни еще тяжелее на сердце. Между тем лысанка вынес дровни на холмик, откуда видны были окрестности. Снега ярко блестели, облитые лунным сиянием. Временами свет луны как будто таял, снега темнели, и тотчас же на них переливался отблеск северного сияния. Тогда казалось, что снежные холмы и тайга на них то приближались, то опять удалялись. Макару ясно виднелась под самой тайгой снежная плешь Ямалахского холмика, за которым в тайге у него поставлены были ловушки для всякого лесного зверя и птицы.

Это изменило ход его мыслей. Он запел, что в ловушку его попала лисица. Он продаст завтра шкуру, и старуха не станет его колотить.

В морозном воздухе раздался первый удар колокола, когда Макар вошел в избу. Он пер-

вым словом сообщил старухе, что у них в плашку[81] попала лисица. Он совсем забыл, что старуха не пила вместе с ним водки, и был сильно удивлен, когда, невзирая на радостное известие, она немедленно нанесла ему ногою жестокий удар пониже спины. Затем, пока он повалился на постель, она еще успела толкнуть его кулаком в шею.

Над Чалганом между тем неся, разливаясь далеко-далеко, торжественный праздничный звон.

IV

Он лежал на постели. Голова у него горела. Внутри жгло, точно огнем. По жилам разливалась крепкая смесь водки и табачного настоя. По лицу текли холодные струйки талого снега; такие же струйки стекали и по спине.

Старуха думала, что он спит. Но он не спал. Из головы у него не шла лисица. Он успел вполне убедиться, что она попала в ловушку; он даже знал, в которую именно. Он ее видел, – видел, как она, прищемленная тяжелой плахой, роет снег когтями и старается вырваться. Лучи луны, продираясь сквозь чащу, играли на золотой шерсти. Глаза зверя свер-

кали ему навстречу.

Он не выдержал и, встав с постели, направился к своему верному лысанке, чтобы ехать в тайгу.

Что это? Неужели сильные руки старухи схватили за воротник его соны, и он опять брошен на постель?

Нет, вот он уже за слободой. Полозья ровно поскрипывают по крепкому снегу. Чалган остался сзади. Сзади несется торжественный гул церковного колокола, а над темною чертой горизонта, на светлом небе мелькают черными силуэтами вереницы якутских всадников, в высоких, остроконечных шапках. Якуты спешат в церковь.

Между тем, луна опустилась, а вверху, в самом зените, стало белесоватое облачко и засияло переливчатым фосфорическим блеском. Потом оно как будто разорвалось, растянулось, прыснуло, и от него быстро потянулись в разные стороны полосы разноцветных огней, между тем как полукруглое темное облачко на севере еще более потемнело. Оно стало черно, чернее тайги, к которой приближался Макар.

Дорога вилась между мелкою, частою порослью. Направо и налево подымались холмы. Чем далее, тем выше становились деревья. Тайга густела. Она стояла безмолвная и полная тайны. Голые деревья лиственниц были опущены серебряным инеем. Мягкий свет сполоха, продираясь сквозь их вершины, ходил по ней, кое-где открывая то снежную полянку, то лежащие трупы разбитых лесных гигантов, запущенных снегом... Мгновение – и все опять тонуло во мраке, полном молчания и тайны.

Макар остановился. В этом месте, почти на самую дорогу, выдвигалось начало целой системы ловушек. При фосфорическом свете ему была ясно видна невысокая городьба из валежника; он видел даже первую плаху – три тяжелые длинные бревна, упертые на отвесном колу и поддерживаемые довольно хитрою системой рычагов с волосяными веревочками.

Правда, это были чужие ловушки; но ведь лисица могла попасть и в чужие. Макар торопливо сошел с дровней, оставил умного лысанку на дороге и чутко прислушался.

В тайге ни звука. Только из далекой, невидной теперь слободы неся по-прежнему торжественный звон.

Можно было не опасаться. Владелец ловушек, Алешка-чалганец, сосед и кровный враг Макара, наверное, был теперь в церкви. Не было видно ни одного следа на ровной поверхности недавно выпавшего снега.

Он пустился в чащу – ничего. Под ногами хрустит снег. Плахи стоят рядами, точно ряды пушек с открытыми жерлами, в безмолвном ожидании.

Он прошел назад и вперед – напрасно. Он направился опять на дорогу.

Но, чу!.. Легкий шорох... В тайге мелькнула красноватая шерсть, на этот раз в освещенном месте, так близко!.. Макар ясно видел острые уши лисицы; ее пушистый хвост вилял из стороны в сторону, как будто заманивая Макара в чащу. Она исчезла между стволами, в направлении Макаровых ловушек, и вскоре по лесу пронесся глухой, но сильный удар. Он прозвучал сначала отрывисто, глухо, потом как будто отдался под навесом тайги и тихо замер в далеком овраге.

Сердце Макара забилося. Это упала плаха.

Он бросился, пробираясь, сквозь чащу. Холодные ветви били его по глазам, сыпали в лицо снегом. Он спотыкался; у него захватывало дыхание.

Вот он выбежал на просеку, которую некогда сам прорубил. Деревья, белые от инея, стояли по обеим сторонам, а внизу, суживаясь, маячила дорожка, и в конце ее насторожилось жерло большой плахи... Недалеко...

Но вот на дорожке около плахи мелькнула фигура, – мелькнула и скрылась. Макар узнал чалганца Алешку: ему ясно была видна его небольшая коренастая фигура, согнутая вперед, с походкой медведя. Макару казалось, что темное лицо Алешки стало еще темнее, а большие зубы оскалились еще более, чем обычно.

Макар чувствовал искреннее негодование. "Вот подлец!.. Он ходит по моим ловушкам". Правда, Макар и сам сейчас только прошел по плахам Алешки, но тут была разница... Разница состояла именно в том, что, когда он сам ходил по чужим ловушкам, он чувствовал страх быть застигнутым; когда же по его пла-

хам ходили другие, он чувствовал негодование и желание самому настигнуть нарушителя его прав.

Он бросился наперерез к упавшей плахе. Там была лисица. Алешка своею развалистою, медвежьей походкой направлялся туда же. Надо было поспевать ранее.

Вот и лежащая плаха. Под нею краснеет шерсть прихлопнутого зверя. Лисица рылась в снегу когтями именно так, как она ему виделась прежде, и так же смотрела ему навстречу своими острыми, горящими глазами.

– *Тытымá* (не тронь)!.. Это мое! – крикнул Макар Алешке.

– *Тытымá!* – отдался, точно эхо, голос Алешки. – Мое!

Они оба побежали в одно время и торопливо, наперебой, стали поднимать плаху, освобождая из-под нее зверя. Когда плаха была приподнята, лисица поднялась также. Она сделала прыжок, потом остановилась, посмотрела на обоих чалганцев каким-то насмешливым взглядом, потом, загнув морду, лизнула прищемленное бревном место и весело побежала вперед, приветливо виляя хвостом.

СТОМ.

Алешка бросился было за нею, но Макар схватил его сзади за полу соны.

– *Тытымá!* – крикнул он. – Это мое! – и сам побежал вслед за лисицей.

– *Тытымá!* – опять эхом отдался голос Алешки, и Макар почувствовал, что тот схватил его, в свою очередь, за сону и в одну секунду опять выбежал вперед.

Макар обозлился. Он забыл про лисицу и устремился за Алешкой.

Они бежали все быстрее. Ветка лиственницы сдернула шапку с головы Алешки, но тому некогда было подымать ее: Макар уже настигал его с яростным криком. Но Алешка всегда был хитрее бедного Макара. Он вдруг остановился, повернулся и нагнул голову. Макар ударился в нее животом и кувыркнулся в снег. Пока он падал, проклятый Алешка схватил с головы Макара шапку и скрылся в тайге.

Макар медленно поднялся. Он чувствовал себя окончательно побитым и несчастным. Нравственное состояние было отвратительно. Лисица была в руках, а теперь... Ему казалось,

что в потемневшей чаще она насмешливо вильнула еще раз хвостом и окончательно скрылась.

Потемнело. Белесоватое облачко чуть-чуть виднелось в зените. Оно как будто тихо таяло, и от него, как-то устало и томно, лились еще замиравшие лучи сияния.

По разгоряченному телу Макара бежали целые потоки острых струек талого снега. Снег попал ему в рукава, за воротник соны, стекал по спине, лился за торбаса. Проклятый Алешка унес с собой его шапку. Рукавицы он потерял где-то на бегу. Дело было плохо. Макар знал, что лютый мороз не шутит с людьми, которые уходят в тайгу без рукавиц и без шапки.

Он шел уже долго. По его расчетам он давно должен бы уже выйти из Ямалаха и увидеть колокольню, но он все кружил по тайге. Чаща, точно заколдованная, держала его в своих объятиях. Издали доносился все тот же торжественный звон. Макару казалось, что он идет на него, но звон все удалялся, и, по мере того, как его переливы доносились все тише и тише, в сердце Макара вступало тупое

отчаяние.

Он устал. Он был подавлен. Ноги подкашивались. Его избитое тело ныло тупою болью. Дыхание в груди захватывало. Руки и ноги коченели. Обнаженную голову стягивало точно раскаленными обручами.

"Пропадать буду, однако!" – все чаще и чаще мелькало у него в голове. Но он все шел.

Тайга молчала. Она только смыкалась за ним с каким-то враждебным упорством и нигде не давала ни просвета, ни надежды.

"Пропадать буду, однако!" – все думал Макар.

Он совсем ослаб. Теперь молодые деревья прямо, без всяких стеснений, били его по лицу, издеваясь над его беспомощным положением. В одном месте на прогалину выбежал белый ушкан (заяц), сел на задние лапки, повел длинными ушами с черными отметинками на концах и стал умываться, делая Макару самые дерзкие рожи. Он давал ему понять, что он отлично знает его, Макара, – знает, что он и есть тот самый Макар, который настроил в тайге хитрые машины для его, зайца, гибели. Но теперь он над ним издевался.

Макару стало горько. Между тем тайга все оживлялась, но оживлялась враждебно. Теперь даже дальние деревья протягивали длинные ветви на его дорожку и хватали его за волосы, били по глазам, по лицу. Тетерева выходили из тайных логовищ и уставлялись в него любопытными круглыми глазами, а косачи[82] бегали между ними, с распущенными хвостами и сердито оттопыренными крыльями, и громко рассказывали самкам про него, Макара, и про его козни. Наконец в дальних чащах замелькали тысячи лисьих морд. Они тянули воздух и насмешливо смотрели на Макара, поводя острыми ушами. А зайцы становились перед ним на задние лапки и хохотали, докладывая, что Макар заблудился и не выйдет из тайги.

Это было уже слишком.

"Пропадать буду!" – подумал Макар и решил сделать это немедленно.

Он лег в снег.

Мороз крепчал. Последние переливы сияния слабо мерцали и тянулись по небу, заглядывая к Макару сквозь вершины тайги. Последние отголоски колокола доносились с да-

лекого Чалгана.

Сияние полыхнуло и погасло. Звон стих.
И Макар умер.

V

Как это случилось, он не заметил. Он знал, что из него должно что-то выйти, и ждал, что вот-вот оно выйдет... Но ничего не выходило.

Между тем он сознавал, что уже умер, и потому лежал смирно, без движения. Лежал он долго, – так долго, что ему надоело.

Было совершенно темно, когда Макар почувствовал, что его кто-то толкнул ногою. Он повернул голову и открыл сомкнутые глаза.

Теперь лиственницы стояли над ним смиренные, тихие, точно стыдясь прежних проказ. Мохнатые ели вытягивали свои широкие, покрытые снегом лапы и тихо-тихо качались. В воздухе так же тихо садились лучистые снежинки.

Яркие добрые звезды заглядывали с синего неба сквозь частые ветви и как будто говорили: "Вот, видите, бедный человек умер".

Над самым телом Макара, толкая его ногою, стоял старый попик Иван. Его длинная ряса была покрыта снегом; снег виднелся на



меховом *бергесе* (шапке), на плечах, в длинной бороде попа Ивана. Всего удивительнее было то обстоятельство, что это был тот самый попик Иван, который умер назад тому четыре года.

Это был добрый попик. Он никогда не притеснял Макара насчет руги[83], никогда не требовал даже денег за требы[84]. Макар сам назначал ему плату за крестины и за молебны и теперь со стыдом вспомнил, что иногда платил маловато, а порой не платил вовсе. Поп Иван и не обижался; ему требовалось одно: всякий раз надо было поставить бутылку водки. Если у Макара не было денег, поп Иван сам посылал за бутылкой, и они пили вместе. Попик напивался непременно до положения риз, но при этом дрался очень редко и не сильно. Макар доставлял его, беспомощного и беззащитного, домой на попечение матушки-попадьи.

Да, это был добрый попик, но умер он нехорошою смертью. Однажды, когда все вышли из дому и пьяный попик остался один лежать на постели, ему вздумалось покурить. Он встал и, шатаясь, подошел к огромному,

жарко натопленному камельку, чтобы заку-
рить у огня трубку. Он был слишком уж пьян,
покачнулся и упал в огонь. Когда пришли до-
мочадцы, от попа остались лишь ноги.

Все жалели доброго попа Ивана; но так как
от него остались одни только ноги, то выле-
чить его не мог уже ни один доктор в мире.
Ноги похоронили, а на место попа Ивана на-
значили другого.

Теперь этот попик, в целом виде, стоял над
Макаром и поталкивал его ногою.

– Вставай, Макарушко, – говорил он. – Пой-
дем-ка.

– Куда я пойду? – спросил Макар с недо-
вольствием.

Он полагал, что раз он "пропал", его обя-
занность – лежать спокойно, и ему нет надоб-
ности идти опять по тайге, бродя без дороги.
Иначе зачем было ему пропадать?

– Пойдем к большому Тойону[85].

– Зачем я пойду к нему? – спросил Макар.

– Он будет тебя судить, – сказал попик
скорбным и несколько умиленным голосом.

Макар вспомнил, что действительно после
смерти надо идти куда-то на суд. Он это слы-

шал когда-то в церкви. Значит, попик был прав. Приходилось подняться.

И Макар поднялся, ворча про себя, что даже после смерти не дают человеку покоя.

Попик шел впереди. Макар за ним. Шли они все прямо. Лиственницы смиренно сторонились, давая дорогу. Шли на восток.

Макар с удивлением заметил, что после попа Ивана не остается следов на снегу. Взглянув себе под ноги, он также не увидел следов: снег был чист и гладок, как скатерть.

Он подумал, что теперь ему очень удобно ходить по чужим ловушкам, так как никто об этом не может узнать; но попик, угадавший, очевидно, его сокровенную мысль, повернулся к нему и сказал:

– *Кабысь* (брось, оставь)! Ты не знаешь, что тебе достанется за каждую подобную мысль.

– Ну, ну! – ответил недовольно Макар. – Уж нельзя и подумать! Что ты нынче такой стал строгий? Молчи ужо!..

Попик покачал головой и пошел дальше.

– Далеко ли идти? – спросил Макар.

– Далеко, – ответил попик сокрушенно.

– А чего будем есть? – спросил опять Макар

с беспокойством.

– Ты забыл, – ответил попик, повернувшись к нему, – что ты умер и что теперь тебе не надо ни есть, ни пить.

Макару это не очень понравилось. Конечно, это хорошо в том случае, когда нечего есть, но тогда уж надо бы лежать так, как он лежал тотчас после своей смерти. А идти, да еще идти далеко, и не есть ничего, это казалось ему ни с чем не сообразным. Он опять заворчал.

– Не ропщи! – сказал попик.

– Ладно! – ответил Макар обиженным тоном, но сам продолжал жаловаться про себя и ворчать на дурные порядки: "Человека заставляют ходить, а есть ему не надо! Где это слыхано?"

Он был недоволен все время, следуя за попом. А шли они, по-видимому, долго. Правда, Макар не видел еще рассвета, но, судя по пространству, ему казалось, что они шли уже целую неделю: так много они оставили за собой падей и сопок[86], рек и озер, так много прошли они лесов и равнин. Когда Макар оглядывался, ему казалось, что темная тайга сама

убегает от них назад, а высокие снежные горы точно таяли в сумраке ночи и быстро скрывались за горизонтом.

Они как будто поднимались все выше. Звезды становились все больше и ярче. Потом из-за гребня возвышенности, на которую они поднялись, показался краешек давно закатившейся луны. Она как будто торопилась уйти, но Макар с попиком ее нагоняли. Наконец она вновь стала подниматься над горизонтом. Они пошли по ровному, сильно приподнятому месту.

Теперь стало светло – гораздо светлее, чем при начале ночи. Это происходило, конечно, оттого, что они были гораздо ближе к звездам. Звезды, величиною каждая с яблоко, так и сверкали, а луна, точно дно большой золотой бочки, сияла, как солнце, освещая равнину от края и до края.

На равнине совершенно явственно виднелась каждая снежинка. По ней пролегалo множество дорог, и все они сходились к одному месту на востоке. По дорогам шли и ехали люди в разных одеждах и разного вида.

Вдруг Макар, внимательно всматривав-

шийся в одного всадника, свернул с дороги и побежал за ним.

– Постой, постой! – кричал попик, но Макар даже не слышал. Он узнал знакомого татарина, который шесть лет назад увел у него пегого коня, а пять лет назад скончался. Теперь татарин ехал на том же пегом коне. Конь так и взвивался. Из-под копыт его летели целые тучи снежной пыли, сверкавшей разноцветными переливами звездных лучей. Макар удивился при виде этой бешеной скачки, как мог он, пеший, так легко догнать конного татарина. Впрочем, завидев Макара в нескольких шагах, татарин с большою готовностью остановился. Макар запальчиво напал на него.

– Пойдем к старосте, – кричал он, – это мой конь. Правое ухо у него разрезано... Смотри, какой ловкий!.. Едет на чужом коне, а хозяин идет пешком, точно нищий.

– Постой! – сказал на это татарин. – Не надо к старосте. Твой конь, говоришь?... Ну и бери его! Проклятая животина! Пятый год еду на ней, и все как будто ни с места... Пешие люди то и дело обгоняют меня; хорошему татарину

даже стыдно.

И он занес ногу, чтобы сойти с седла, но в это время запыхавшийся попик подбежал к ним и схватил Макара за руку.

– Несчастный! – вскричал он. – Что ты делаешь? Разве не видишь, что татарин хочет тебя обмануть?

– Конечно, обманывает, – вскричал Макар, размахивая руками, – конь был хороший, настоящая хозяйская лошадь... Мне давали за нее сорок рублей еще по третьей траве...[87] Не-ет, брат! Если ты испортил коня, я его зарежу на мясо, а ты заплатишь мне чистыми деньгами. Думаешь, что – татарин, так и нет на тебя управы?

Макар горячился и кричал нарочно, чтобы собрать вокруг себя побольше народу, так как он привык бояться татар. Но попик остановил его:

– Тише, тише, Макар! Ты все забываешь, что ты уже умер... Зачем тебе конь? Да при- том, разве ты не видишь, что пешком ты подвигаешься гораздо быстрее татарина? Хочешь, чтоб тебе пришлось ехать целых тысячу лет?

Макар смекнул, почему татарин так охотно уступал ему лошадь.

"Хитрый народ!" – подумал он и обратился к татарину:

– Ладно уж! Поезжай на коне, а я, брат, сделаю на тебя прошение.

Татарин сердито нахлобучил шапку и хлестнул коня. Конь взвился, клубы снега посыпались из-под копыт, но пока Макар с попом не тронулись, татарин не уехал от них и пяди.

Он сердито плюнул и обратился к Макару:

– Послушай, *догóр* (приятель), нет ли у тебя листочка махорки? Страшно хочется курить, а свой табак я выкурил уже четыре года назад.

– Собака тебе приятель, а не я! – сердито ответил Макар. – Видишь ты: украл коня и просит табаку! Пропадай ты совсем, мне и то не будет жалко.

И с этими словами Макар тронулся далее.

– А ведь напрасно ты не дал ему листок махорки, – сказал ему поп Иван. – За это на суде Тойон простил бы тебе не менее сотни грехов.

– Так что ж ты не сказал мне этого ранее? –

огрызнулся Макар.

– Да уж теперь поздно учить тебя. Ты должен был узнать об этом от своих попов при жизни.

Макар осердился. От попов он не видал никакого толку: получают ругу, а не научили даже, когда надо дать татарину листок табаку, чтобы получить отпущение грехов. Шутка ли: сто грехов... и всего за один листочек!.. Это ведь чего-нибудь стоит!

– Постой, – сказал он. – Будет с нас одного листочка, а остальные четыре я отдам сейчас татарину. Это будет четыре сотни грехов.

– Оглянись, – сказал попик.

Макар оглянулся. Сзади расстилалась только белая пустынная равнина. Татарин мелькнул на одну секунду далекою точкой. Макару казалось, что он увидел, как белая пыль летит из-под копыт его пегашки, но через секунду и эта точка исчезла.

– Ну, ну, – сказал Макар. – Будет татарину и без табаку ладно. Видишь ты: испортил коня, проклятый!

– Нет, – сказал попик, – он не испортил твоего коня, но конь этот краденый. Разве ты не

слышал от стариков, что на краденном коне далеко не уедешь?

Макар действительно слышал это от стариков, но так как во время своей жизни видел нередко, что татары уезжали на краденых конях до самого города, то, понятно, он старикам не давал веры. Теперь же он пришел к убеждению, что и старики говорят иногда правду.

И он стал обгонять на равнине множество всадников. Все они мчались так же быстро, как и первый. Кони летели, как птицы, всадники были в поту, а между тем Макар то и дело обгонял их и оставлял за собою.

Большую часть это были татары, но попадались и коренные чалганцы; некоторые из последних сидели на краденых быках и подгоняли их талинками.

Макар смотрел на татар враждебно и каждый раз ворчал, что этого им еще мало. Когда же он встречался с чалганцами, то останавливался и благодушно беседовал с ними: все-таки это были приятели, хоть и воры. Порой он даже выражал свое участие тем, что, подняв на дороге талинку, усердно подгонял сзади

быков и коней; но лишь только сам он делал несколько шагов, как уже всадники оставались сзади чуть заметными точками.

Равнина казалась бесконечною. Они то и дело обгоняли всадников и пеших людей, а между тем вокруг все казалось пусто. Между каждыми двумя путниками лежали как будто целые сотни или даже тысячи верст.

Между другими фигурами Макару попался незнакомый старик; он был, очевидно, чалганец; это было видно по лицу, по одежде, даже по походке, но Макар не мог припомнить, чтоб он когда-либо прежде его видел. На старике была рваная сона, большой ухастьый бергес, тоже рваный, кожаные старые штаны и рваные телячьи торбаса. Но, что хуже всего, – несмотря на свою старость, – он тащил на плечах еще более древнюю старуху, ноги которой волочились по земле. Старик трудно дышал, заплетался и тяжело налегал на палку. Макару стало его жалко. Он остановился. Старик остановился тоже.

– *Kancé* (говори)! – сказал Макар приветливо.

– Нет, – ответил старик.

- Что слышал?
- Ничего не слышал.
- Что видел?
- Ничего не видал.

Макар помолчал немного и тогда уже счел возможным расспросить старика, кто он и откуда плетется.

Старик назвался. Давно уже, – сам он не знает, сколько лет назад, – он оставил Чалган и ушел на "гору" спасаться. Там он ничего не делал, ел только морошку и корни, не пахал, не сеял, не молот на жернове хлеба и не платил податей. Когда он умер, то пришел к Тойону на суд. Тойон спросил, кто он и что делал. Он рассказал, что ушел на "гору" и спасался. "Хорошо, – сказал Тойон, – а где же твоя старуха? Поди, приведи сюда твою старуху". И он пошел за старухой, а старуха перед смертью побиралась, и ее некому было кормить, и у нее не было ни дома, ни коровы, ни хлеба. Она ослабела и не может волочить ног. И он теперь должен тащить к Тойону старуху на себе.

Старик заплакал, а старуха ударила его ногою, точно быка, и сказала слабым, но сердитым

ТЫМ ГОЛОСОМ:

– Неси!

Макару стало еще более жаль старика, и он порадовался от души, что ему не удалось уйти на "гору".

Его старуха была громадная, рослая старуха, и ему нести ее было бы еще труднее. А если бы вдобавок она стала пинать его ногою, как быка, то, наверное, скоро заехала бы до второй смерти.

Из сожаления он взял было старуху за ноги, чтобы помочь догору, но едва сделал два-три шага, как должен был быстро выпустить старухины ноги, чтоб они не остались у него в руках. В одну минуту старик с своей ношей исчезли из виду.

В дальнейшем пути не встречалось более лиц, которых Макар удостоил бы своим особенным вниманием. Тут были воры, нагруженные, как вьючная скотина, краденым добром и подвигавшиеся шаг за шагом; толстые якутские тойоны тряслись, сидя на высоких седлах, точно башни, задевая за облака высокими шапками. Тут же, рядом, вприпрыжку бежали бедные *комночиты* (работники), под-

жарые и легкие, как зайцы. Шел мрачный убийца, весь в крови, с дико блуждающим взором. Напрасно кидался он в чистый снег, чтобы смыть кровавые пятна. Снег мгновенно обагрался кругом, как кипень, а пятна на убийце выступали яснее, и в его взоре виднелись дикое отчаяние и ужас. И он все шел, избегая чужих испуганных взглядов.

А маленькие детские души то и дело мелькали в воздухе, точно птички. Они летели большими стаями, и Макара это не удивляло. Дурная, грубая пища, грязь, огонь камельков и холодные сквозняки юрт выживали их из одного Чалгана чуть не сотнями. Поравнявшись с убийцей, они испуганной стаей кидались далеко в сторону, и долго еще после того слышался в воздухе быстрый, тревожный звон их маленьких крыльев.

Макар не мог не заметить, что он подвигается сравнительно с другими довольно быстро, и поспешил приписать это своей добродетели.

– Слушай, *агабыт* (отец), – сказал он, – как ты думаешь? Я хоть и любил при жизни выпить, а человек был хороший. Бог меня лю-

бит...

Он пытливо взглянул на попа Ивана. У него была задняя мысль: выведать кое-что от старого попика. Но тот сказал кратко:

– Не гордись! Уже близко. Скоро узнаешь сам.

Макар и не заметил раньше, что на равнине как будто стало светать. Прежде всего из-за горизонта выбежали несколько светлых лучей. Они быстро пробежали по небу и потушили яркие звезды. И звезды погасли, а луна закатилась. И снежная равнина потемнела.

Тогда над нею поднялись туманы и стали кругом равнины, как почетная стража.

И в одном месте, на востоке, туманы стали светлее, точно воины, одетые в золото.

И потом туманы заколыхались, золотые воины наклонились долу.

И из-за них вышло солнце и стало на их золотистых хребтах и оглянуло равнину.

И равнина вся засияла невиданным ослепительным светом.

И туманы торжественно поднялись огромным хороводом, разорвались на западе и, колеблясь, понеслись кверху.

И Макару казалось, что он слышит чудную песню. Это была как будто та самая, давно знакомая песня, которою земля каждый раз приветствует солнце. Но Макар никогда еще не обращал на нее должного внимания и только в первый раз понял, какая это чудная песня.

Он стоял и слушал и не хотел идти далее, а хотел вечно стоять здесь и слушать...

Но поп Иван тронул его за рукав.

– Войдем, – сказал он. – Мы пришли.

Тогда Макар увидел, что они стоят у большой двери, которую раньше скрывали туманы.

Ему очень не хотелось идти, но – делать нечего – он повиновался.

VI

Они вошли в хорошую, просторную избу, и, только войдя сюда, Макар заметил, что на дворе был сильный мороз. Посредине избы стоял камелек чудной резной работы, из чистого серебра, и в нем пылали золотые поленья, давая ровное тепло, сразу проникавшее все тело. Огонь этого чудного камелька не ре-

зал глаз, не жег, а только грел, и Макару опять захотелось вечно стоять здесь и греться. Поп Иван также подошел к камельку и протянул к нему иззябшие руки.

В избе было четверо дверей, из которых только одна вела наружу, а в другие то и дело входили и выходили какие-то молодые люди в длинных белых рубахах. Макар подумал, что это, должно быть, работники здешнего Тойона. Ему казалось, что он где-то их уже видел, но не мог вспомнить, где именно. Немало удивляло его то обстоятельство, что у каждого работника на спине болтались большие белые крылья, и он подумал, что, вероятно, у Тойона есть еще другие работники, так как эти, наверное, не могли бы с своими крыльями пробираться сквозь чащу тайги для рубки дров или жердей.

Один из работников подошел тоже к камельку и, повернувшись к нему спиной, заговорил с попом Иваном:

– Говори!

– Нечего, – ответил попик.

– Что ты слышал на свете?

– Ничего не слышал.

– Что видел?

– Ничего не видал.

Оба помолчали, и тогда поп сказал:

– Привел вот одного.

– Это чалганец? – спросил работник.

– Да, чалганец.

– Ну, значит, надо приготовить большие весы.

И он ушел в одну из дверей, чтобы распорядиться, а Макар спросил у попа, зачем нужны весы и почему именно большие?

– Видишь, – ответил поп несколько смущенно, – весы нужны, чтобы взвесить добро и зло, какое ты сделал при жизни. У всех остальных людей зло и добро приблизительно уравнивают чашки; у одних чалганцев грехов так много, что для них Тойон велел сделать особые весы с громадной чашкой для грехов.

От этих слов у Макара как будто скребнуло по сердцу. Он стал робеть.

Работники внесли и поставили большие весы. Одна чашка была золотая и маленькая, другая – деревянная, громадных размеров. Под последней вдруг открылось глубокое чер-

ное отверстие.

Макар подошел и тщательно осмотрел весы, чтобы не было фальши. Но фальши не было. Чашки стояли ровно, не колеблясь.

Впрочем, он не вполне понимал их устройство и предпочел бы иметь дело с безменом, на котором в течение долгой жизни он отлично выучился и продавать, и покупать с некоторой выгодой для себя.

– Тойон идет, – сказал вдруг поп Иван и стал быстро обдергивать ряску.

Средняя дверь отворилась, и вошел старый-престарый Тойон, с большою серебряною бородой, спускавшеюся ниже пояса. Он был одет в богатые, неизвестные Макару меха и ткани, а на ногах у него были теплые сапоги, обшитые плисом, какие Макар видел на старом иконописце.

И при первом же взгляде на старого Тойона Макар узнал, что это тот самый старик, которого он видел нарисованным в церкви. Только тут с ним не было сына; Макар подумал, что, вероятно, последний ушел по хозяйству. Зато голубь влетел в комнату и, покружившись у старика над головою, сел к нему

на колени. И старый Тойон гладил голубя рукою, сидя на особо приготовленном для него стуле.

Лицо старого Тойона было доброе, и, когда у Макара становилось слишком уж тяжело на сердце, он смотрел на это лицо, и ему становилось легче.

А на сердце у него становилось тяжело потому, что он вспомнил вдруг всю свою жизнь до последних подробностей, вспомнил каждый свой шаг, и каждый удар топора, и каждое срубленное дерево, и каждый обман, и каждую рюмку выпитой водки.

И ему стало стыдно и страшно. Но, взглянув в лицо старого Тойона, он ободрился.

А ободрившись, подумал, что, быть может, кое-что удастся и скрыть.

Старый Тойон посмотрел на него и спросил, кто он, и откуда, и как зовут, и сколько ему лет от роду.

Когда Макар ответил, старый Тойон спросил:

– Что сделал ты в своей жизни?

– Сам знаешь, – ответил Макар. – У тебя должно быть записано.

Макар испытывал старого Тойона, желая узнать, действительно ли у него записано все.

– Говори сам, не молчи! – сказал старый Тойон.

И Макар опять ободрился.

Он стал перечислять свои работы, и хотя он помнил каждый удар топора, и каждую срубленную жердь, и каждую борозду, проведенную сохой, но он прибавлял целые тысячи жердей, и сотни возов дров, и сотни бревен, и сотни пудов посева.

Когда он все перечислил, старый Тойон обратился к попу Ивану:

– Принеси-ка сюда книгу.

Тогда Макар увидел, что поп Иван служит у Тойона *суруксумом* (писарем), и очень осердился, что тот по-приятельски не сказал ему об этом раньше.

Поп Иван принес большую книгу, развернул ее – и стал читать.

– Загляни-ка, – сказал старый Тойон, – сколько жердей?

Поп Иван посмотрел и сказал с прискорбием:

– Он прибавил целых тринадцать тысяч.

– Врет он! – крикнул Макар запальчиво. – Он, верно, ошибся, потому что он пьяница и умер нехорошою смертью!

– Замолчи ты! – сказал старый Тойон. – Брал ли он с тебя лишнее за крестины или за свадьбы? Вымогал ли он ругу?

– Что говорить напрасно! – ответил Макар.

– Вот видишь, – сказал Тойон, – я знаю и сам, что он любил выпить...

И старый Тойон осердился.

– Читай теперь его грехи по книге, потому что он обманщик, и я ему не верю, – сказал он попу Ивану.

А между тем работники кинули на золотую чашку Макаровы жерди, и его дрова, и его пахоту, и всю его работу. И всего оказалось так много, что золотая чашка весов опустилась, а деревянная поднялась высоко-высоко, и ее нельзя было достать руками, и молодые Божьи работники взлетели на своих крыльях, и целая сотня тянула ее веревками вниз.

Тяжела была работа чалганца!

А поп Иван стал вычитывать обманы, и оказалось, что обманов было – двадцать одна

тысяча девятьсот тридцать три обмана; и поп стал вычитывать, сколько Макар выпил бутылок водки, и оказалось – четыреста бутылок, и поп читал далее, а Макар видел, что деревянная чашка весов перетягивает золотую и что она опускается уже в яму, и пока поп читал, она все опускалась.

Тогда Макар подумал про себя, что дело его плохо, и, подойдя к весам, попытался незаметно поддержать чашку ногою. Но один из работников увидел это, и у них вышел шум.

– Что там такое? – спросил старый Тойон.

– Да вот он хотел поддержать весы ногою, – ответил работник.

Тогда Тойон гневно обратился к Макару и сказал:

– Вижу, что ты обманщик, ленивец и пьяница... И за тобой осталась недоимка, и поп за тобою считает ругу, и исправник грешит из-за тебя, ругая тебя каждый раз скверными словами!..

И, обратясь к попу Ивану, старый Тойон спросил:

– Кто в Чалгане кладет на лошадей более всех клади и кто гоняет их всех больше?

Поп Иван ответил:

– Церковный трапезник[88]. Он гоняет по-
чту и возит исправника.

Тогда старый Тойон сказал:

– Отдать этого ленивца трапезнику в мери-
ны, и пусть он возит на нем исправника, пока
не заедит... А там мы посмотрим.

И только что старый Тойон сказал это сло-
во, как дверь отворилась и в избу вошел сын
старого Тойона и сел от него по правую руку.

И сын сказал:

– Я слышал твой приговор... Я долго жил
на свете и знаю тамошние дела: тяжело будет
бедному человеку возить исправника! Но... да
будет!.. Только, может быть, он еще что-ни-
будь скажет. Говори, *барахсан* (бедняга)!

Тогда случилось что-то странное. Макар,
тот самый Макар, который никогда в жизни
не произносил более десяти слов кряду, вдруг
ощутил в себе дар слова. Он заговорил и сам
изумился. Стало как бы два Макара: один го-
ворил, другой слушал и удивлялся. Он не ве-
рил своим ушам. Речь у него лилась плавно и
страстно, слова гнались одно за другим впере-
гонку и потом становились длинными, строй-

ными рядами. Он не робел. Если ему и случилось запнуться, то тотчас же он оправлялся и кричал вдвое громче. А главное – чувствовал сам, что говорил убедительно.

Старый Тойон, немного осердившийся сначала за его дерзость, стал потом слушать с большим вниманием, как бы убедившись, что Макар не такой уж дурак, каким казался сначала. Поп Иван в первую минуту даже испугался и стал дергать Макара за полу соны, но Макар отмахнулся и продолжал по-прежнему. Потом и попик перестал пугаться и даже расцвел улыбкой, видя, что его прихожанин режет правду и что эта правда приходится по сердцу старому Тойону. Даже молодые люди в длинных рубахах и с белыми крыльями, жившие у старого Тойона в работниках, приходили из своей половины к дверям и с удивлением слушали речь Макара, поталкивая друг друга локтями.

Он начал с того, что не желает идти к трапезнику в мерины. И не потому не желает, что боится тяжелой работы, а потому, что это решение неправильно. А так как это решение неправильно, то он ему не подчинится и не

поведет даже ухом, не двинет ногою. Пусть с ним делают, что хотят! Пусть даже отдадут чертям в вечные комночиты, – он не будет возить исправника, потому что это неправильно. И пусть не думают, что ему страшно положение мерина: трапезник гоняет мерина, но кормит его овсом, а его гоняли всю жизнь, но овсом никогда не кормили.

– Кто тебя гонял? – спросил старый Тойон с сердцем.

Да, его гоняли всю жизнь! Гоняли старосты и старшины, заседатели и исправники, требуя подати; гоняли попы, требуя ругу; гоняли нужда и голод; гоняли морозы и жары, дожди и засухи; гоняла промерзшая земля и злая тайга!.. Скотина идет вперед и смотрит в землю, не зная, куда ее гонят... И он также... Разве он знал, что поп читает в церкви и за что идет ему руга? Разве он знал, зачем и куда увели его старшего сына, которого взяли в солдаты, и где он умер, и где теперь лежат его бедные кости?

Говорят, он пил много водки? Конечно, это правда: его сердце просило водки...

– Сколько, говоришь ты, бутылок?

– Четыреста, – ответил поп Иван, заглянув в книгу.

Хорошо! Но разве это была водка? Три четверти было воды и только одна четверть настоящей водки, да еще настой табаку. Стало быть, триста бутылок надо скинуть со счета.

– Правду ли он говорит все это? – спросил старый Тойон у попа Ивана, и видно было, что он еще сердится.

– Чистую правду, – торопливо ответил поп, а Макар продолжал.

Он прибавил тринадцать тысяч жердей? Пусть так! Пусть он нарубил только шестнадцать тысяч. А разве этого мало? И, притом, две тысячи он рубил, когда у него была больна первая его жена... И у него было тяжело на сердце, и он хотел сидеть у своей старухи, а нужда его гнала в тайгу... И в тайге он плакал, и слезы мерзли у него на ресницах, и от горя холод проникал до самого сердца... А он рубил!

А после баба умерла. Ее надо было хоронить, а у него не было денег. И он нанялся рубить дрова, чтобы заплатить за женин дом на том свете... А купец увидел, что ему нужда, и

дал только по десяти копеек... И старуха лежала одна в нетопленной мерзлой избе, а он опять рубил и плакал. Он полагал, что эти возы надо считать впятеро и даже более.

У старого Тойона показались на глазах слезы, и Макар увидел, что чашки весов колыхнулись, и деревянная приподнялась, а золотая опустилась.

А Макар продолжал: у них все записано в книге... Пусть же они поищут: когда он испытал от кого-нибудь ласку, привет или радость? Где его дети? Когда они умирали, ему было горько и тяжело, а когда вырастали, то уходили от него, чтобы в одиночку биться с тяжелою нуждой. И он состарился один со своей второю старухой и видел, как его оставляют силы и подходит злая, бесприютная дряхлость. Они стояли одинокие, как стоят в степи две сиротливые елки, которых бьют отовсюду жестокие метели.

– Правда ли? – спросил опять старый Тойон.

И поп поспешил ответить:

– Чистая правда!

И тогда весы опять дрогнули... Но старый

Тойон задумался.

– Что же это, – сказал он, – ведь есть же у меня на земле настоящие праведники... Глаза их ясны, и лица светлы, и одежды без пятен... Сердца их мягки, как добрая почва; принимают доброе семя и возвращают крин сельный [89] и благовонные всходы, запах которых угоден передо мною. А ты посмотри на себя...

И все взгляды устремились на Макара, и он устыдился. Он почувствовал, что глаза его мутны и лицо темно, волосы и борода всклокочены, одежда изорвана. И хотя задолго до смерти он все собирался купить сапоги, чтобы явиться на суд, как подобает настоящему крестьянину, но все пропивал деньги, и теперь стоял перед Тойоном, как последний якут, в дрянных торбасишках... И он пожелал провалиться сквозь землю.

– Лицо твое темное, – продолжал старый Тойон, – глаза мутные и одежда разорвана. А сердце твое поросло бурьяном, и тернием, и горькою полынью. Вот почему я люблю моих праведных и отвращаю лицо от подобных тебе нечестивцев.

Сердце Макара сжалось. Он чувствовал

стыд собственного существования. Он было понурил голову, но вдруг поднял ее и заговорил опять.

О каких это праведниках говорит Тойон? Если о тех, что жили на земле в одно время с Макаром в богатых хоромах, то Макар их знает... Глаза их ясны, потому что не проливали слез столько, сколько их пролил Макар, и лица их светлы, потому что обмыты духами, а чистые одежды сотканы чужими руками.

Макар опять понурил голову, но тотчас же опять поднял ее.

А между тем разве он не видит, что и он родился, как другие, – с ясными, открытыми очами, в которых отражались земля и небо, и с чистым сердцем, готовым раскрыться на все прекрасное в мире? И если теперь он желает скрыть под землю свою мрачную и позорную фигуру, то в этом вина не его... А чья же? – Этого он не знает... Но он знает одно, что в сердце его истощилось терпение.

VII

Конечно, если бы Макар мог видеть, какое действие производила его речь на старого Тойона, если б он видел, что каждое его гнев-

ное слово падало на золотую чашку, как свинцовая гиря, он усмирил бы свое сердце. Но он всего этого не видел, потому что в его сердце вливалось слепое отчаяние.

Вот он оглядел всю свою горькую жизнь. Как мог он до сих пор выносить это ужасное бремя? Он нес его потому, что впереди все еще маячила – звездочкой в тумане – надежда. Он жив, стало быть, может, должен еще испытать лучшую долю. Теперь он стоял у конца, и надежда угасла...

Тогда в его душе стало темно, и в ней забушевала ярость, как буря в пустой степи глухою ночью. Он забыл, где он, пред чьим лицом предстоит, – забыл все, кроме своего гнева...

Но старый Тойон сказал ему:

– Погоди, барасхан! Ты не на земле... Здесь и для тебя найдется правда...

И Макар дрогнул. На сердце его пало сознание, что его жалеют, и оно смягчилось; а так как перед его глазами все стояла его бедная жизнь, от первого дня до последнего, то и ему стало самого себя невыносимо жалко. И он за-

плакал...

И старый Тойон тоже плакал... И плакал старый попик Иван, и молодые Божьи работники лили слезы, утирая их широкими белыми рукавами.

А весы все колыхались, и деревянная чашка подымалась все выше и выше!

Река играет *Эскизы из дорожного альбома*



Проснувшись, я долго не мог сообразить, где я.

Надо мной расстилалось голубое небо, по которому тихо плыло и таяло сверкающее облако. Закинув несколько голову, я мог видеть в вышине темную деревянную церковку, наивно глядевшую на меня из-за зеленых деревьев, с высокой кручи. Вправо, в нескольких саженьях от меня, стоял какой-то незнакомый шалаш, влево – серый неуклюжий столб с широкою дощатою крышей, с кружкой и с доской, на которой было написано:

ПОЖЕРТВУЙТЕ ПРОХОДЯЩИИ НА КОЛОКОЛО ГОСПОДНЕ.

А у самых моих ног плескалась река.

Этот-то плеск и разбудил меня от сладкого сна. Давно уже он прорывался к моему сознанию беспокоящим шепотом, точно ласкающий, но вместе беспощадный голос, который подымает на заре для неизбежного трудового дня. А вставать так не хочется...

Я опять закрыл глаза, чтобы отдать себе, не двигаясь, отчет в том, как это я очутился здесь, под открытым небом, на берегу плещу-

щей речки, в соседстве этого шалаша и этого столба с простодушным обращением к проходящим.

Понемногу в уме моем восстановились предшествующие обстоятельства. Предыдущие сутки я провел на Святом озере, у невидимого града Китежа, толкаясь между народом, слушая гнусавое пение нищих слепцов, останавливаясь у импровизированных алтарей под развесистыми деревьями, где беспоповцы, скитники и скитницы разных толков пели свои службы, между тем как в других местах, в густых кучках народа, кипели страстные религиозные споры. Ночь я простоял всю на ногах, сжатый в густой толпе у старой часовни. Мне вспомнились утомленные лица миссионера и двух священников, кучи книг на аналое, огни восковых свечей, при помощи которых спорившие разыскивали нужные тексты в толстых фолиантах, возбужденные лица "раскольников" и "церковных", встречавших многоголосым говором каждое удачное возражение. Вспомнилась старая часовня с раскрытыми дверями, в которые виднелись желтые огоньки у икон, между тем

как по синему небу ясная луна тихо плыла и над часовней, и над темными, спокойно шептавшимися деревьями. На заре я с трудом протолкался из толпы на простор и, усталый, с головой, отяжелевшей от бесплодной схоластики этих споров, с сердцем, сжимавшимся от безотчетной тоски и разочарования, – поплелся полевыми дорогами по направлению к синей полосе приветлужских лесов, вслед за вереницами расходившихся богомольцев. Тяжелые, нерадостные впечатления уносил я от берегов Святого озера, от невидимого, но страстно взыскуемого народом града... Точно в душном склепе, при тусклом свете угасающей лампадки, провел я всю эту бессонную ночь, прислушиваясь, как где-то за стеной кто-то читает мерным голосом зауспокойные молитвы над заснувшей навеки народной мыслью.

Солнце встало уже над лесами и водами Ветлуги, когда я, пройдя около пятнадцати верст лесными тропами, вышел к реке и тотчас же свалился на песок, точно мертвый, от усталости и вынесенных с озера суровых впечатлений.

Вспомнив, что я уже далеко от них, я бодро отряхнулся от остатков дремоты и привстал на своем песчаном ложе.

II

Дружеский шепот реки оказал мне настоящую услугу. Когда, часа три назад, я укладывался на берегу, в ожидании ветлужского парохода, вода была далеко, за старою лодкой, которая лежала на берегу кверху днищем; теперь ее уже взмывало и покачивало приливом. Вся река торопилась куда-то, пенилась по всей своей ширине и приплескивала почти к самым моим ногам. Еще полчаса, – будь мой сон еще несколько крепче, – и я очутился бы в воде, как и эта опрокинутая лодка.

Ветлуга, очевидно, выиграла. Несколько дней назад шли сильные дожди: теперь из лесных дебрей выкатился паводок, и вот река вздулась, заливая свои веселые зеленые берега. Резвые струи бежали, толкались, кружились, свертывались воронками, развивались опять и опять бежали дальше, отчего по всей реке вперегонку неслись клочья желтовато-белой пены. По берегам зеленый лопух, схваченный водою, тянулся из нее, тревожно

размахивая не потонувшими еще верхушками, между тем как в нескольких шагах, на большой глубине, и лопух, и мать-мачеха, и вся зеленая братия стояли уже безропотно и тихо... Молодой ивняк, с зелеными нависшими ветвями, вздрагивал от ударов зыби.

На том берегу весело кудрявились ракиты, молодой дубнячок и ветлы. За ними темные ели рисовались зубчатою чертой; далее высились красивые осокори и величавые сосны. В одном месте, на вырубке, белели клади досок, свежие бревна и срубы, а в нескольких саженях от них торчала из воды верхушка затонувших перевозных мостков... И весь этот мирный пейзаж на моих глазах как будто оживал, переполняясь шорохом, плеском и звоном буйной реки. Плескались шаловливые струи на стрежне, звенела зыбь, ударяя в борта старой лодки, а шорох стоял по всей реке от лопавшихся то и дело пушистых ключев пены, или, как ее называют на Ветлуге, речного "цвету".

И казалось мне, что все это когда-то я уже видел, что все это такое родное, близкое, знакомое: река с кудрявыми берегами, и простая

сельская церковка над кручей, и шалаш, даже приглашение к пожертвованию на "колоколо Господне", такими наивными каракулями глядевшее со столба...

*Все это было когда-то,
Но только не помню когда...[90]*

невольню вспомнились мне слова поэта.

III

– Гляжу я, братец, вовсе тебя заплескивает река-те. Это домой ходил. Иду назад, а сам думаю: чай, проходящего-те у меня поняла уж Ветлуга. Крепко же спал ты, добрый человек!

Говорит сидящий у шалаша на скамеечке мужик средних лет, и звуки его голоса тоже мне как-то приятно знакомы. Голос басистый, грудной, немного осипший, будто с сильного похмелья, но в нем слышатся ноты такие же непосредственные и наивные, как и эта церковь, и этот столб, и на столбе надпись.

– И чего только делает, гляди-кося, чего только делает Ветлуга-те наша... Ах ты! Беды ведь это, право, беды...

Это перевозчик Тюлин. Он сидит у своего

шалаша, понурился голову и как-то весь опустившись. Одет он в ситцевой грязной рубашке и синих пестрядинных портах. На босу ногу надеты старые отопки. Лицо молоджавое, почти без бороды и усов, с выразительными чертами, на которых очень ясно выделяется особая ветлужская складка, а теперь, кроме того, видна сосредоточенная угрюмость добродушного, но душевно угнетенного человека...

– Унесет у меня лодку-те... – говорит он, не двигаясь и взглядом знатока изучая положение дела. – Беспременно утащит.

– А тебе бы, – говорю я, разминаясь, – вытащить надо.

– Коли не надо. Не миновать, что не вытащить. Вишь, чего делает, вишь, вишь... Н-ну!

Лодка вздрагивает, приподнимается, делает какое-то судорожное движение и опять беспомощно ложится по-прежнему.

– Тю-ю-ю-ли-ин! – доносится с другого берега призывной клич какого-то путника. На вырубке, у съезда к реке, виднеется маленькая-маленькая лошаденка, и маленький мужик, спустившись к самой воде, отчаянно ма-

шет руками и вопит тончайшею фистулой: – Тю-ю-ю-ли-ин!..

Тюлин все с тем же мрачным видом смотрит на вздрагивающую лодку и качает головой.

– Вишь, вишь ты – опять!.. А вечер еще, гли-кося, дальше мостков была вода-те... Погляди, за ночь чего еще наделат. Беды озорная речушка! Это учнет играть и учнет играть, братец ты мой...

– Тю-ю-ю-ли-ин, леш-ша-ай! – звенит и обрывается на том берегу голос путника, но на Тюлина этот призыв не производит ни малейшего впечатления. Точно этот отчаянный вопль – такая же обычная принадлежность реки, как игривые всплески зыби, шелест деревьев и шорох речного "цвету".

– Тебя ведь это зовут! – говорю я Тюлину.

– Зовут, – отвечает он невозмутимо, тем же философски-объективным тоном, каким говорил о лодке и проказах реки. – Иванко, а Иванко! Иванко-о-о!

Иванко, светловолосый парнишка лет десяти, копает червей под крутояром и так же мало обращает внимания на зов отца, как

тот – на вопли мужика с того берега.

В это время по крутой тропинке от церкви спускается баба с ребенком на руках. Ребенок кричит, завернутый с головой в тряпки. Другой – девочка лет пяти – бежит рядом, хватаясь за платье. Лицо у бабы озабоченное и сердитое. Тюлин становится сразу как-то еще угрюмее и серьезнее.

– Баба идет, – говорит он мне, глядя в другую сторону.

– Ну? – говорит баба злобно, подходя вплоть к Тюлину и глядя на него презрительным и сердитым взглядом. Отношения, очевидно, определились уже давно: для меня ясно, что беспечный Тюлин и озабоченная, усталая баба с двумя детьми – две воюющие стороны.

– Чё еще нукаешь? Что тебе, бабе, нужно? – спрашивает Тюлин.

– Чё-ино, спрашивают еще... Лодку давай! Чай, через реку ходу-то нету мне, а то бы не стала с тобой, с путаником, и баять...

– Ну-ну! – с негодованием возражает перевозчик. – Что ты кака сильна пришла. Разговаривашь...

– А что мне не разговаривать! Залил шары-те... Чего только мир смотрит, пьяницы-те наши, давно бы тебя, негодя пьяного, с перевозу шугнуть надо. Давай, слышь, лодку-те!

– Лодку? Эвон парень тебя перемахнет... Иванко, а Иванко, слышь? Иванко-о!.. А вот я сейчас вицей[91] его, подлеца, вытяну. Слышь, проходящий!..

Тюлин поворачивается ко мне.

– Ну-ко ты мне, проходящий, вицю дай, хар-ро-шую!

И он, с тяжелым усилием, делает вид, что хочет приподняться. Иванко мгновенно кидается в лодку и хватает весла.

– Две копейки с нее. Девку так! – командует Тюлин лениво и опять обращается ко мне: – Беда моя: голову всеё разломило.

– Тю-ю-ли-ин! – стонет опять противоположный берег. – Перево-о-оз!..

– Тятка, а тятка! Паром кричат вить, – говорит Иванко, у которого, очевидно, явилась надежда на освобождение от обязанности везти бабу.

– Слышу. Давно уж зеват, – спокойно подтверждает Тюлин. – Сговорись там. Может,

еще и не надо ему... Может, еще и не поедет... Отчего бы такое голову ломит? – обращается он опять ко мне тоном самого трогательного доверия.

Угадать причину не трудно: от бедняги Тюлина водкой несет, точно из полуштофа, и даже до меня, на расстоянии двух сажен, то и дело доносятся острые струйки перегару, смешиваясь с запахом реки и береговой зелени.

– Кабы выпил я, – говорит Тюлин в раздумье, – а то не пил.

Голова его опускается еще ниже.

– Давно не пью я... Положим, вчера выпил...

И опять Тюлин погружается в глубокое раздумье.

– Кабы много... Положим, довольно я выпил вчера... Так ведь сегодня не пил!

– Так это у тебя, видно, с похмелья, – пробую я вывести его на настоящую дорогу.

Тюлин смотрит на меня долго, серьезно и чрезвычайно вдумчиво. Догадка, очевидно, показалась ему не лишеною основания.

– Разве-либо от этого. Нонче немного же выпил я.

Пока таким образом Тюлин медленным, мучительным, но зато верным путем подошел к истинной причине своих страданий, мужик на той стороне окончательно лишился голоса.

– Тю-ю-ю... – чуть слышно летело оттуда, из-за шороха речных струек.

– Разве-либо от этого. Это ты, братец, должно быть, верно сказал. Пью я винище это, лакаю, братец, лакаю...

IV

Между тем тщетно вопивший мужик смолкает и, оставив лошадь с телегой на том берегу, переправляется к нам вместе с Иванком, для личных переговоров. К удивлению моему, он самым благодушным образом здоровается с Тюлиным и садится рядом на скамейку. Он значительно старше Тюлина, у него седая борода, голубые, выцветшие, как и у Тюлина, глаза, на голове грешневик, а на лице, где-то около губ, ютится та же ветлужская складка.

– Страдаешь? – спрашивает он у перевозчика с улыбкой почти сатирической.

– Голову, братец, всё разломило. И от чего

бы?

– Винища поменьше пей.

– Разве-либо от этого. Вот и проходящий тоже бает.

– А лодку у тебя, гляди, унесет.

– Как не унести. Просто-таки и унесет.

Оба смотрят несколько времени, как вздрагивает, точно в агонии, опрокинутая лодка.

– Давай паром, што ли, – ехать надо.

– Да тебе надо ли еще ехать-то? Чай, в Красиху пьянствовать?...

– А ты уж накрутился...

– Выпито. Голову всеё разломило, беды! А ты, может, лучше не езди.

– Чудак! Чай, у меня дочка там выдана. Звали к празднику. И баба со мной.

– Ну, баба, так, стало быть, не миновать, ехать, видно. Э-эх, шестов нет.

– Как нет? Чё хлопаешь зря? Эвона шесты-те!

– Коротки. Двадцати четвертей надо. Чать, видишь: приплескиват Ветлуга-те.

– А ты что же, чудак, шестов не запас, коли видишь, что приплескиват?... Иванко, стоняй

за шестами-те, парень!

– Сходил бы сам, – говорит Тюлин, – тяжело вить.

– Ты сходи, – твое дело!

– Не мне ехать, – тебе!

И оба мужика, да и Иванко третий, спокойно остаются на местах.

– Ну-ко я его, подлеца, вицей вытяну... – опять произносит Тюлин, делая новый опыт примерного вставанья. – Проходящий! да-ко ты мне вицю...

Иванко с громким гнусавым ревом снимается с места и бежит трусцой на гору, к селу.

– Не донесет, – говорит мужик.

– Тяжелы вить! – подтверждает Тюлин.

– А ты бы добежал хоть встречу-те, – советует мужик, глядя на усилия муравья Иванка, появляющегося на верху утора с длинными шестами.

– И то хотел сказать тебе: добеги-кось.

Оба сидят и глядят.

– Евстигне-ей! Лешай!.. – слышится с той стороны пронзительный и желчный бабий голос.

– Баба кричит, – говорит мужик с некото-

рым беспокойством.

Тюлин сохраняет равнодушие: баба далеко.

– А как у меня мерин сорвется да мальчонку с бабой ушибет... – говорит Евстигней.

– А резва лошадь-то?

– Беды.

– Ну, так очень просто может ушибить. Да ты бы, послушай, тово... назад бы. Что тебе ехать-то, кака надобность?

– Ах, чудак! Да нешто не видишь: с бабой собрался. Как можно, что не ехать!

Иванко, выбиваясь из сил, приволакивает наконец шесты и с ревом кидает их на берег. Все готово. Тюлину приходится приниматься за работу.

– Эй, проходящий! – обращается он ко мне как-то одобрительно. – Ну-ко, послушай, и ты с нами на паром! А то, видишь вот, больно уж река-то наша резва.

Мы все взошли на скрипучий дощатый паром; Тюлин – последний. По-видимому, он размышлял несколько секунд, поддаваясь соблазну: уж не достаточно ли народу и без него. Однако все-таки взошел, шлепая по во-

де, потом с глубокою грустью посмотрел на колья, за которые были зачалены чалки, и сказал с кроткой укоризной, обращенной ко всем вообще:

– Э-эх! Чалки-те, чалки никто и не отвязал. Н-ну!

– Да ведь ты, Тюлин, последний взошел на паром. Тебе бы и надо отвязать, – протестую я.

Он не отвечает, косвенно признавая, быть может, всю справедливость этого замечания, и так же лениво, с тою же беспросветною скорбью, спускается в воду, чтоб отвязать чалки.

Паром заскрипел, закачался и поплыл от берега. Перевозный шалаш, опрокинутая лодка, холмик с церковью мгновенно, будто подхваченные неведомою силой, уносятся от нас, а мысок с зеленою подмытою ивой летит нам навстречу. Тюлин поглядел на мелькающий берег, почесал густую шапку своих волос и перестал пихаться шестом.

– Несет вить.

– Несет, – ответил мужик, с натугой налегая на чегень[92] правым плечом.

– Пылко несет.

– Да ты что стал? Что не пхаешься?

– Поди пхнись. С левого-те борту не маячит.

– Ну?

– То-то и ну!

Мужик ожесточенно сунул свой шест и чуть не бултыхнулся в воду, – его чегень тоже не достал до дна. Евстигней остановился и сказал выразительно:

– Подлец ты, Тюлин!

– Сам такой! Пошто лаешься?

– За што тебе деньги плочены, подлая фигура?

– Поговори!

– Пошто длинных шестов не завел?

– Заведёны.

– Да што нету их?

– Дома. Нешто мальчонко приволокет... двадцатито четвертей?

– Говорю: подлой ты человек.

– Ну-ну! Не скажешь ли еще чего? Поговори со мной!

Спокойствие Тюлина, видимо, смиряет возмущенного Евстигнея. Он снимает грешневик и скребет голову.

– Куда ж мы теперича? К Козьме Демьяну (в Козьмо-Демьянск) сплывем, аль уж как?...

V

Действительно, резвое течение, будто шутя и насмехаясь над нашим паромом, уносит неуклюжее сооружение все дальше и дальше. Кругом, обгоняя нас, бегут, лопаются и пузыряются хлопья «цвету». Перед глазами мелькает мысок с подмытою ивой и остается назади. Назади, далеко, осталась вырубка с новенькою избушкой из свежего лесу, с маленькою телегой, которая теперь стала еще меньше, и с бабой, которая стоит на самом берегу, кричит что-то и машет руками.

– Куда ж мы теперича? Эх беды, право, беды, – безнадежно, глядя на бабу, говорит Евстигней.

Положение действительно довольно критическое. Шест уходит вглубь, не маяча, то есть не доставая дна.

Тюлин, не обращая внимания на причитания Евстигнея, серьезно смотрит на реку. Для него опасность всех больше, потому что придется непременно подымать паром против течения. Он видимо подтянулся, его взгляд

становится разумнее, тверже.

– Иванко, держи по плёсу! – командует он сыну.

Мальчишка на этот раз быстро исполняет приказ.

– Садись в гребни, Евстигней!

– Да у тебя еще есть ли гребни-то? – сомневается тот.

– Поговори со мной!

На этот раз слова Тюлина звучат так твердо, что Евстигней покорно лезет с помоста и прилаживается к веслам, которые оказываются лежащими на дне.

– Проходящий, лезь и ты... в тую ж фигуру.

Я сажусь "в тую ж фигуру", то есть прилаживаюсь к правому веслу так же, как Евстигней у левого. Команда нашего судна, таким образом, готова. Иванко, на лице которого совершенно исчезло выражение несколько гнусавой беспечности, смотрит на отца заискрившимися, внимательными глазами. Тюлин сует шест в воду и ободряет сына: "Держи, Иванко, не зевай мотри". На мое предложение – заменить мальчика у руля – он совершенно не обращает внимания. Оче-

видно, они полагаются друг на друга.

Паром начинает как-то вздрагивать... Вдруг шест Тюлина касается дна. Небольшой "огрудок"[93] дает возможность «пихаться» на расстоянии десятка сажен.

– Вались на перевал, Иванко, вали-ись на перевал! – быстро сдавленным голосом командует Тюлин, ложась плечом на круглую головку шеста.

Иванко, упираясь ногами, тянет руль на себя. Паром делает оборот, но вдруг рулевое весло взмахивает в воздухе, и Иванко падает на дно. Судно "рыскнуло", но через секунду Иванко, со страхом глядя на отца, сидит на месте.

– Крепи! – командует Тюлин.

Иванко завязывает руль бечевкой, паром окончательно "ложится на перевал", мы налегаяем на весла.

Тюлин могучим толчком подает паром наперерез течению, и через несколько мгновений мы ясно чувствуем ослабевший напор воды. Паром "ходом" подается кверху.

Глаза Иванка сверкают от восторга. Евстигней смотрит на Тюлина с видимым ува-

жением.

– Эх, парень, – говорит он, мотая головой, – кабы на тебя да не винище – цены бы не было. Винище тебя обманывают...

Но глаза Тюлина опять потухли, и весь он размяк.

– Гребь, гребь... Загребывай, проходящий, поглубже, не спи! – говорит он лениво, а сам вяло тычет шестом, с расстановкой и с прежним уныло-апатичным видом. По ходу парама мы чувствуем, что теперь его шест мало помогает нашим веслам. Критическая минута, когда Тюлин был на высоте своего признанного перевознического таланта, миновала, и искра в глазах Тюлина угасла вместе с опасностью.

Около двух часов поднимались мы все-таки кверху, а если бы Тюлин не воспользовался последним "огрудком", паром унесло бы на узкий прямой плёс, и его не достать бы оттуда в двое суток. Так как пристать в обычном месте было невозможно, – мостки давно затопило, – то Тюлин пристаёт к глинистому крутояру, зачаливая за ветлы. Начинается спуск телеги. Мы с Евстигнеем хлопочем около этого

дела. Тюлин равнодушно смотрит на наши хлопоты, а баба, давно истратившая на ветер все негодующие слова, сидит, не двигаясь, на возу, точно окаменелая, и старается не смотреть на нас, как будто все мы опостытели ей до самой последней крайности. Она точно застыла в своем злобном презрении к "негодям-мужикам" и даже не дает себе труда сойти с ребенком с телеги.

Лошадь пугается, закидывает уши и пятится назад.

– Ну-ко, ну-ко, хлесни ее, резвую, по заду, – советует Тюлин, несколько оживляясь.

Горячая лошадь подбирает зад и прыгает с берега. Минута треска, стукотни и грохота, как будто все проваливается сквозь землю. Что-то стукнуло, что-то застонало, что-то треснуло, лошадь чуть не сорвалась в реку, изломав тонкую загородку, но наконец воз установлен на качающемся и дрожащем пароме.

– Что, цела? – спрашивает Тюлин у Евстигнея, озабоченно рассматривающего телегу.

– Цела! – с радостным изумлением отвечает тот.

Баба сидит как изваяние.

– Ну? – недоумевают и Тюлин. – А думал я: беспременно бы ей надо сломаться.

– И то... вишь, кака крутоярина.

– Чё-ино! Самая така круча, что ей бы сломаться надо... Э-эх, а чалки-те опять никто не отвязал! – кончает Тюлин с тою же унылой укоризной и лениво ступает на берег, чтоб отвязать чалки. – Ну, загребывай, проходящий, загребывай, не спи!

Через полчаса тяжелой работы веслами, криков: "навались", "ложись в перевал" и "крепи", – мы наконец подходим к шалашу. С меня пот льет от непривычки градом.

– Проси с Тюлина косушку, – говорит полусушня Евстигней.

Но Тюлин, видимо, не расположен к шуткам. Долговременное пребывание на берегу безлюдной реки, продолжительные унылые размышления о причинах никогда не прекращающейся тяжелой похмельной хворости – все это, очевидно, располагает к серьезному взгляду на вещи. Поэтому он уставился в меня своими тусклыми глазами, в которых начинает медленно проблескивать что-то вроде

глубокого размышления, и сказал радушно:

– Причалим – поднесу... И не одну, слышь, поднесу, – добавляет он конфиденциально, понижая голос, причем в лице его явственно проступает если не удовольствие, то, во всяком случае, мгновенное забвение тяжелых похмельных страданий.

А с горы, по неудобной дороге, уже сползают два воза.

– Едут... – скорбно говорит перевозчик.

– Да еще, может быть, не поедут, – утешаю я, – может быть, у них не важное дело.

Я иронизирую, но Тюлин не понимает иронии, быть может, потому, что сам он весь проникнут каким-то особенным бессознательным юмором. Он как будто разделяет его с этими простодушными кудрявыми березами, с этими корявыми ветлами, со взывавшей рекой, с деревянной церковкой на пригорке, с надписью на столбе, со всею этой наивною ветлужской природой, которая все улыбается мне своею милою, простодушною и как будто давно знакомою улыбкой...

Как бы то ни было, но на мое насмешливое замечание Тюлин отвечает совершенно се-

рбезно:

– Ежели без товару, само собой обождут. Неужто повезу? Голову всё разломило...

VI

Парохода все нет. Говорят, за час до прихода он будет еще «кричать» где-то, на одной из вышележащих пристаней, но когда, часа через три, пошатавшись по селу и напившись чаю, я подхожу опять к берегу, о пароходe ничего не известно. Река продолжает играть и даже разыгралась совсем не на шутку. Тюлин тащится к своему шалашу по колени в воде, лениво шлепая босыми ногами по зеленой потопшей траве; он весь мокрый, широкие штаны липнут к его ногам, мешая идти; сзади, на чалке, тащится за Тюлиным давешняя старая лодка, которую согласно предсказанию знатока-перевозчика унесло-таки течением.

– Что, Тюлин, здоров ли?

– Слава Богу. Не крепко чтой-то. Давай на ту сторону поедем.

– Зачем?

– Вишь, склёка[94] вышла. Плоты ивахински река разметывать хочет.

– Тебе-то что же?... Разве забота?

– А гляди-ко, Ивахин четвертуху волокет. Да что четвертуха! Тут, брат, и полуведром поступишь...

К берегу торопливою походкой приближался со стороны села мужчина лет сорока пяти, в костюме деревенского торговца, с острыми, беспокойными глазами. Ветер развевал полу его чуйки[95], в руке сверкала посуда с водкой. Подойдя к нам, он прямо обратился к Тюлину:

– Что, приплескиват?

– Беды! – ответил Тюлин. – Чай, сам видишь.

– А плотишки у меня поняла уж?

– Подхватывают, да еще не под силу. А гляди, подымет. Лодку у меня даве слизнула, – в силу, в силу бегом догнал за перелеском...

– Ну?

– То-то. Вишь, вымок весь до нитки.

– Ах ты! – отчаянно сказал купец, ударив себя по бедру свободною рукой. – Не оглянись, – плоты у меня размечет. Что убытку-то, что убытку! Ну и подлец народ у нас живет! – обратился он ко мне.

– Чего бы я напрасно лаял православных, – заступился за своих Тюлин. – Чай, у вас ряда была...

– Была.

– На песок возить?

– То-то на песок.

– Ну-к на песке и есть, не в другом месте.

– Да ведь, подлецы вы этакие, река песок-то уж покрывает!

– Как не покрыть, – покроет. К утру, что есть, следу не оставит.

– Вот видишь! А им бы, подлецам, только песни горланить. Ишь орут! Им горюшка мало, что хозяину убыток...

Оба смолкли. С того берега, с вырубки, от нового домика неслись нестройные песни. Это артель васюхинцев куражилась над мелким лесоторговцем-хозяином. Вчера у них был расчет, причем Ивахин обсчитал их рублей на двадцать. Сегодня Ветлуга заступилась за своих деток и взыграла на руку артели. Теперь хозяин униженно кланялся, а артель не ломила шапок и куражилась.

– Ни за сто рублей! Узнаешь, как жить с артелью! Мы тя научим...

Река прибывала. Ивахин струсил. Кинувшись в село, он наскоро добыл четверть и поклонился артели. Он не ставил при этом никаких условий, не упоминал о плотах, а только кланялся и умолял, чтоб артель не попомнила на нем своей обиды и согласилась испить "даровую".

– Да ты, такой-сякой, не финти, – говорили артельщики. – Не заманишь!

– Ни за сто рублей не полезем в реку.

– Пуцай она, матушка, порезвится да поиграет на своей волюшке.

– Пуцай покидат бревнушки, пуцай поразмечет. Поди собирай!

Но четверть все-таки выпили и завели песни. Голоса неслись из-за реки нестройные, дикие, разудалые, и к ним примешивался плеск и говор буйной реки.

– Важно поют! – сказал Тюлин с восторгом и завистью.

Ивахину, кажется, песня нравилась меньше. Он слушал беспокойно, и глаза его смотрели растерянно и тоскливо. Песня шумела бурей и, казалось, не обещала ничего хорошего.

– Много ли недодал вчера? – спросил Тюлин просто.

Ивахин почесался и, не отрывая беспокойного взгляда с того места, откуда неслись нестройные звуки, ответил так же просто:

– Об двух красных спорились.

– Много же, мотри! Как бы, слушай, бока не намяли.

По лицу Ивахина было видно, что предположение не кажется ему невероятным.

– Хошь бы плоты-те повыволокли, – сказал он с глубокою тоской.

– Чать, выволокут, – успокоил Тюлин.

– Поговори им, – заискивающе сказал торговец. – Мол, боле не приплескиват, назад, мол, к ночи пойдет.

Тюлин ответил не сразу; взгляд его приковался к посудине, и, помолчав, он сказал сластолюбиво:

– Другую четверть волокешь?

– Другую.

– Спойшь и третью. Перевезти, что ль?

– Вези!

Лодка была на середине, когда ее заметили с того берега. Песня сразу грянула еще силь-

нее, еще нестройнее, отражаясь от зеленой стены крупного леса, к которому вплоть подошла вырубка. Через несколько минут, однако, песня прекратилась, и с вырубki слышался только громкий и такой же нестройный говор. Вскоре Ивахин опять стрелой летел к нашему берегу и опять устремился с новою посудиною на ту сторону. Лицо у него было злое, но все-таки в глазах проглядывала радость.

К закату солнца вся артель "убилась" за ивахинскими плотами. Под звуки унылой "Дубинушки" бревна выкатывали на берег и руками втаскивали на подъемы. Скоро весь ивахинский лес высился в клады на крутояре, недоступный для шаловливой реки.

Потом опять загремела песня. Мокрые, усталые артельщики допивали последнюю четверть. Ивахин, потный, злой, но все-таки еще более довольный, переправился в последний раз на нашу сторону и умчался к селу; ветер размахивал полами его сибирки[96], а в обеих руках были посудины, на этот раз пустые.

Тюлин, еще более унылый, провожал его долгим взглядом.

– Ну что, побили? – спросил я у него.

Он перевел взгляд на меня и спросил:

– Кого?

– Да Ивахина.

– Не, что его бить...

Я с удивлением посмотрел на Тюлина, и в моем уме блеснула внезапная и неожиданная догадка: физиономия Тюлина припухла, а под глазом стоял фонарь, очевидно новейшего происхождения.

– Тюлин, голубчик!

– Ну, что?

– Отчего у тебя синяк?

– Синяк... Да отчего ему быть, синяку?

– Да ведь тебя, Тюлин, должно быть, били.

– Кто меня бил?

– Артельщики.

Тюлин задумчиво посмотрел мне прямо в глаза и сказал:

– Разве-либо от этого... Да, слышь, и били-то не очень шибко.

Пауза, взгляд на меня, и во взгляде мелькающая догадка:

– Разве-либо не Парфен ли это меня саданул?

– Пожалуй, что и Парфен, – опять помогаю я медленному процессу нового приближения к истине.

– Беспременно Парфен. Такой, скажу тебе, вредный мужичишко, – завсегда норовит как бы нибудь человека испортить...

Вопрос оказался достаточно разъясненным. Мне, правда, очень хотелось еще разузнать, каким образом гнев артели так неожиданно изменил свое направление и артельная гроза, вместо Ивахина, обрушилась на совершенно нейтральную тюлинскую физиономию, но в это время с другого берега опять слышался призыв:

– Тю-ю-юли-ин!..

Тюлин не повернул даже головы и лениво направился к шалашу, сказав мне на ходу:

– Кличут. Смахать бы тебе, а? Живым бы духом.

Но вдруг он насторожился, повернулся и ожил. На берегу, несмотря на сумерки, можно было разглядеть красные рубахи. Это артельщики звали Тюлина и, кажется, самым заманчивым образом махали руками.

– Зовут ведь? – радостно сказал он, вопро-

сительно глядя на меня.

– Разумеется, зовут. Опять побьют, пожалуй...

– Не, што ты, Бог с тобой. Не может быть! Угостить меня артели желательно, вот што! На мировую, значит...

И Тюлин с удивительной живостью кинулся к берегу. Связав зачем-то две лодки – нос к корме, – он сел в переднюю и быстро отпихнулся от берега, не оставив на этой стороне ни одной.

VII

Я понял эту невинную хитрость, когда услышал в сумерках скрип воза, съезжавшего с горы. Воз неторопливо подъехал к реке. Лошадь фыркнула несколько раз и, откинув уши, уставилась с удивленным видом на изменившуюся до неузнаваемости смиренницу Ветлугу.

От воза отделился мужик, подошел к самой воде, посмотрел, почесался и обратился ко мне:

– Перевозчик где?

– Вон... – указал я на светлую полосу, взревшую темную поверхность реки уже на се-

редине.

Он взгляделся туда, опять помотал головой, прислушался к песням васюхинцев и стал поворачивать воз.

– И подлый же мужичок здешний перевозчик живет, – сказал он, впрочем, довольно спокойно. – Гляди, ведь и лодки все уволок... Всю ночь его теперь отсюда не достанешь.

Отведя лошадь, он подошел ко мне и поклонился.

– Проходящие будете?

– Проходящий.

– Не с озера ли?

– С озера.

– Так. Много теперича народу идет. Завтра, что есть, и то еще пойдут. Эх, как река-то пылит, беды! Ежели теперь нам с вами на паром... Да нет, не управиться... Ночевать, видно. А вы не к пароходу ли?

– К пароходу.

– Ну, на заре, раньше не будет. Ночевать, видно, и вам.

Он поставил за шалашом телегу и пустил на береговой откос стреноженную лошадь. Через несколько минут за шалашом закурил-

ся дым.

Тюлин, очевидно, приучил свою публику к терпению.

Солнце давно спряталось за горами и лесами, над Ветлугой опустились сумерки, синие, теплые, тихие. Наш огонек разгорался, дым подымался прямо кверху. Было как-то даже странно это спокойствие воздуха, наряду с торпливым и буйным движением на реке, которая все продолжала приплескивать. С того берега все неслись песни, и мне казалось, что я различаю фистулу Тюлина в общей разногласице. На одном из недальних холмов один за другим вспыхивали огни соседней деревеньки. Днем я не замечал ее, – так ее серые избы и темные крыши сливались с общими тонами пейзажа... Теперь она выступила красивой стайкой огоньков на темной верхушке холма, а кое-где четырехугольники крыш вырезывались в синеве неба.

Это – деревня Соловьиха. Мой новый знакомый, от нечего делать, рассказал мне некоторые небезынтересные черты из жизни ее обитателей. Народ в Соловьихе живет предприимчивый и гордый; в окрестностях соло-

вьихинцы слывут "воришканами". Случилось моему новому знакомому останувиться в селе Благовещении, у дьячка. Дело было зимой, к вечеру. Сидят за столом. Вдруг кто-то стук-стук в оконце. Выглянул дьячок: стоит за окном Иван Семенов, сосед-старичок, и на ночлег просится. "Да что ты, чай, тебе до дому всего с версту?" – "С версту, мол, с версту, да мимо Соловьихи ийти. Как бы опять к пролубли не свели".

Оказалось, что между этим старичком и соловьихинцами установились совершенно своеобразные отношения. Как только старик разживется деньгами, так непременно напьется на селе, а как напьется, так и начнет хвастать: имею у себя "катеньку"[97] в кармане. Пойдет после этого домой, его соловьихинцы и переймут на реке, да прямо к пролубли.

– Хошь в пролубь?

Ну, разумеется, не хочет. Они и не неволят, – отдай только им "катеньку". Он отдает, делать нечего. Они опять:

– Хошь в пролубь?

– Не желаю, братцы.

– Так никому, гляди, не бай. Не скажешь,

что ли?

– Не скажу!

– Заклянись!

– Чтоб мне, говорит, на сим месте провалиться, коли скажу единой душе.

И не говорит. Сколько раз этак его ловили, – надоело ему, перестал вечером мимо Соловьихи ходить, особенно когда выпивши, а не сказал никому. "Водили, говорит, к пролуби соловьихинцы", а кто именно – ни за что не скажет.

После этого рассказа я с особым любопытством взглянул на деревеньку "воришканов". Ну, где, думалось мне, кроме Ветлуги, встретите вы такую непосредственность и простоту приемов, и такое благородное доверие к чужому слову, и такую простодушную уверенность в возможности "провалиться на сим месте" в случае нарушения клятвы?... Мой новый знакомый, сам "ветлугай", уверял, что другой этакой деревни нет нигде больше по всей реке. В Марьине промышляли года три назад "красноярками"[98], – ну, это дело другое. А положите в незапертой избе деньги, уходите на сутки, – никто не тронет.

– Как же все-таки соловьихинцы?

– Такой у них, позвольте сказать, обычай...

Ну, где еще, думалось мне опять, найдется такая терпимость к чужим обычаям?... И огоньки Соловьихи мигали мне приветливо и простодушно: "нигде, нигде"...

– Вот и у Тюлина, – сказал я, улыбаясь, – тоже обычай.

– Верно! Подлец мужичок, будь он проклят! А то и надо сказать: дело свое знает. Вот пойдет осень или опять весна: тут он себя покажет... Другому бы ни за что в водополь с перевозом не управиться. Для этого случая больше и держим...

– Мир беседе!

– Милости просим!

К нашему огоньку с берестяными кошелками за спиной, с посошками в руках подошли два странника. Один из них, скинув котомку, внимательно поглядел на меня и сказал:

– Этого мы человека видели.

– Немудрено, – ответил я.

– На Люнде были?

– Был.

– Там и видели. По усердию или обет был даден Владычице?

– По усердию. А вы?

– Мы к празднику ходили, стало быть, к сродникам.

– Что ж, садитесь к огоньку.

– Да нам бы на перевоз – до дому недалече. К утру и дошел бы я.

– Да, на перевоз!.. – вмешался мой знакомый. – Тюлин последнюю ладью уволок. На пароме разве?...

– Где!.. Больно река взыграла.

– Да и шестов длинных нет.

Другой из новоприбывших подошел усталым шагом к берегу, и тотчас же над рекой раздалось громко, протяжно:

– Тю-ю-ли-ин! Лодку дава-а-ай!

Оклик покотился по реке, будто подхваченный быстрым течением. Игривая река, казалось, несет его с собой, перекидывая с одной стороны на другую меж заснувшими во мгле берегами. Отголоски убегали куда-то в вечернюю даль и замирали тихо, задумчиво, даже грустно, – так грустно, что, прислушавшись, странник не решился в другой раз по-

тревожить это отдаленное вечернее эхо.

– Шабаш! – сказал он и, махнув рукой, вернулся к нашему огоньку.

– А парню-то и до дому рукой подать, – сказал первый из моих знакомых, – и всего-то версты четыре, из Песошной! Слыхали про песочинцев? – спросил он с лукавою усмешкой.

– Нет, я в здешних местах не бывал.

– У них, у песочинцев, тоже опять свой нрав. Что ни город, то, говорят люди, норы, что ни деревня, то обычай. Соловьихинцы, – я вот рассказывал, – любят так, чтоб чужое взять, а уж песочинцы – те свое беречь мастера. Это годов, может, пять назад пошли семеро песочинцев в село Благовещение железочинить: лемеха там, сошники, серпы и прочее деревенское орудие. Ну, починили, идут назад к реке и сумы с железом в руках несут. А река, как вот и теперь же, приплескивает сильно, играет, да еще ветер по реке ходит, волну раскачал. А лодка-то, известно, верткая. "А что, братцы вы мои, – говорит один, – как лодку у нас ковырнет, ведь железо-то, пожалуй, утопнет. Давай, робяты, кошели к себе

привяжем, кабы железо не потопить". – "И то, мол, дело!" Так и сделали. К реке шли – железо в руках несли; в лодку садиться – давай на себя навязывать. Выехали на середину, река лодку-те и начни заливать, лодка и опрокинься. Ну, железо-то крепко к спинам привязано, – не потерялось. Так вместе с железом хозяевы ко дну и пошли, все семеро!.. Что, парень, аль не правду я баю?

Песочинец не возражал, и, при свете огонька, на всех трех лицах моих собеседников лежала одна и та же добродушно-насмешливая улыбка, с особенною ветлужскою складкой, живо напоминавшею мне Тюлина.

– Ну, а вы-то откуда? – спросил я у старика, который видел меня на Люнде.

– А я, господин, сам по себе. Без роду-племени, бездомный человек, солдатская кость.

– А все-таки родом с Ветлуги?

– С нее, матушки. Не одну путину сгонял по ней смолоду. Да и после царской службы вот уж пятнадцатый год околачиваюсь.

Солдатского в этом старике было очень мало: только разве некоторая спокойная уверенность речи да еще старый засаленный картуз

с какими-то едва заметными кантами и большим надорванным козырем. Из-под козыря глядели и искрились порой серые глаза, а около усов ютилась чуть заметная улыбка. Голос у старого солдата был очень приятный, грудной, с "перекатцем", выдававшим прежнего лихого песельника, но теперь уже значительно осипшим от старости, от речной сырости, а может, и от "винища". Как бы то ни было, слышать этот голос с юмористической ноткой и глядеть на ветлужскую усмешку старого солдата было очень приятно, и я вспомнил теперь, что действительно мы встречались с ним на озере. В разгар самого горячего спора на тему: "с татем, с разбойником, кольми паче с еретиком не общайся", – когда обе стороны засыпали друг друга текстами и разными тонкостями начетчицкой диалектики, – этот старичок, с надорванным козырем и искрящимися глазами, вынырнув внезапно в самой середине, испортил всю беседу, рассказав очень просто и без всяких текстов простой житейский случай. Рассказ произвел на большинство сильное отрезвляющее впечатление; начетчики отнеслись к

нему с явным пренебрежением. Как бы то ни было, беседа была совершенно испорчена, и толпа разошлась, унося, быть может, не одно проснувшееся сомнение...

– Помилуйте, бабий разговор, просторечие, – сказал мне с неудовольствием один из начетчиков. – Нешто это от Писания?

– Да это кто такой, не Ефим ли? – спросил другой, подошедший к концу разговора.

– Он.

– Пустой мужичонко, ветлугай. В работниках у нас живал. Писания не знает. Евангелие одно читал... – и говоривший махнул рукой.

Ефим-ветлугай только улыбался своею особенною улыбкой, неизвестно к чему относящеюся: к предмету ли разговора, к слушателям или, быть может, к самому ему, пустому мужичонку, бездомнику, солдатской косточке... Как бы то ни было, мне казалось, что в рассказе ветлугая я слышал первое еще на Светлояре живое слово.

Теперь мы опять завели разговор на ту же тему: о Люнде, о Светлояре и Китеже, об уреневцах. Среди многочисленных и разноверных групп, собирающихся на Светлояре, при-

носящих туда, каждая, свои книги, свои напевы и свою веру, в особенности выделяются урневские начетчики, устраивающие каждый год свой импровизированный алтарь под одним и тем же старым дубом, на склоне холма. В то время как около австрийского священника, в полуманатейке[99] и с длинными косами впереди ушей, едва-едва набирается десяток молящихся, – около урневского дуба стоит тесная большая толпа. Меня поразили суровые, надменные лица этих начетчиков. Тут были женщины в темных скитских платьях, какой-то очень длинный субъект с резкими чертами, молодой мальчишка с сумой нищего, с лицом, покрытым оспой, и лохматый юродивый... Они читали и пели по очереди, однообразными, гнусавыми голосами, совершенно притом не обращая внимания на все окружающее. Между тем как представители других толков охотно вступали в споры – урневцы держались свысока, пренебрежительно и на вопросы совсем не отвечали. Кажется, для них во всем мире не существовало уже ничего заслуживающего хотя бы малейшего снисхождения и вся святость сосредото-

чивалась на этом небольшом острове, занятом их тесно сомкнутыми «стриженными гуменцами» и оглашаемом их унылыми напевами.

– Очень уж высоко сами себя держат, – говорил Ефим. – Народ, нечего сказать, просужий[100], трезвый народ, а только нашему брату у них неловко.

– Почему это?

– Тоскливо. Наша вера, прямо сказать, много веселее, – ответил за Ефима хозяин воза.

Молчавший до сих пор песочинец при этих словах улыбнулся как-то радостно и сказал:

– Бывал ведь я у них. Больно, братцы, чудно!

– А что?

– Да так. Эitto нанялся я у них зимусь к одному: брусу из лесу выволокчи. Приехали мы с молодым хозяином на моей лошаде ночью. Наутро проснулся я, а темно еще – дело зимнее. Гляжу: старуха светец засвечает, потом молиться хочет образам. Образа-те хорошие, крашоные. Ну, думаю, и мне пора: помолюсь дай-ка и я да лошадь пойду снаряжать. Лезу

тихонько с полатей, стал за ей, давай себе креститьца. Как тут она обернись. Увидела меня и руками замахала: "Ты, говорит, что это делаешь?" "А что, мол, – молитьца было похотел". – "Погоди", – говорит. – "Чего годить? – самая пора". – "Погоди, мол, после". Ну, после, дак и после, опять я полез на полати. Отмолилась она, свечки погасила, убрала; гляжу опять: малое время погода старче с печки лезет, свою икону тащит на божницу, свою и свечку зажигат. Я опять с полатей. Думаю, теперь и мне можно. Только нацелился лоб перекрестить, старичишка меня за руку лап! "Ты што это?" – "На вот!.. да я, мол, было молитьца целился". – "Погоди, говорит, не годится тебе". Вот оказия! Опять, видно, на полати лезть. Ну, чего будет!.. Тут опять молодица слезает, с молодым хозяином в боковушке свечку затеплили. У тех икон нету, – одно распятьё. Я живым духом к ним, опять себе нацеливаюсь. Давай, думаю, хоть на распятьё помолюсь.

– Ну, допустили, что ль? – спросил один из заинтересованных слушателей, видя, что рассказчик остановился.

– Не! Што вы думаете? – и тут не допустили! Отмолились сами, потом зовут: теперь, говорят, иди, молись себе. Взошел я в боковушку, а там голые стены. Они и распятьё-то уволокли... Ах ты, шут вас задави! Что мне тут с вами грешить, думаю себе. Не надо! Я лучше, коли так, дорогой поеду, на солнышко Господне помолюсь.

– Три веры в одним дому! – заметил солдат.

– Три и есть. Обедать время пришло. Ну, посадили меня, доброго молодця, честь честью. Опять старики с дочкой вместе, нам с молодым хозяином наособицу, да еще, слышь, обоим чашки-те разные. Тут уж мне за беду стало. "Ах вы, говорю, такие не эдакие. Вы не то што меня бракуете, вы и своего-то мужика бракуете". – "А потому, – старуха бает, – и бракуем, што он по Русе ходит, с вашим братом, со всяким поганым народом нахлебается..." Вот и поди ты, как они об нас понимают!

– Д-да, – подтвердил хозяин воза, лежавший уже с руками, заложенными за голову. – Видишь ты, каке грозны живут... А сами-те,

бесстыдники! Тепериче у нас, поблизу, в деревне два брата; один, стало быть, в солдаты ушел, другой его бабу к себе взял. Это невестку-то, стало быть, да еще чижолую. Другой со службы вернулся, тоже долго не думал: родну-те сестру прежней жены к себе. Да слышь: два брата на двух сестрах женаты, да мальчонке-то солдат и дядей родным, да чуть ли и тяткой не приходится. Так вот этим не брезгают. Охо-хо-хо-о... Не спать ли пора?

Водворилось ненадолго молчание.

– Смешница по Русе пошла, – раздался через минуту простодушный голос песочинца.

– Давно уж это, – сказал, укладываясь, солдат, – не со вчерашнего дни.

– Чё не давно? Вот теперича молокана[101] опять...

– Ну, эти иная статья, другого роду. Спи-ложись, пустого не бай!

Но песочинец, объятый размышлением о "смешнице", которая пошла "по святой Русе", долго еще не мог улечься. Он сидел, ковырял веткой в огне и, увидя, что я тоже не сплю, кивнул лукаво в сторону Ефима и произнес:

– Особа статья, говорит... Чего не особа ста-

тъя! Сам с ними водитця, богам нашим молитця не стал, молоко по пятницам жрет. Сам видывал, а то бы и баять не надо...

И он тоже стал прилаживаться на песочке.

VIII

Я поднялся и посмотрел кругом.

Река скрылась в темной синеве вечера. Луна еще не подымалась, звезды тихо, задумчиво мигали над Ветлугой. Берега стояли во мгле, неясные, таинственные, как будто прислушиваясь к немолчному шороху все прибывающей реки. Поверхность ее была темна, не видно было даже "цвету", только кой-где мерцали, растягивались и тотчас исчезали на бегущих струях дрожащие отражения звезд, да порой игривая волна вскакивала на берег и бежала к нам, сверкая в темноте пеной, точно животное, которое резвится, пробегая мимо человека...

Артель все еще бушевала на другом берегу, но песня, видимо, угасала, как наш костер, в который никто не подбрасывал больше хворосту. Голосов становилось все меньше и меньше: очевидно, не одна уж удалая голова полегла на вырубке и в кустарнике.

Порой какой-нибудь дикий голосина выносился удалее и громче, но ему не удавалось уже воспламенить остальных, и песня гасла.

Я тоже улегся рядом со спящими ветлугами, любуясь звездным небом, начинавшим загораться золотыми отблесками подымавшейся за холмами луны. А с горы, тихо поскрипывая, спускался опять запоздалый воз, подходили пешеходы и, постояв на берегу или безнадежно выкрикнув раза два лодку, безропотно присоединялись к нашему табору, задержанному военной хитростью перевозчика Тюлина.

Огни в деревушке на холме давно погасли один за другим. Столб с надписью то выделялся, окрашенный огнем костра, то утопал в темноте.

На той стороне, за рекой, запевал соловей.

– Перево-оз!

– Перевоз, перевоз, перрево-о-оз!

– Эй, перевоз-чик, живей – э-эй!

– Го-го-го-го-о-о!..

Громкие крики, раздавшиеся шумно, внезапно, резко и звонко, точно труба на заре,

разбудили меня и весь наш табор, приютившийся у огонька. Крики наполняли, казалось, землю и небо, отдаваясь в мирно спавших лощинах и заводях Ветлуги. Ночные странники просыпались и протирали глаза; песочинец, которого вчера так сконфузил его собственный скромный оклик заснувшей реки, теперь глядел с каким-то испугом и спрашивал:

– Что такое? С нами крестная сила, что такое?

Начинало светать, река туманилась, наш костер потух. В сумерках по берегу виднелись странные группы каких-то людей. Одни стояли вокруг нас, другие у самой воды кричали перевозчика. Невдалеке стояла телега, запряженная круглою сытою лошадью, спокойно ждавшею перевоза.

Я тотчас же узнал уреневцев... Тут были и третьеводнишние скитницы в темных одеждах, и длинный субъект с мрачным лицом, и рябой нищий, и лохматый "юрод", и еще какие-то личности в том же роде.

Теперь они стояли вокруг нашего, лежавшего вповалку, табора, глядя на нас с бесцеремонным любопытством и явным пренебреже-

нием. Мои спутники как-то сконфуженно пожимались и, в свою очередь, глядели на новоприбывших не без робости. Мне почему-то вдруг вспомнились английские пуритане и индепенденты времен Кромвеля[102]. Вероятно, эти святые так же надменно смотрели на простодушных грешников своей страны, а те отвечали им такими же сконфуженными и безответными взглядами.

– Эй, вы, ветлугай-водохлёбы! Где перевозчик?

– Перевоз, перевоз, перре-во-оз!

Можно было подумать, что целая армия вторглась в мирные владения беспечного перевозчика. Голоса уреневцев гремели и раскатывались над рекой, которая теперь, казалось, быстро и сконфуженно убегала от погрома, вся опять желтовато-белая от "цвету". Эх, долго и далеко перекатывало эти крики.

"Ну-ка, – думалось мне, – устоит ли и теперь тюлинский стоицизм?"

К моему удивлению, взглянув на реку, я увидел в утренней мгле лодочку Тюлина уже на середине. Очевидно, философ-перевозчик тоже находился под обаянием грозных уре-

невских богатырей и теперь греб изо всех сил. Когда он пристал к берегу, то на лице его виднелась сугубая угнетенность и похмельная скорбь; это не помешало ему, однако, быстро побежать на гору за длинными шестами.

Наш табор тоже зашевелился. Хозяева noticeable возов вели за чёлки лошадей и торопливо запрягали, боясь, очевидно, что уреневцы не станут дожидаться, и они опять останутся на жертву тюлинского самовластия.

Через полчаса нагруженный паром отвалил от берега.

У потухшего костра мы остались вдвоем с Ефимом, который разгребал пальцами золу, чтобы закурить угольком носогрейку.

– А вы что же не переправились заодно?

– Ну их, не люблю, – ответил он, раскуривая. – Мне не к спеху, – пойду себе по росе... А вот вам так, пожалуй, пора собираться: слышите, пароход сверху бежит.

Через минуту и я мог уже различить гулкие удары пароходных колес, а через четверть часа над мысом появился белый флаг, и

"Николай" плавно выбежал на плёсо, мигая бледнеющими на рассвете огнями и ведя зачаленную сбоку большую баржу.

Солдат услужливо подал меня в тюлинской лодочке на борт парохода и тотчас же сам вынырнул в ней из-за кормы, направляясь к тому берегу, где грузный паром высаживал уреневцев.

Солнце давно золотило верхушки приветлужских лесов, а я, бессонный, сидел на верхней палубе и любовался все новыми и новыми уголками, которые с каждым поворотом щедро открывала красавица река, еще окутанная кое-где синеватою мглой.

И я думал: отчего же это так тяжело было мне там, на озере, среди книжных народных разговоров, среди "умственных" мужиков и начетчиков, и так легко, так свободно на этой тихой реке, с этим стихийным, безалаберным, распущенным и вечно страждущим от похмельного недуга перевозчиком Тюлиным? Откуда это чувство тяготы и разочарования, с одной стороны, и облегчения – с другой? Отчего на меня, тоже книжного человека, от *те*х веет таким холодом и отчужденностью, а

этот кажется таким близким и так хорошо знакомым, как будто в самом деле

*Все это уж было когда-то,
Но только не помню когда...*

Милый Тюлин, милая, веселая, шаловливая взыгравшая Ветлуга! Где же это и когда я видел вас раньше?

Мгновение **Очерк**



— Будет буря, товарищ.

— Да, капрал, будет сильная буря. Я хорошо знаю этот восточный ветер. Ночь на море будет очень беспокойная.

— Святой Иосиф пусть хранит наших моряков. Рыбаки успели все убрать...

— Однако посмотрите: вон там, кажется, я видел парус.

— Нет, это мелькнуло крыло птицы. От ветра можешь скрыться за зубцами стены... Прощай. Смена через два часа...

Капрал ушел, часовой остался на стенке небольшого форта, со всех сторон окруженного колыхающимися валами.

Действительно, близилась буря. Солнце садилось, ветер все крепчал, закат разгорался пурпуром, и по мере того как пламя разливалось по небу, — синева моря становилась все глубже и холоднее. Кое-где темную поверхность его уже прорезали белые гребни валов, и тогда казалось, что это таинственная глубь океана пытается выглянуть наружу, злоецающая и бледная от долго сдержанного гнева.

На небе тоже водворялась торопливая тревога. Облака, вытянувшись длинными поло-

сами, летели от востока к западу и там загорались одно за другим, как будто ураган кидал их в жерло огромной раскаленной печи.

Дыхание близкой грозы уже веяло над океаном.

Над темной зыбью, точно крыло испуганной птицы, мелькал парус: запоздалый рыбак, убегая перед бурей, видимо, не надеялся уже достигнуть отдаленного берега и направил свою лодку к форту.

Дальний берег давно утонул в тумане, брызгах и сумерках приближавшегося вечера. Море ревело глубоко и протяжно, и вал за валом катился вдаль к озаренному еще горизонту. Парус мелькал, то исчезая, то появляясь. Лодка лавировала, трудно побеждая волны и медленно приближаясь к острову. Часовому, который глядел на нее со стены форта, казалось, что сумерки и море с грозной сознательностью торопятся покрыть это единственное суденышко мглой, гибелью, плеском своих пустынных валов.

В стенке форта вспыхнул огонек, другой, третий. Лодки уже не было видно, но рыбак мог видеть огни – несколько трепетных искр

над беспредельным взволнованным океаном.

II

– Стой! Кто идет?

Часовой со стены окликает лодку и берет ее на прицел.

Но море страшнее этой угрозы. Рыбаку нельзя оставить руль, потому что волны мгновенно бросят лодку на камни... К тому же старые испанские ружья не очень метки. Лодка осторожно, словно плавающая птица, выжидает прибоя, поворачивается на самом гребне волны и вдруг опускает парус... Прибоем ее кинуло вперед, и киль скользнул по щебню в маленькой бухте.

– Кто идет? – опять громко кричит часовой, с участием следивший за опасными эволюциями[103] лодки.

– Брат! – отвечает рыбак, – отворите ворота ради святого Иосифа. Видишь, какая буря!

– погоди, сейчас придет капрал.

На стене задвигались тени, потом открылась тяжелая дверь, мелькнул фонарь, послышались разговоры. Испанцы приняли рыбака. За стеной, в солдатской казарме, он найдет приют и тепло на всю ночь. Хорошо будет

вспоминать на покое о сердитом грохоте океана и о грозной темноте над бездной, где еще так недавно качалась его лодка.

Дверь захлопнулась, как будто форт заперся от моря, по которому, таинственно поблескивая вспышками фосфорической пены, набегал уже первый шквал широкою, во все море, грядою.

А в окне угловой башни неуверенно светил огонек, и лодка, введенная в бухту, мерно качалась и тихо взвизгивала под ударами отраженной и разбитой, но все еще крепкой волны.

III

В угловой башне была келья испанской военной тюрьмы. На одно мгновение красный огонек, светивший из ее окна, затмился, и за решеткой силуэтом обрисовалась фигура человека. Кто-то посмотрел оттуда на темное море и отошел. Огонек опять заколебался красными отражениями на верхушках валов.

Это был Хуан-Мария-Хозе-Мигуэль-Диац, инсургент[104] и флибустьер[105]. В прошлое восстание испанцы взяли его в плен и приговорили к смерти, но затем, по прихоти чье-

го-то милосердия, он был помилован. Ему подарили жизнь, то есть привезли на этот остров и посадили в башню. Здесь с него сняли оковы. Они были не нужны: стены были из камня, в окне – толстая железная решетка, за окном – море. Его жизнь состояла в том, что он мог смотреть в окно на далекий берег... И вспоминать... И, может быть, еще – надеяться.

Первое время, в светлые дни, когда солнце сверкало на вершушках синих волн и выдвигало далекий берег, он подолгу смотрел туда, вглядываясь в очертания родных гор, в выступавшие неясными извилинами ущелья, в чуть заметные пятнышки далеких деревень... Угадывал бухты, дороги, горные тропинки, по которым, казалось ему, бродят легкие тени, и среди них одна, когда-то близкая ему... Он ждал, что в горах опять засверкают огоньки выстрелов с клубками дыма, что по волнам оттуда, с дальнего берега, понесутся паруса с родным флагом возмущенья и свободы. Он готовился к этому и терпеливо, осторожно, настойчиво долбил камень около ржавой решетки.

Но годы шли. На берегу все было спокойно,

в ущельях лежала синяя мгла, от берега отделялся лишь небольшой испанский сторожевой катер, да мирные рыбацьи суда сновали по морю, как морские чайки за добычей...

Понемногу все прошлое становилось для него как сон. Как во сне, дремал в золотистом тумане усмирившийся берег, и во сне же бродили по нем призрачные тени давно прошедшего... А когда от берега отделялся дымок и, разрезая волны, бежал военный катер, – он знал: это везут на остров новую смену тюремщиков и стражи...

И еще годы прошли в этой летаргии. Хуан-Мария-Мигуэль-Хозе-Диац успокоился и стал забывать даже свои сны. Даже на дальний берег он смотрел уже с тупым равнодушием и давно уже перестал долбить решетку... К чему?...

Только когда поднимался восточный ветер, особенно сильный в этих местах, и волны начинали шевелить камнями на откосе маленького острова, – в глубине его души, как эти камни на дне моря, начинала глухо шевелиться тоска, неясная и тупая. От затянутого мглою берега, казалось ему, опять отделяются

какие-то тени и несутся над морскими валами, и кричат о чем-то громко, торопливо, жалобно, тревожно. Он знал, что это кричит только море, но не мог не прислушиваться невольно к этим крикам... И в глубине его души поднималось тяжелое, темное волнение.

В его каморке от угла к углу, по диагонали, была обозначена в каменном полу углубленная дорожка. Это он вытоптал босыми ногами камень, бегая в бурные ночи по своей клетке. Порой в такие ночи он опять царапал стену около решетки. Но в первое же утро, когда море, успокоившись, ласково лизало каменные уступы острова, он также успокаивался и забывал минуты исступления... Он знал, что его держит здесь не решетка... Его держало это коварное, то сердитое, то ласковое море, и еще... сонное спокойствие отдаленного берега, лениво и тупо дремавшего в своих туманах...

IV

Так прошли еще годы, которые казались уже днями. Время сна не существует для сознания, а его жизнь уже вся была сном, тупым, тяжелым и бесследным.

Однако с некоторых пор в этом сне опять начинали мелькать странные видения. В очень светлые дни на берегу поднимался дым костров или пожаров. В форте происходило необычайное движение: испанцы принялись чинить старые стены; изъяны, образовавшиеся в годы безмятежной тишины, торопливо заделывались; чаще прежнего мелькали между берегом и островом паровые баркасы с военным испанским флагом. Раза два, точно грузные спины морских чудовищ, тяжело проползли мониторы[106] с башенками над самой водой. Диац смотрел на них тусклым взглядом, в котором порой пробивалось удивление. Один раз ему показалось даже, что в ущелье и по уступам знакомой горы, в этот день ярко освещенной солнцем, встают белые дымки от выстрелов, маленькие, как булабочные головки, выплывают внезапно и ярко на темно-зеленом фоне и тихо тают в светлом воздухе. Один раз длинная черная полоса монитора продвинулась к дальнему берегу, и несколько коротких оборванных ударов толкнулось с моря в его окно. Он схватился руками за решетку и крепко затряс ее. Она звякну-

ла и задрожала. Щебенка и мусор посыпались из гнезд, где железные полосы были вделаны в стены...

Но прошло еще несколько дней... Берег опять затих и задремал; море было пусто, волны тихо, задумчиво накатывались одна на другую и, как будто от нечего делать, хлопали в каменный берег... и он подумал, что это опять был только сон...

Но в этот день с утра море начинало опять раздражать его. Несколько валов уже перекашивалось через волнолом, отделяющий бухту, и слева было слышно, как камни лезут со дна на откосы берега... К вечеру в четырехугольнике окна то и дело мелькали сверкающие брызги пены. Прибой заводил свою глубокую песню, берег отвечал глубокими стонами и гулом.

Диац только повел плечами и решил лечь пораньше. Пусть море говорит, что хочет; пусть как хочет выбирается из беспорядочной груды валов и эта запоздалая лодка, которую он заметил в окно. Рабья лодка с рабского берега... Ему нет дела ни до нее, ни до голосов моря.

Он лег на свой матрац.

Когда сторож-испанец в обычный час принес фонарь и вставил его из коридора в отверстие над запертой дверью, то свет его озарил лежащую фигуру и бледное лицо с закрытыми глазами. Казалось, Диац спал спокойно; только по временам брови его сжимались и по лицу проходило выражение тупого страдания, как будто в глубине усыпленного сознания шевелилось что-то глухо и тяжело, как эти прибрежные камни в морской глубине...

Но вдруг он сразу проснулся, точно кто назвал его по имени. Это шквал, перелетев целиком через волнолом, ударил в самую стену. За окном неслись в темноте белые ключья фосфорической пены, и, даже когда грохот стих, камера была полна шипеньем и свистом. Отголоски проникли за запертую дверь и понеслись по коридорам. Казалось, что-то сознательно грозное пролетело над островом и затихает, и замирает вдали...

Диац сразу стал на ноги. Ему казалось, что он спал лишь несколько секунд, и он взглянул в окно, ожидая еще увидеть вдали белый парусок лодки. Но в окне было темно, море

бесновалось в полной тьме, и были слышны смешанные крики убежавшего шквала.

Хотя такие бури бывали не часто, но все же он хорошо знал и этот грохот, и свист, и шипенье, и подземное дрожанье каменного берега. Но теперь, когда этот разнузданный гул стал убывать, под ним послышался еще какой-то новый звук, что-то тихое, ласковое и незнакомое...

Он кинулся к окну и, опять ухватившись руками за решетку, заглянул в темноту. Море было бесформенно и дико. Дальний берег весь был поглощен тяжелою мглою. Только на несколько мгновений между ним и тучей продвинулся красный, затуманенный месяц. Далекие, неуверенные отблески беспорядочно заколебались на гребнях бешеных валов и погасли... Остался только шум, могучий, дико сознательный, суетливый и радостно зовущий...

Хозе-Мария-Мигуэль-Диац почувствовал, что все внутри его дрожит и волнуется, как море. Душа просыпается от долгого сна, проясняется сознание, оживают давно угасшие желания... И вдруг он вспомнил ясно то, что

видел на берегу несколько дней назад... Ведь это был не сон! Как мог он считать это сном? Это было движение, это были выстрелы... Это было восстание!..

Налетел еще шквал, опять пронеслись сверкающие брызги, и опять из-под шипенья и плеска послышался прежний звук, незнакомый и ласковый. Диац кинулся к решетке и, в порыве странного одушевления, сильно затряс ее. Посыпались опять известь и щебенка, разъеденные солеными брызгами, упало несколько камней, и решетка свободно вынудилась из амбразуры.

А под окном, в бухте, качалась и визжала лодка...

V

На стене в это время сменился караул.

– Святой Иосиф... Святая Мария! – пробормотал новый часовой и, покрыв голову капюшоном, скрылся за выступ стены. По морю, во всю ширину, вставая и падая, поблескивая в темноте гребнями пены, летел новый шквал. Ветер, казалось, сходил с ума, остров вперед уже вздрагивал и стонал. Со дна, как бледные призраки, лезли на откосы огромные камни,

цельными годами лежавшие в глубине.

Шквал налетел как раз в ту минуту, когда Диац выскочил из окна. Его сразу залило водой, оглушило и сшибло с ног... Несколько секунд он лежал без сознания, с одним ужасом в душе, озябший и несчастный, а над ним с своим неслось что-то огромное, дикое, враждебное...

Когда грохот несколько стих, он открыл глаза. По небу неслись темные тучи, без просветов, без очертаний. Скорее чувствовалось, чем виделось движение этих громад, которые все так же неудержимо неслись на запад. А вдалеке опять вставало что-то невидимое, но грозное, и гудело утрюмо, зловеще, непрерывно.

Только каменные стены форта оставались неподвижными и спокойными среди общего движения. В темноте можно было различить жерла пушек, выступившие из амбразур... Из дальней казармы в промежуток сравнительного затишья донесли звуки вечерней молитвы, барабан пробил последнюю зорю[107] ... Там, за стенами, казалось, замкнулось спокойствие. Огонек в его башне светился ров-

НЫМ, НЕМИГАЮЩИМ СВЕТОМ.

Диац поднялся и, точно прибитая собака, пошел к этому огоньку... Нет, море обманчиво и ужасно. Он войдет в свою тихую келью, наложит решетку, ляжет в своем углу на свой матрац и заснет тяжелым, но безопасным сном неволи.

Надо будет только тщательно заделать решетку, чтобы не заметил патруль... Могут еще подумать, что он хотел убежать в эту бурную ночь... Нет, он не хочет бежать... На море гибель...

Он схватился руками за карниз, поднялся к окну и остановился...

В камере было пусто и сравнительно тихо. Ровный желтоватый свет фонаря падал на стены, на вытоптаный пол, на матрац, лежавший в углу... Над изголовьем вырезанная глубоко в камне виднелась надпись:

«Хуан-Мария-Хозе-Мигуэль-Диац, инсургент. Да здравствует свобода!»

И всюду по стенам, крупные и мелкие, глубокие и едва намеченные, мелькали те же надписи:

"Хуан-Мигуэль-Диац... Мигуэль-Диац..." И — цифры... Сначала он отмечал время днями, неделями, потом месяцами... "Мать Божия, уже два года"... "Три года... Господь, сохрани мой разум... Диац... Диац..."

Десятый год отмечен просто цифрой, без восклицаний... Далее счет прекращался... Только имя продолжало мелькать, вырезанное слабеющей и ленивой рукой... И на все это бесстрастно и ровно падал желтоватый свет фонаря...

И вдруг Диацу представилось, что на его постели лежит человек и спит тяжелым сном. Грудь подымается тихо, с тупым спокойствием... Это он? Тот Диац, который вошел сюда полным сил и любви к жизни и свободе?...

Новый шквал с воем и грохотом налетал на остров... Диац отпустил руки и опять прыгнул на берег. Шквал пронесся и стал затихать... Ровный огонек опять светил из окна в темноту.

VI

Часовой на стене, повернувшись спиной к ветру и охватив руками ружье, чтоб его не вырвало ураганом, читал про себя молитвы,

прислушиваясь к адскому грохоту моря и неистовому свисту ветра. Небо еще потемнело; казалось, весь мир поглотила уже эта бесформенная тьма, охватившая одинаково и тучи, и воздух, и море. Лишь по временам среди шума, грохота, плеска с пугающей внезапностью обозначались белые гребни, и волна кидалась на остров, далеко отбрасывая брызги через низкие стены.

Прочитав все, какие знал, молитвы, часовой повернулся к морю и замер в удивлении. Вдоль бухты, среди сравнительного затишья, чуть заметная в темноте, двигалась лодка, приближаясь к тому месту, где, уже не защищенное от ветра, море кипело и металось во мраке. Внезапно белый парус взвился и надулся ветром. Лодка качнулась, поднялась и исчезла...

В это мгновение Диац взглянул назад, и ему показалось, что темный островок колыхнулся и упал в бездну, вместе с ровным огоньком, который до этого мгновения следил за ним своим мертвым светом. Впереди были только хаос и буря. Кипучий восторг переполнил его застывшую душу. Он крепче сжал

руль, натянул парус и громко крикнул... Это был крик неудержимой радости, безграничного восторга, пробудившейся и сознавшей себя жизни... Сзади раздался заглушенный ружейный выстрел, потом гул пушечного выстрела понесся вдаль, разорванный и разметанный ураганом. Сбоку набегал шквал, подхватывая лодку... Она поднималась, поднималась... казалось, целую вечность... Хозе-Мария-Мигуэль-Диац с сжатыми бровями, твердым взглядом глядел только вперед, и тот же восторг переполнял его грудь... Он знал, что он свободен, что никто в целом мире теперь не сравняется с ним, потому что все хотят жизни... А он... Он хочет только свободы.

Лодка встала на самой вершине вала, дрогнула, колыхнулась и начала опускаться... Со стены ее видели в последний раз... Но еще долго маленький форт посылал с промежутками выстрел за выстрелом бушующему морю...

VII

А наутро солнце опять взошло в ясной синеве. Последние клочки туч беспорядочно неслись еще по небу; море стихало, колыха-

ьясь и как будто стыдясь своего ночного разгула... Синие, тяжелые волны все тише бились о камни, сверкая на солнце яркими, веселыми брызгами.

Дальний берег, освеженный и омытый грозой, рисовался в прозрачном воздухе. Всюду смеялась жизнь, проснувшаяся после бурной ночи.

Небольшой пароход крейсировал вдоль берега, расстилая по волнам длинный хвост бурого дыма. Кучка испанцев следила за ним со стены форта.

– Наверное, погиб, – сказал один... – Это было чистое безумие... Как вы думаете, дон Фернандо?

Молодой офицер повернул к говорившему задумчивое лицо.

– Да, вероятно, погиб, – сказал он. – А может быть, смотрит на свою тюрьму с этих гор. Во всяком случае, море дало ему несколько мгновений свободы. А кто знает, не стоит ли один миг настоящей жизни целых годов прозябанья!..

– Однако что это там? Посмотрите... – И офицер указал на южную оконечность гори-

стого берега.

На одном из крайних мысов, занятых лагерьем инсургентов, в синеющей полосе замелькали кучками белые вспышки дыма. Звуча не было слышно, только суетливые дымки появлялись и гасли, странно оживляя пустынные ущелья. С моря в ответ отрывисто грянул пушечный выстрел, и когда дым весь лег на сверкающие искрами волны, – все опять стихло. И берег, и море молчали...

Офицеры переглянулись... Что значило это непонятное оживление на позициях восставших туземцев?... Ответ ли это на вопрос об участии беглеца?... Или просто случайная перестрелка внезапной тревоги?...

Ответа не было...

Сверкающие волны загадочно смеялись, набега на берег и звонко разбиваясь о камни...

Примечания

1

Застава – заграждение при въезде в город. Устраивалась вначале для защиты от врагов, затем – для сбора денег с проезжающих.

[^^^]

2

Заезжие (или постоянные) дома (или дворы) – дома для проезжих, гостиницы.

[^^^]

Чамарка (чамара) – городская национальная одежда из сукна типа сюртука, в талию, длиной выше колен, однобортная, с рядом мелких пуговиц и шнуровых петель от ворота до низу, с низким стоячим воротником; широко распространенная в середине XIX века у поляков.

[^^^]

4

Капор – женский головной убор, завязывающийся впереди лентами.

[^^^]

5

Салóп – широкое женское пальто.

[^^^]

6

Костёл – католический храм.

[^^^]

Пан, панна – форма вежливого обращения в польском языке.

[^^^]

Цицерон – знаменитый древнеримский государственный деятель, славившийся красноречием. Речи его считались образцом ораторского искусства.

[^^^]

Ксенофонт – древнегреческий историк и полководец.

[^^^]

Отцы сенаторы (лат.).

[^^^]

Горілка – водка (укр.).

[^^^]

12

Чуприна (чуб) – длинный клоч волос на темени.

[^^^]

Иезу́иты – монахи ордена (общества) Иисуса в католической церкви.

[^^^]

Лоток – здесь: лопасть мельничного колеса.

[^^^]

Трясунка – многолетнее злаковое растение с раскидистой метелкой сплюснутых колосков.

[^^^]

Гайдама́цкий; гайдáмак – украинский казак-повстанец, участник крестьянского восстания против польских помещиков в XVIII веке.

[^^^]

Хóры – балкон для певчих.

[^^^]

Престол – стол в алтаре, в главной части церкви.

[^^^]

Кадило – сосуд, в котором во время православного и католического богослужения сжигается специальное ароматическое вещество (ладан).

[^^^]

Терновый венец – венок из ветвей терновника, колючего кустарника. Символ мученичества, страдания (по евангельскому сказанию о терновом венке, надетом на Иисуса Христа римскими воинами перед его казнью).

[^^^]

Распятие – крест с изображением на нем распятого Иисуса Христа.

[^^^]

Червонное золото – чистое золото, имеющее красноватый оттенок.

[^^^]

Ксёндз – католический священник в Польше (*пол.*).

[^^^]

Юнкер – в царской России воспитанник военного училища.

[^^^]

В этом издании были сделаны значительные дополнения.

[^^^]

Априорный – не основанный на опыте.

[^^^]

Офтальмоско́п – зеркало для исследования
глазного дна.

[^^^]

«Контра́кты» – местное название некогда славной киевской ярмарки. (Примеч. авт.)

[^^^]

Гарибальди Джузеппе (1807–1882) – руководитель национально-освободительного движения в Италии.

[^^^]

Схизматический – еретический, отступнический.

[^^^]

Реляция – письменное донесение о ходе военных действий.

[^^^]

Фуриштáт– военный обоз (нем.).

[^^^]

Фими́ам – благовонное вещество для курения.

[^^^]

В Малороссии и в Польше для аистов ставят высокие столбы и надевают на них старые колеса, на которых птица завивает гнездо. (*Примеч. авт.*)

[^^^]

"Стрѣхи" – крыши.

[^^^]

Смушковый – сделанный из смушек, шкурок, снятых с новорожденного ягненка.

[^^^]

Лыка– по-малоросски ироническое название лица, физиономии. (Примеч. авт.)

[^^^]

Раце́я – назидательное рассуждение, наставление.

[^^^]

Сечь – военная организация запорожского казачества на Украине в XVI–XVIII веках.

[^^^]

Баян – народный певец.

[^^^]

Кобзари и бандуристы – украинские певцы, аккомпанирующие себе на кобзе и бандуре.

[^^^]

Чайка – небольшое судно у запорожцев.

[^^^]

Необáчный– неосмотрительный (укр.).

[^^^]

В Юго-западном крае довольно развита система арендований имений: арендатор (по-местному «посéссор») является как бы управителем имения. Он выплачивает владельцу известную сумму, а затем от его предприимчивости зависит извлечение большего или меньшего дохода. (*Примеч. авт.*)

[^^^]

Покóювка – горничная (пол.).

[^^^]

Грѳмницей называется восковая свеча, которую зажигают в сильные бури, а также дают в руки умирающим. (*Примеч. авт.*)

[^^^]

Отец па́пезж – римский папа (пол.).

[^^^]

Вольтер Франсуа Мари Аруэ (1694–1778) – французский просветитель, философ, историк.

[^^^]

Во-первых (лат.).

[^^^]

Во-вторых (лат.).

[^^^]

Трѣбники – богослужебные книги.

[^^^]

Экзерциции– упражнения.

[^^^]

Карбóванец – рубль.

[^^^]

Докторальный – наставительный.

[^^^]

Этнографический, этнография – наука, изучающая быт, нравы, культуру разных народов.

[^^^]

Сентѐнция – нравоучительное изречение.

[^^^]

Левáда – участок земли около хаты.

[^^^]

Жóлнер – солдат в польской армии.

[^^^]

Мэ́нтор – наставник.

[^^^]

Эόлова арфа – музыкальный инструмент у древних греков, струны которого приводились в колебание дуновением ветра (Эол в древнегреческой мифологии – повелитель ветров).

[^^^]

Вата́жко – предводитель.

[^^^]

Булава́ и бунчу́к – символы гетманской власти; *булава* – палица, *бунчук* – древко с привязанным конским хвостом.

[^^^]

Рушніца (ручница) – ружье.

[^^^]

Чайковский, украинец-романтик, известный под именем Садыка-паши, мечтал организовать казачество как самостоятельную политическую силу в Турции. (*Примеч. авт.*)

[^^^]

Стóлбовка – 25 рублей.

[^^^]

Яко тать в ноци – как вор ночью.

[^^^]

Фáктор – здесь: торговец.

[^^^]

Чумáк – крестьянин, возивший на волах ры-
бу, соль, хлеб.

[^^^]

Напомним, что «Контрактами» называют киевскую ярмарку. (*Примеч. авт.*)

[^^^]

Зо́йл – придирчивый, несправедливый критик (от имени греческого критика IV века до н. э.).

[^^^]

Закуржаветь – покрыться изморозью, инеем.

[^^^]

Сиверá – северный ветер.

[^^^]

Позобать – набить зоб; здесь: съестъ.

[^^^]

Прясница (пряслица) – прялка.

[^^^]

Сда́точный – сданный в солдаты.

[^^^]

Облучок – боковой край телеги.

[^^^]

Сем – дай.

[^^^]

Боярыня Морозова – раскольница, которая вопреки угрозам и пыткам осталась верна своей вере.

[^^^]

Торбаса́ – мягкие оленьи сапоги, мехом наружу.

[^^^]

Алас – лужайка в лесу.

[^^^]

Плášка (плаха) – здесь: ловушка.

[^^^]

Косáч – тетерев-самец.

[^^^]

Рúга – плата священнику от прихожан.

[^^^]

Трэба – богослужебный обряд, совершаемый по просьбе верующих.

[^^^]

Тойбн – господин, хозяин, начальник. (Примеч. авт.)

[^^^]

Падь – ущелье, овраг между горами; *сопка* –
остроконечная гора. (Примеч. авт.)

[^^^]

По третьей траве – здесь: лошади шел третий год.

[^^^]

Трапезник – служитель при церкви.

[^^^]

Крин сельный – полевая лилия, символ чистоты и непорочности.

[^^^]

Заключительные строки стихотворения А. К. Толстого «По гребле неровной и тряской».

[^^^]

Ві́ца – хворостина.

[^^^]

Чегѣнь – шест, бревно, служащее рычагом.

[^^^]

Огрúдок – бугор на дне реки.

[^^^]

Склёка – тревога.

[^^^]

Чуйка – длинный суконный кафтан.

[^^^]

Сибѳрка – короткий кафтан.

[^^^]

Кáтенька – сторублевый билет с изображением Екатерины II.

[^^^]

«Красноярками» называют фальшивые «бумажки». (Примеч. авт.)

[^^^]

Полуманатейка – одежда монаха.

[^^^]

Просужий – разумный.

[^^^]

Молокáne – одна из религиозных сект.

[^^^]

Оливер Кромвель (1599–1658) – один из вождей английской революции 1640–1660 гг., лидер партии индепендентов. Индепенденты представляли собой наиболее радикальное течение среди пуритан – религиозного движения, находившегося в оппозиции к абсолютизму и господствующей церкви.

[^^^]

Эволюция – здесь: движение, борьба со стихией.

[^^^]

Инсургéнт – участник восстания, повстанец.

[^^^]

Флибустьеры – морские пираты, в XVII–XVIII вв. использовавшиеся Англией и Францией против Испании в борьбе за колонии.

[^^^]

Мониторы – бронированные корабли для борьбы с береговой артиллерией.

[^^^]

Бить зóрю – отбивать время.

[^^^]